

марина

Мареева



■ возвращение
принцессы



Марина Мареева – известная писательница, один из самых успешных кинодраматургов России, автор сценариев более двадцати популярнейших художественных фильмов.

Среди них «Принцесса на бобах» (Гран-при за лучший сценарий на 1-м конкурсе киносценариев «Надежда», приз за лучший сценарий на 5-м фестивале русских фильмов во Франции «Онфлёр»), «Тоталитарный роман» (премия «Золотой Овен»), «Зависть богов», «Янтарные крылья», «Наследницы» (ТЭФИ за лучший мини-сериал), «Женский роман».

Посудомойке неожиданно улыбнулось счастье – в нее влюбился молодой преуспевающий «владелец заводов, газет, пароходов». Именно он сообщил ей, что она – графиня и ее ждет райская жизнь в фамильном дворце. Но графиня, как и полагается, оказалась строптивой, и на ее укрощение миллионер потратил много времени и сил. Однако дефолт разорил бизнесмена и сделал семью заложником обстоятельств. Чтобы спасти мужа, «принцесса на бобах» вынуждена стать папарацци...

ISBN 978-5-9697-0337-7



9 785969 703377 >

ВАГРИУС

марина
Мареева

марина
Мареева

■ возвращение
принцессы

Москва
Вагриус
2007

УДК 882-31

ББК 84-44

М 25

Художник — Г. Попова

Мареева М.Е.

М 25 Возвращение принцессы / Марина Мареева. —
М. : Вагриус, 2007. — 478 с.

ISBN 978-5-9697-0337-7

Посудомойке неожиданно улыбнулось счастье — в нее влюбился молодой преуспевающий «владелец заводов, газет, пароходов». Именно он сообщил ей, что она — графиня и ее ждет райская жизнь в фамильном дворце. Но графиня, как и полагается, оказалась строптивой, и на ее укрощение миллионер потратил много времени и сил. Однако дефолт разорил бизнесмена и сделал семью заложником обстоятельств. Чтобы спасти мужа, «принцесса на бобах» вынуждена стать папарацци...

УДК 882-31

ББК 84-44

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 978-5-9697-0337-7

© Мареева М.Е., 2007

© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2007

Принцесса на бобах

«...Голова виконтессы упала на широкую грудь мсье Жориа. Сердце ее билось учащенно...

— Оливия! — прошептал избранник виконтессы, покрывая поцелуями ее лицо, шею и плечи. — Если бы ты только...»

О, Господи! И это читает ее дочь! Придется сегодня же устроить Ирке промывку мозгов...

Нина захлопнула книжку. Скептически оглядела обложку переводного дамского романа: томная красотка в мехах, бюст — как у Джины времен «Фанфана», кукольное личико искажено печатью неподдельного, поди ж ты, страдания...

Нина подняла глаза. В черном стекле напротив, как в зеркале, — сонная баба, волосы кое-как подколоты, под глазами мешки. Лучше не смотреть. Нина и не смотрела.

Она ехала в полупустом вагоне метро. До закрытия метро оставался час с небольшим.

— Следующая остановка — «Преображенская площадь».

Еще восемь станций. Восемь остановок, сорок минут.

Нина вышла на «Парке культуры». Глянула на часы. Боже! Без четверти час!

Ринулась по Садовому, бегом, бегом, бегом, огибая лужи...

Четыре минуты... Она опоздала на четыре минуты.

Нина собралась было, миновав парадный вход, зайти в ресторанчик с черного хода, ан нет. Не вышло.

Жора, хозяин заведения, уже заметил ее, бегущую. Подманивал Нину к себе, предвкушая расправу. Жора стоял у дверей своего ресторанчика, вяло перебрехиваясь с каким-то детиной.

— Она там, Жор? — бубнил детина, пытаясь пройти в ресторан. — Нет, ты скажи: она там?!

— Нинок, иди-ка сюда, моя птичка! — Жора, не удостоив детину ответом, подозвал к себе Нину. — Ты на сколько опоздала? На пять минут. Гони штрафные.

И он протянул к Нине руку ладонью вверх, нетерпеливо пошевелив пальцами. Нина щелкнула замком сумочки, полезла за кошельком, подавив вздох. У Жоры была своя система штрафов. Опоздал на пять минут — плати пять тысяч. Опоздал на те же пять минут вторично — выкладывай пять долларов. За третье опоздание плати по двойному тарифу. Опоздавший в четвертый раз изгонялся из заведения с позором. Слезные мольбы несчастного и горестные монологи про «семерых по лавкам» не достигали цели. Ресторатор Жора был неумолим. И только для Нины здесь делалось исключение. Нина могла опаздывать сколько угодно. Штрафная санкция номер два была закреплена за ней навечно.

Итак, она лихорадочно рылась в кошельке, ища злосчастные пять долларов, невольно прислушиваясь к беззлой перепалке между Жорой и детиной.

— ...Она здесь, я уже вижу! — Детиная пытался оттолкнуть Жору от двери. — Вон ее машина стоит! Пусти, нам поговорить надо.

— Знаю я твои разговоры, — ворчал Жора, обороняя вход в ресторан. — Иди простись, прочухайся, потом разговаривай. Опять будете базарить, посуду бить... Нина, гони штрафные — и марш работать!

— Георгий Нодарович, я пять долларов найти не могу, — пробормотала Нина. — Можно, я вам рублями? По курсу?

— Сколько она тебе должна? На! — Детиная, досадливо покосившись на Нину, махнув ей рукой на дверь, мол, иди, не мешай мужскому разговору, сунул Жоре пятидесятидолларовую бумажку. Поразмыслив, добавил еще одну. — Держи. Только пусти, слышишь?

Нина, проскользнув в гардеробную, замешкалась намеренно. Рассматривала детину, с нарочитой неспешностью снимая плащ.

Ему было лет тридцать с небольшим. Может быть, даже меньше. Рослый, крепко сбитый, слегка уже одряхлевший... Но это ему шло. Стрижен коротко, светло-русый... А собственно говоря, чего это она его так рассматривает? Классический новый русский. Что она, новых русских не видела?

— Нина! — Жора, как почувствовав, оглянувшись в ее сторону, выругался коротко. — Шени деда матхен!

Ругался он всегда на языке предков. Кавказец московского разлива, никогда не бывавший на исторической родине, не понимающий ни сло-

ва на родном языке, он в совершенстве изучил только грузинский мат.

— Нина! — Еще одна темпераментная тирада, сопровождаемая энергичной жестикуляцией. — Иди работай, Нина!

Работать так работать. Нина бросила плащик на стойку гардеробной и направилась к двери в служебку.

В посудомоечной царила тишина. Предгрозовая, чреватая взрывом.

Три женщины молча драили тарелки, стоя у моек справа, две гремели ложками и вилками у моек слева. Нина кивнула всем пятерым и подошла к своей мойке, на ходу заправляя волосы под косынку.

Молчание. Шум воды, грохот тарелок, позвякивание ложек о подносы... Нинина смена давно уже разделилась на два непримиримых лагеря.

— Девочки!

Нина вздрогнула от неожиданности. Выпустила мокрую тарелку из рук.

— Девочки, где Витя? — Перепуганная официантка заглянула в посудомоечную. — Там такое!

Витя был ресторанным выпшибалой. В посудомоечной он крутился довольно часто. У Вити были виды на рыжую Зойку, но та его гоняла пока. Цену себе набивала.

— Там такое! — Официантка задохнулась от возбуждения. — Сейчас все друг друга поубивают! Где Витя-то?

Унеслась Зойка решительно сняла с себя фартук и выскочила из посудомоечной.

— Куда, дура? — крикнула Валентина ей вслед.

Глядишь, и помиряется наконец... Нина закрутила кран. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

— Ой, девочки! — Зоя появилась на пороге. Глаза ее блеснули ликующе, лоб и правое плечо были усеяны ярко-красными пятнами. — Девочки, там такая драка!

Она снова выскочила. Теперь и Нина ринулась за ней следом, крича на бегу:

— Зоя, стой! Ты в крови вся! Опомнись!

— Это не кровь! — И Зоя схватила Нину за руку, увлекая ее за собой в ресторанный залчик — Это кетчуп! Он в него кетчупом запустил, а в меня брызги полетели.

В зале творилось несусветное. Тот самый новый русский, которого Жора прозорливо не пустил в заведение, только что перевернул стол и наступал теперь на худощавого брюнета. Брюнет пятился к дверям, натываясь на столы и стулья. Брюнет был бледен, взлохмачен и все время поправлял указательным пальцем съезжавшие на нос очки в стильной оправе.

Новый русский — он был уже изрядно пьян — наклонился, поднял за ножку валявшийся на полу стул, размахнулся...

— Дима! — раздался истошный женский визг. — Не смей, сволочь!

Хорошенькая шатеночка, совсем еще юная, эдакая Лолита для бедных (для новых, поправила сама себя Нина насмешливо), метнулась к Диме, повисла у него на руке.

Новый русский отшвырнул Лолитку в сторону. Не рассчитал — в башке помутилось от пьяной злобы, — отшвырнул слишком сильно. Лолита отлетела к соседнему столику, упала, ударилась спиной об угол стола, опрокинув себе на колени бокал красного вина.

Теперь брюнет уже не отступал — накинулся на нового русского, защищая честь дамы. Они сцепились и молотили друг друга. Визжали жен-

щины, по узкому проходу между столиками уже бежал к дерущимся вышибала Витя. За ним следовал Жора, громогласно и с чувством поминающий грузинскую маму...

— Ско-от, — простонала Lolita, глядя на светлую юбку, залитую вином, и не торопясь подниматься. — Скот! — Она ударила кулачком по полу. — Ублюдок чертов!

— Пойдемте. — Нина подошла к ней, протянула ей руку. — Вставайте. Пойдемте, замоем. У нас порошок есть... Вы не ударились?

Еще через пару минут Нина уже замывала пятно на Lolитиной юбке. Lolita стояла посреди посудомоечной, безостановочно, истерически рыдая. Валентина накапала ей валерьянки в чашку с водой, глядя на Lolиту во все глаза: какая!..

— Не надо, — сказала Lolita сквозь слезы, отводя рукой чашку. — Дайте закурить лучше.

Зойка протянула ей пачку «Явы». Lolita шмыгнула носиком, вытерла слезы, взглянула на «Яву» так, будто это была не пачка сигарет, а диковинный экспонат из Кунсткамеры. «Боже! — читалось в ее изумленном взоре. — Ведь кто-то это курит! Ведь где-то это продают!»

— А «Мальборо лайтс»? — спросила она жалобно. — Может быть, «Салем»?.. Просто я вот это, — она выделила голосом «это», — не курю. Простите.

И тут вошел новый русский Дима. Он не вошел — он ворвался. Огляделся загнанно. Увидел Lolиту, шагнул к ней.

— А я тебя ищу... — Это уже был не зверь. Сейчас он был нежен и кроток. Осторожно дотронулся до запястья Lolиты. Та отдернула руку, надула губки. — Пойдем! — сказал он просительно. — Поехали отсюда. Я там уладил все... Заплатил.

— Где Иштван? — процедила Лолита, глядя на него ненавидяще.

— Кто? Иштван?! Ах, его Иштван зовут! — Дима прищурился недобро, снова начиная заводиться. — Поздравляю! Теперь на венгров тебя потянуло?

— Пшел вон! — отважно выкрикнула Лолита.

— Раньше все по Арабским Эмиратам шуровала, теперь на бывший соцлагерь потянуло.

— Пшел вон, кретин! Где Иштван?

— Ну, я ему заплатил за моральный ущерб, вкупе с физическим, — хмыкнул Дима, бесцеремонно сгребая в охапку свою подругу. — Он и укатил. Ручкой мне помахал...

— Врешь! Пусти! — Она молотила его кулаками по плечам, пытаясь вырваться.

— Клянусь! — рассмеялся Дима, не выпуская Лолиту из хватких лап. — Простились по-братски...

— Врешь! — Лолита изловчилась и ударила его по щеке наотмашь.

Посудомойки ахнули хором... Какое там бразильское «мыло», какая Рохелия! Им тут бесплатно крутили кино, «ново-русское», страсти — в ключья...

Дима выпустил подругу из цепких объятий. Перевел дыхание, помолчал, потом дотронулся ладонью до горячей щеки.

Как он смотрел!.. Нина стояла в шаге от него, совсем рядом. Как он смотрел на свою стервозу, растрепанную, зареванную, в мокром «мими»! С бешенством, с бессильной нежностью, ненавидяще, с обожанием, не прощая, прощая, презирая, любя... Нина глядела на него во все глаза. На нее никто никогда так не смотрел. И не посмотрит.

— На. — Дима достал из кармана какой-то сверточек и вложил его в руку Лолиты.

— Это что? — капризно спросила Лолита.

— Права. Ты же вчера потеряла свои, я знаю. Я тебе новые купил.

— Тебе что, за день их сделали? — удивилась Лолита.

— Мне и за час могут сделать, — откликнулся он утрюмо и пошел к дверям, не оглядываясь.

— Дима! — окликнула его Лолита. Он остановился. Повернулся к ней. — Я не только права потеряла. Там еще восемьсот баксов было в сумочке, — добавила она как бы между прочим.

— Там — три штуки. Открой, — ответил он отрывисто, зло и вышел из посудомоечной.

Лолита, присев на табурет у стены, развернула сверток, извлекла на свет божий аккуратную пачку стодолларовых купюр, принялась пересчитывать их деловито и быстро, ничуть не смущаясь, что шесть баб неотрывно смотрят на нее.

И тут Нина вспомнила. Она вспомнила о главном. Схватила свою сумку, выскочила из посудомоечной...

Новый русский уже открыл дверцу своего авто. Авто было офигительное — Нина таких не видывала сроду. С открытым верхом. Как в кино. К авто прилагались шофер и охранник. Ну да, как в кино.

— Подождите! — окликнула Нина хозяина этой шикарной штуковины. — Подождите, пожалуйста... Вот. — Она подошла к нему вплотную, открыла кошелек и отсчитала деньги.

Дима глядел на нее непонимающе. Не на нее — сквозь нее. Он был подавлен, угнетен, мрачен. Правая щека, та, по которой он схлопотал от дамы сердца, еще предательски горела.

— Вот, — повторила Нина и протянула ему деньги. — Вы заплатили за меня штраф. Здесь пять долларов... — Она усмехнулась. — В рублевом эквиваленте. По курсу ММВБ.

Дима, похоже, ее не слышал. Или не понимал, о чем она. Тогда Нина отдала деньги его охраннику, коренастому мордовороту, выскочившему из машины.

— Что это? — выдавил наконец Дима. Охранник глядел на Нину цепко, недобро, изучающе. — Какой штраф? О чем вы?

— Не люблю одалживаться, — ответила Нина твердо, повернулась и пошла к дверям заведения, зябко поеживаясь и ускоряя шаг.

Ее смена заканчивалась в шесть утра.

Нина шла по утреннему городу к метро, в каждой руке — по сумке. Надя Вострикова, повариха, отмерила ей от щедрот своих две упаковки куриных окорочков.

Сказал бы ей кто-нибудь десять лет назад... Сказал бы ей кто-нибудь, что вот она, Нина Шереметева, кандидат философских наук, умница-разумница, МГУ с отличием, в двадцать четыре года — ученая степень, и статьи, между прочим, в разных толстых журналах, а одну даже в Англии напечатали и прислали по почте перевод на сто восемьдесят долларов... Сказал бы ей кто-нибудь, что пройдет десять лет и все рухнет. Все переменится. Будет она гнуть спину в посудомоечной, потом, стянув резиновые перчатки с распаренных рук, подстригать повариху, прямо здесь, в предбаннике ресторанной кухни... А та ей — кастрюлю плова в сумку, по-свойски. «Ну, я надеюсь, не объедки с тарелок стребля?» — говорит Нина устало, насмешливо (только этим и спасаемся — юмором

невеселым, умением над собой посмеяться, поерничать). «Нинок! — Повариха округляет глаза. — Обижаешь! Какие объедки? На узбеков готовили, у нас узбеки гуляли сегодня, четыре стола! У них Байрам, что ли...» «Какой Байрам?! Сентябрь». — «У них всю жизнь Байрам. Умеют жить весело. Вкусно. Не то что мы, русские... Всю жизнь сопли на кулак наматываем. Все нам не так, все нам не эдак...»

Нина шла к метро, пошатываясь от усталости, от недосыпа, от тяжести своих сумок, набитых полудармовой жратвой (хорошо, до получки — неделя, денег нет, зато будет чем кормить ораву).

Поймала на себе взгляд хорошенькой женщины, расположившейся на заднем сиденье «Фольксвагена». Ее спутник склонился над открытым капотом. Женщина смотрела на Нину, бредущую со своими сумками. Нину снова качнуло — не поспи-ка две ночи подряд!

Женщина смотрела на нее с каким-то почти безгловым сочувствием. «Думает — пьяная, — поняла Нина, подходя к метро. — Шатаюсь — значит, пьяная. Ну, думай. Думай себе что хочешь. У тебя своя жизнь. У меня — своя. У тебя “Фольксваген” и лето на Канарах, у меня — поясница, ноет, проклятая, погни-ка спину по шесть часов над вашими тарелками! С которых вы эдак вилочками, вяло, с ленцой свои бланманже-трюфеля соскребаєте. Нет, я вам не завидую». Нина вспомнила Лолитины надутые губки, ее капризный ломкий голосок и то, с каким неожиданным тщанием и бухгалтерской сноровкой Лолита пересчитывала стодолларовые бумажки. И этого «нового русского» с глазами несчастными, злыми она вспомнила тоже.

«Нет, не завидую». Нина вошла в пустое утреннее метро, двинулась к кассам, снова качнувшись

от усталости, подвернув на лестнице ногу... Каблуки вот-вот отвалится, бедные туфли, туфли-старожилы, шестой год ношу — не снимаю... Нет. Я вам не завидую. Что может быть глупее? У вас своя жизнь, у меня своя. Наши жизни не пересекаются. Никогда не пересекутся. И слава богу.

Дима открыл глаза. Проснулся. Он лежал в своей спальне. В спальне, которую ненавидел. Он никак не мог к ней привыкнуть, примириться с этими дурацкими шелковыми обоями в цветочек. Ладно бы только цветочки! Там еще купидоны порхали по тисненному шелку — мордастые, раскормленные, с блудливыми порочными харями... Тьфу!

Дима отвел взгляд от стены. Он не мог привыкнуть к этой мебели, безвкусно-кокетливой, к этим рюшкам и пуфам. Белый ковер, белые напольные вазы... Стиль дамского будуара.

Спальню обставляла Лара. Лары здесь больше нет. Будуар остался. Надо все менять к черту, к дьяволу. Свистнуть этого швейцарца, спеца по холостяцким берлогам. Заламывает бешеные бабки, зато — какая работа! Жесткий мужской стиль, ничего лишнего, холодноватые спартанские тона, умеренный аскетизм, никаких вот этих купидонов разожравшихся.

Дима поморщился. Голова трещала нещадно. Перепил вчера. Черт попутал... Он привстал на своем гигантском ложе, растер виски...

Это что такое?! Это кто?! Это чья пятка?! Дима осторожно приподнял краешек одеяла. Спутанная гривка цвета спелого баклажана. Смуглое плечико, узкая спинка... Юная дева, абсолютно Диме незнакомая, почивала рядом, зарывшись личиком в смятую подушку.

— Эй! — окликнул ее Дима ошарашенно. Осторожно дотронулся до ее плеча. — Эй!

Дева, не желая просыпаться, повернулась к нему лицом, пробормотала что-то бессвязно, сонно, не открывая глаз. Не такая уж и юная, между прочим... Личико — супер, но... Сей розан подвял, еще не успев раскрыться.

Незнакомка, так и не проснувшись, потянула было к Диме правую длань с экзотической наколкой на предплечье. Дима шарахнулся в сторону, прикрыв спящую красавицу одеялом, сполз с постели.

Запахивая на ходу халат — шикарный халат, атласный, китайский, расшитый драконами и пагодами, один из пяти, купленных прошлой осенью в Антверпене, — он завязал его потуже и вышел в коридор.

Коридор был безбрежен. Дима миновал его, мучительно соображая: кто такая?! Где он ее склеил? И как он мог вообще... Он, с его брезгливостью патологической, тысячу раз осмеянной всеми, кому не лень... Как он мог лечь с валютной шлюхой? Как он мог так надраться, чтобы не помнить сейчас ничего?! В студенчестве это называлось «форточкой». «Вылететь в форточку». Нахлебаться какой-нибудь бурды дешевой, какого-нибудь «розового крепкого», набраться до беспамятства и — привет. Провал...

Дима вошел в свою роскошную кухню, плавно перетекающую в гигантскую лоджию, где за витражными стеклами зеленел Димин сад (дикивинные деревца, Димины гордость, он их сам ежеутренне опрыскивал живительной влагой из водного пистолета).

В кухне за столом сидел моложавый брюнет лет сорока, орал в трубку мобильного телефона:

— Скинь им три процента! Не жмись! Они же оптом берут!.. Финны целую партию покупают, — подмигнул он Диме, закрыв трубку рукой. — Димка, пляши! В Европу вползаем.

— Какая Европа, бог ты мой! — скривился Дима, открывая банку пива. — Задворки! Где Леера? Где завтрак?

— Я ее рассчитал. — Брюнет, уже закончивший телефонный разговор, включил тостер, деловито и споро готовя завтрак. — Сегодня я за кухарку. Завтра новую найму. Эта, мой дорогой, воровала безбожно.

— Ну их хрен с ней. — Дима надкусил тост. — И пускай бы воровала. А борщи с пампушками? Она их готовила виртуозно! Пусть бы себе воровала, я ей за эти борщи все прощаю. Верни!

— Какой тебе борщ? — огрызнулся брюнет. — Борщ ему с пампушками... Ты посмотри на себя! Разожрался — поперек себя шире. Водку трескаешь не просыхая! Дима, мне это о-сто-чер-тело! Дела идут — хуже некуда. Знаешь, чем это кончится? Все пойдет с молотка, помяни мое слово.

Дима молчал, хрустел тостом, уныло глядя на компаньона. Бапка раскалывалась, похмельная мутная тоска подступала к горлу.

— Что с тобой творится, понять не могу, — продолжал брюнет, молотя ладонью по мраморной столешнице. — Пьянки, дебоши в кабаках. Ты хоть помнишь, что ты вчера учудил? Владик полночи по городу мотался, венгерку тебе искал.

— Венгерку? — переспросил Дима ошарашенно.

— Здравсьте! А кто у тебя в спальнеке кемарит? Ты орал: «Владик, найди мне венгерку! У этой суки...» У Лары, то есть, твоей... «У нее Иштван, а я

хочу Жужу! Как минимум!» Владик, бедный, рыскал по всей Москве, искал тебе мадьярку.

— «Вышла, мадьярка, на берег Дуна-ая...» — затянул Дима фальшиво. Ему было стыдно. Тошно. — Лев, — вздохнул он, растирая пятерней лицо, — ты подумай... До чего я докатился, а?

— Вот именно, — сухо согласился Лева. — В четырнадцать ноль-ноль у нас финны. Ты понял? Душ. Массаж. Массажистка ждет уже... Час на сборы!

— Останови! — приказал Дима шоферу.

— Начина-ается, — проворчал Лева, заерзав на заднем сиденье.

Машина притормозила у цветочного магазинчика.

— Иди, купи корзину красных. — Дима протянул охраннику деньги. — Ну, ты знаешь... Таких, с синеватым отливом.

Охранник смял дензнаки в огромном кулаке, выскочил из машины, почесал к магазинчику рысцой.

— Дима, — прохрипел Лева, дрожа от бессильной злости. — Ты издеваешься надо мной, что ли? Времени — в обрез, а ты тут с корзинами...

Дима молчал, невозмутимо глядя в окно.

Охранник выскочил из магазинчика, бережно прижимая к могучему торсу корзину с красными розами.

— Нет. — Дима придирчиво и неторопливо осмотрел цветы. — Нет, это не тот сорт. Я тебе сказал — с синеватым отливом! Пена, как они называются, я забыл?

— «Пламя Парижа», — подсказал шофер, поглядывая в зеркало заднего обзора и не без удовольствия наблюдая за терзаниями Левы. Он Леву недолюбливал, ибо не раз бывал бит послед-

ним за использование хозяйского авто в личных целях.

Охранник кивнул, унесся, скрылся за дверью магазинчика. Через пару минут выскочил оттуда снова, неся в вытянутых руках еще одну корзину роз. Следом выбежали две служительницы цветочного царства, улыбаясь Диме сладко, искренительно: Диму здесь знали, Дима был постоянный клиент, душка и на чаевые не скупился, и на комплименты, и за бока при этом не хватал.

— Нет. — Дима поморщился досадливо, оглядев новую корзину. — Ну что ты мне принес? Я тебе сказал — с синеватым отливом! А это что? Это не синеватый. Это — синюшный.

Лева застонал сдавленно, изнывая от гневной муки, скорчился на заднем сиденье, сжимая виски руками. Шофер поглядывал на Леву торжествующе и ликовал.

— Дмитрий Андреич, а вот эти? — защелбета-ли продавщицы, наклоняясь к окошку авто и просовывая в салон розы всех мыслимых и немыслимых оттенков алого. — Вот нам прислали пробную партию, смотрите — почти бордовые. Не вянут, будут стоять вечность.

— Тут встанет, — пробормотал шофер, окидывая цветочниц и их декольте опытным оком. — Тут, я вам скажу...

— А «Пламя Парижа»? — спросил Дима, хлопнув шофера по затылку.

— Валентин! — орал Лева в мобильный. — Финны приехали? Черт! Ну, займи их как-нибудь... Выпей там с ними, каталоги наши покажи... Мы через полчаса будем.

— Я не поеду, — буркнул Дима, повернувшись к нему.

Лева задохнулся от гнева. Стиснул трубку телефона в мокрой от пота ладони.

— Ладно, — произнес он наконец хрипло. — Поступай, как знаешь. Дима! — Лева притянул хозяина к себе за отвороты плаща. Он имел право на эту фамильярность, на резкий тон, на гневную отповедь. Он вообще на многое имел право. — Дима! — прошипел он, приблизив лицо. — Так дела не делаются, голубь мой! У тебя бизнес трещит по швам, а ты... Дима, выбирай: или бабы, или бабки. Или дело делать, или пьяные сопли на кулак наматывать.

— Иди к черту, — огрызнулся Дима устало, высвободился и повернулся к компаньону спиной.

Лева отдышался, стараясь успокоиться, потом выскочил из машины, шарахнув дверцей что есть мочи, и ринулся к притормозившему рядом частнику.

А Диме уже торжественно несли цветы. Корзину шикарных роз — красных, с синеватым отливом.

— На Весеннюю? — спросил шофер, весело глянув на шефа.

— На Весеннюю, — кивнул Дима.

На Весенней жила Лара. Он купил ей эту квартиру полгода назад. Было несколько удачных сделок сразу — шальные деньги, на которые никто не рассчитывал. Удача, случай. Дима купил эту квартиру сразу же. Квартиру и машину, которую она тотчас разбила. Пришлось покупать еще одну.

Дима вышел из машины. Закурил, хотя делал это редко: только когда совсем невмоготу. Он ходил вокруг машины и курил, поглядывая на Ларины окна.

Охранник Владик только что поволок туда, наверх, корзину с «Пламенем Парижа». А почему, собственно, «Пламя Парижа»? Когда он го-

рел-то, горемычный? А-а, это опера такая. Нет, балет. Нет, все-таки опера.

Дима бросил окурок на влажный асфальт, расплющил его носком ботинка.

— Дмитрий Андреич, Лев Аркадьич звонит из офиса! — крикнул шофер, выглянув из машины.

— Пусть на _ идет, — отозвался Дима беззлобно, снова задрал голову, посмотрел на Ларины окна.

Любил он ее? Бог его ведает. Здесь все совпало. Лара, его привязанность к ней, вся эта история, этот короткий нелепый роман, — все случилось вовремя. Не было бы Лары, была бы другая. Он искал отдушину, метался. То ли возраст пришел — тридцать три, Христово время, то ли просто наскучило ему, приелось, обрыдло то, что последние четыре года было смыслом его жизни, — дело. Бизнес. Мебельный бизнес.

Три магазина. Фабрика. Еще одну строили сейчас в Уссурийске. Поближе к сырьевой базе. И экспорт уже налаживали, и товар раскупался неплохо... Недорогая практичная качественная мебель. Мебель для мидл-класса. Дешево и сердито.

Все шло прекрасно, лучше не бывает. Откуда взялась тоска? Тоска, смятение, тревога... Он мог проснуться ночью, мокрый от пота, проснуться от беспричинной тревоги. Глотал тазепам, слонялся сомнамбулой по огромной квартире.

Будил жену — она садилась на постели, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. «Ну, что тебе? — спрашивала сонно, давая зевок. — Что с тобой?» «Не знаю. — Дима присаживался рядом. — Тоска... Слушай... Как подумаю — всю жизнь табуретки продавать!» «А чем тебе плохо? — Она смотрела на него с усмеш-

кой. — Покупают же. Чем тебе плохо?» «Не знаю. Надоело». «Ох, Димка, Димка! — Жена вздыхала, ерошила его волосы. — Ну какой из тебя новый русский? Ты, милый, случайно забрел в это стадо. Всегда тебе говорила...»

Дима взглянул на часы, снова покосился на Ларины окна. Что-то Владика долго нет. Странно. В лифте застрял, что ли?

Лара. Год назад, таким же прозрачным сентябрьским днем, Дима шел по Арбату, отпустив машину, вдрызг разругавшись слевой, — все, как сегодня.

Шел по Арбату, злой как черт, натыкался на чьи-то спины, задевал чьи-то плечи... Напротив зоомагазина играли уличные музыканты — два парня и девушка.

Парни пощипывали гитарные струны, с ленцой, но, впрочем, вполне мастеровито. На уровне ресторанных лабухов средней руки. Девушка сидела рядом, на перевернутом ящике из-под пива. Курила, вяло пересчитывая дневную выручку. Дима, проходя мимо, не замедляя шага, отметил: рыжая. Натуральная. Никаких тебе «лондеколов» — белая кожа, золотистые брови, россыпь веснушек на щеках и переносице.

Ее приятели добренчали свое. Тогда она встала со своего ящика и запела. Дима остановился, вернулся и замер шагах в десяти от нее.

Рыжая пела «Ямайку». Голос у нее был пронзительный, сильный, мальчишески хрипловатый. Она пела, полузакрыв глаза, и было ясно, что ей наплевать на всех и на все. Она пела с наслаждением. С драйвом. Для себя самой. Дима в этом понимал. Знал, что такое — настоящий драйв.

Рыжая допела, сорвав аплодисменты зевак. Дима выждал немного и подошел к ней вплот-

ную. Помолчал. Он не знал, с чего начать. Не знал, что он ей скажет.

— Как тебя зовут? — спросил он наконец.

— На «вы», пожалуйста. — Рыжая не удивилась. Привыкла, наверное. Видно, к ней часто вот так подходили. Говорили прочувствованные слова, совали в руку скомканные деньги. — Лара.

— Хочешь, я тебе помогу? — спросил он не раздумывая. — У тебя классный голос. Ну что ты тут стоишь, мелочевку сшибаешь... С таким-то голосом! Обидно.

— Поможете? — Она прищурила светлые глаза. Ее дружки молчали, недобро поглядывая на Диму. — Это как? На каких условиях? Чего взамен? Я что, спать с вами должна? Нет. У меня другая профессия.

— У тебя никакой профессии, — возразил он спокойно и жестко. — Пока. Но если ты захочешь...

— Дмитрий Андреич!

Дима вздрогнул. Встряхнулся. Он стоял возле Лариного дома, рядом со своей машиной.

Охранник, окликнувший его, только что вышел из подъезда. Выражение крайней растерянности застыло на его широкой физиономии. В руках Владик держал все ту же корзину с цветами. Поверх бутонов пестрело дамское шмотье.

Дима меланхолически оглядел его. Вот это платье он купил ей в бутике на Поварской. Две штуки баксов. «Видишь, котя? — вспомнил он Ларино умильное личико. — Я выбрала самое дешевенькое...» Шелковая шаль от Версаче... Белое платье для коктейлей...

— Шеф, она так кричала! — Владик убито глядел на хозяина. — Пусть, говорит, оставит меня в покое. Это про вас, шеф... И стала в меня

тряпками швырять. Сапогом кинула. Пусть, говорит, заберет свои подарки...

Владик скосил глаза на свое правое плечо. Там покоилась, матово поблескивая, Ларина атласная блузка. Штука баксов, Армани.

— Не, ну тогда будь последовательной, да? Иди до конца, — хмыкнул шофер, выглянув из машины. — Кофточка вернула — квартиру возвращай. И тачку.

Дима свирепо глянул на шофера — тот умолк, покашлял пристыженно. Дима перевел на Владика насмешливый взор и сочувственно сказал:

— Знаешь, на кого ты сейчас похож?

— На кого? — спросил Владик, прижимая корзину к груди.

— На Этуша из «Кавказской пленницы». Помнишь, он от Варлей с подносом выходит? С гвоздикой за ухом? Вот так...

Дима подошел к своему стражу. Достал из корзины розу, брезгливо отодвинув в сторону Ларины тряпки. Заложил розу Владiku за ухо. Отошел на шаг назад, любуясь делом рук своих.

Шофер подобострастно заржал. Владик попытался улыбнуться через силу — острый шипчик впился в мочку уха. Охранник терпел боль стойчески — то ли еще вытерпишь ради хозяина?

— Поехали, — вздохнул Дима.

— А корзину куда? — спросил Владик растерянно.

Дима огляделся. У соседнего подъезда висела мемориальная табличка (дом был хороший, престижный, кооператив от Литфонда): «Здесь, с такого-то по такой-то годы жил поэт...» и т.д.

— Поди поставь ее к доске, — велел Дима, направляясь к машине. — Пииту — от благодарных потомков. Не зарастет, мол, народная тропа.

Владик кивнул и сорвался с места, но вспомнил про шмотки и оглянулся:

— А тряпки, шеф?

— Оставь. — Дима в последний раз посмотрел на Ларины окна. Они были наглухо зашторены. Все равно подглядывает, стерва, — в щелочку. Наверняка. — Оставь в корзине, — повторил он. — Это от меня наследникам. Наследницам. Давай живей! Едем.

Самый ненавистный звук на свете — пронзительный звон будильника.

Нина вскочила, села на постели, потянулась к своему мучителю, к подлому церберу, истязателю проклятущему... В самом деле, будильник был для нее почти живым существом. Такой маленький, самый дешевый, сама его покупала, сама заводила по три раза в сутки... Последние годы Нинина жизнь была вечным недосыпом. Только-только начнешь задремывать — а он уже дребезжит садистски, этот чертов будильник.

Нина нажала на кнопку — садист умолк, утихомирился. Два часа дня. Нина вернулась с работы в восемь утра, уснула в десять. Теперь нужно было вставать и, торопливо перекусив на бегу, опрометью нестись в подземный переход на Проспекте Мира. В три часа дня Нина заступала на очередную трудовую вахту. У газетного лотка. Работа непыльная, через день, какой-никакой приварок к жалованью посудомойки...

Она подавила зевок, встала с постели и набросила халатик на пижаму... Посмотрела мельком на свое отражение в настенном зеркале.

Глаза бы не глядели! Кто поверит, что ей скоро сорок? Кто поверит в то, что когда-то, каких-нибудь десять лет назад... Впрочем, десять — это

не так уж мало. И все же, десять лет назад она считалась едва ли не первой институтской красоткой. И все бабы наперебой завистливо хвалили ее за дивный цвет кожи. Да, было, было... «Чем ты ее мажешь? Крем какой-то особый?» «Курить надо меньше», — смеялась Нина и отбирала у них сигареты...

Да... Десять лет назад. И мужики на улицах клеились, и в метро на нее поглядывали. Завкафедрой, кобелина еще тот, а поди ж ты! Пытался ухаживать всерьез, намекал: «Только скажите “да” — разведусь, кафедру — под хвост, карьеру — туда же...» Нина смеялась, отшучивалась. Осторожно отводила его лапы от своих плечей. Нина была верной женой. Спасибо матери — воспитала по Домострою.

Нина включила свет в маленькой ванной. Умылась торопливо, снова посмотрелась в зеркало. Жуть! Хваленая кожа поблекла, подвяла. Под глазами — круги. Поспи-ка по четыре часа в сутки! В течение нескольких лет. Тут и Синди Кроуфорд в старуху Изергиль превратится.

Нина неслась по бывшей Мещанской к подземному переходу, то и дело поглядывая на часы. Она опаздывала. Она всегда опаздывала. Где она возьмет деньги? Отдать в ломбард кольцо с фионитом? Черт, она же его месяц назад заложила... Теперь выкупать пора, между прочим. А денег нет. Плакало колечко, мужний подарок к пятилетию свадьбы...

Мужу Нины был хроническим безработным. Безработным по убеждению. Когда-то, так же, как и Нина, он преподавал научный коммунизм в радиотехническом. Там они и познакомились. И для нее, и для него — работа, лекции, вся эта большевистская галиматья, коей они забивали головы несчастным студиязам, была неизбеж-

ным отбыванием трудовой повинности. Неприятно. Противно. С души воротит. Но по привычке — и можно терпеть. Отбарабанишь свои три «пары» — и слава богу.

Зато была отдушина — развеселая компания молодых институтских «препов», шумные еженедельные застолья, для них всегда находился повод. Пили мало, зато много пели, трепались, спорили до одури...

Костя был душой компании — тамада всегдашний, эрудит, умница. Костя мог и из Визбора, хрипловатым «каэспешным» баском, и цитату из Бердяева, к месту, кстати, и анекдотец, в меру соленый, всегда смешной... Нина сидела рядом с ним, помалкивала, подкладывала ему винегретик на тарелку... Ловила восхищенные женские взгляды, устремленные на ее благоверного. Гордилась им. Никогда ни к кому не ревновала. Он, впрочем, и повода не давал.

Но грянула эта злосчастная перестройка-пересменка-перетряска. Научный коммунизм объявили ненаучным. Кто бы спорил? Дальше — больше. Кафедру прикрыли. Полетели головы... Нина ушла сама, не дожидаясь, когда попрут.

Выбрала работенку пусть попроще, зато понадежней. Научный коммунизм могут объявить ненаучным. Грязные тарелки чистыми — никогда. Грязные тарелки — они при любой исторической формации грязные. Чтобы они стали чистыми, их нужно вымыть и сполоснуть хорошенько. И получить свои деньги. Беспроигрышный вариант... Нина надела клеенчатый фартук. Подыскала себе еще пару приработков, поскольку Костя на трудовую вахту заступать не спешил.

Получив в институте от ворот поворот, Костя пришел домой за полночь в изрядном подпи-

тии. Рухнул поперек супружеского ложа... Да так и пролежал на нем неделю лицом к стене.

Когда он наконец поднялся с постели, сбрил щетину, облачился в свою парадную «тройку» и вышел на кухню к жене, Нина его не узнала.

Другой человек. Вместо прежнего блеска в глазах — тусклый, пустой взгляд. Вместо веселой скороговорки — односложные фразы.

— Ищи мне работу, — сказал Костя утрюмо. — Подсуепись.

Нина подсуетилась. Устроила экс-доцента гардеробщиком в свой ресторанчик. В первый же вечер Костя сцепился с подвыпившим посетителем, по простоте душевной «отстегнувшим» Костю «на чай». «Забери свою мелочь, козел! — орал Костя, молотя кулаком по стойке гардеробной. — Я тебе не поц, не шестерка! Я доцент, у меня научная степень, ты понял, гнида?!» Скандал замяли стараниями плачущей Нины.

Еще через день Костя подрался с новым русским, поскольку Косте почудилось, что «новый» как-то очень нехорошо на него взглянул. Уничтожительно. «Уни... Ужини... Чижи... Как? — переспрашивал новый русский с хмельным интересом. Он был настроен миролюбиво. Обмывал в баре удачную сделку. — Учини... Переведи, слушай!» «Щас», — кивнул Костя и двинул «новому» промеж глаз. Через полчаса Костя был с позором изгнан из заведения.

Он провалялся на полатах еще неделю. Сполз с них наконец.

— Искать работу? — спросила Нина с надеждой.

— Ищи.

Нина побегала по округе, навела справки у местных коробейников и пристроила мужа в кооперативный ларек возле дома. К концу первой

трудовой недели выяснилось, что Костя обсчитал самого себя. Кроме того, он заявил жене, что не в состоянии каждый день безвылазно сидеть у ларечного оконца. У него вырабатывается психология каторжника.

— Ах, каторжника? — крикнула Нина в сердцах, вытряхивая из шкатулки все свои немудреные цацки, колечки-сережки-камушки. — Каторжником ты будешь, это я тебе обещаю! У тебя недостатки! Чем платить будем?! Где я деньги такие возьму?

Она влезла в долги. «Отмазала» своего горекommerсанта. Костя снова залег на тахту и обложился томиками Бердяева. Прошла неделя... Нет, Костя больше не выказывал желания приступить к трудовой деятельности. Дважды попробовал — не вышло. Стоит ли еще пытаться?

Костя лежал себе на тахте, шелестел страницами. Нина молчала. Она теперь не только гремела тарелками в посудомоечной — она еще мыла лестницы в подъездах. Спина с непривычки ныла нещадно. Кожа на руках загрубела, ногти ломались постоянно, болели суставы... «Ничего, — говорила Нина. — Зарядка. Похудею». «Куда тебе худеть-то? — вздыхала мать. — Кожа да кости! Разведись! Пусть катится ко всем чертям... Нахлебник!»

Костя ушел сам. Его уход совпал с октябрьским путчем. Как только Гайдар, появившись на экране их старенького «Рубина», призвал всех на защиту демократии, Костя сполз с тахты, захлопнул томик Флоренского и принялся лихорадочно одеваться.

— Ты куда? — спросила Нина, полуживая от усталости, только что вымывшая-выскоблившая свои четыре подъезда.

— К мэрии, — буркнул ее благоверный, зачем-то натягивая охотничьи сапоги-бахилы. — Ты же слышала, Егор сказал: «Встанем живым кольцом!»

— Че ты сапоги-то напялил? — ехидно поинтересовалась теща. — По грибы, по ягоды, что ль?

— Возможно, нам придется отступать, — сухо пояснил зять, нервно запихивая в рюкзак термос, складной нож, теплые кальсоны. — Уйдем в леса. В ополчение. Может, я вообще не вернусь, — добавил он дрогнувшим голосом.

Вскинул рюкзак на плечо, на цыпочках прошел в детскую, чмокнул спящего сына в мягкую щеку... Нина и ее мать ошеломленно глядели на Костю. Костя обставил сцену прощания по всем правилам революционного эпоса: герой склоняется над колыбелью сына... Он уходит в ночь — явки провалены, всюду облавы, там и сям рыщут шпики, охранка не дремлет... Демократия в опасности. Герой идет на баррикады, лик его одухотворен и бледен, глаза сияют, взор ужасен. Он весь, как божия гроза.

— Вот смотри, Нин, — вздохнула многомудрая Нинина мать, как только за зятем захлопнулась дверь. — Вот тебе советский мужик во всей красе. То, что у него семья с копейки на копейку перебивается и жена на четырех работах пашет, — это ему до фонаря. Это его не колышет. Как только у него демократия в опасности, тут он сразу: кальсоны в котомку и — грудью на амбразуру! Вперед!

Все три эпохальных дня Костя пропадал неизвестно где, изредка позванивая домой. «Слышишь, как грохочет?! — ликующе орал он в трубку. — Я от «Баррикадной» звоню! Давим их, как клопов!.. Додавливаем!»

Наконец явился, обросший трехдневной щетиной, говорящий без умолку, радостно-возбужденный. Умял две тарелки борща, вскочил:

— Нина, я на митинг! Сейчас митинг в Останкине... Потом у мэрии... Победа, Нинка! Виктория! Теперь все будет по-другому!

— Ты уверен? — спросила Нина устало и насмешливо. — Ой ли... Революция пожирает своих детей. Помнишь? Уж сколько их было, этих викторий, — всегда одним и тем же кончается. И эта вас сожрет и не подавится.

Костя возмущенно взглянул на жену, но смолчал. Ушел. Вернулся ночью, наспех собрал чемоданчик. Объявил Нине, что уходит навсегда. Там, на баррикадах, он встретил женщину, которая его понимает, которая разделяет его убеждения.

— Надо же! — удивилась Нина. — И кто она такая?

— Она фармацевт. Мы с ней были в Останкине. Под пулями. Мне было страшно, ей — нет. Я подаю на развод. На площадь не претендую, не боюсь, буду жить у нее на Речном.

Нина представила себе фармацевтку с Речного — получалось нечто вроде Марсельезы с известной гравюры: дородная дама с оголенным бюстом воинственно размахивает стягом...

Она отпустила Костю безропотно, ни ревности, ни горечи, ни облегчения не испытав... Оказалось, все чувства в ней давно уже притупились. Все. Кроме чувства усталости. «Пусть катится, — сказала мать. — Мужик с воза — бабе легче».

Развелись. Через месяц после развода Костя вернулся домой.

Нина собиралась «в ночное», на бессонную вахту в свой ресторан. Сунула газовый баллон-

чик в карман плаща, открыла дверь... И обмерла. Костя топтался на лестничной площадке.

— Дождь, — сказал Костя, дотронувшись до мокрых волос. — Ну, ничего, уже обсох почти, давно тут стою. Боюсь позвонить.

Нина молча кивнула ему на открытую дверь. Бывший муж вошел, бочком-бочком, пряча глаза. Мокрый, продрогший, в курточке своей задрипанной.

— Ты надолго? — спросила Нина.

Костя пошмыгал простуженным носом, помолчал. Потом его словно прорвало, бедолагу: покаянные речи, жалобы и мольбы... Марсельеза с Речного оказалась существом примитивным и прагматическим. Она желала, оказывается, чтобы Костя работал и приносил деньги в дом. Как только революционный октябрьский уик-энд завершился, страсти улеглись и наступили мирные трудовые будни, аптекарша выдернула томик Соловьева из Костиных рук и едва ли не силком («Ты представляешь, Ниночка? Взашей гнала!») принудила молодожена самого зарабатывать на хлеб насущный.

— Какяеяпонимаю, — заметила Нина. — И куда она тебя определила?

Выяснилось, что Марсельеза устроила Костю грузчиком в овощной магазин.

— Сколько продержался? — спросила Нина с неподдельным интересом. — День? Два?

— Три, — буркнул Костя. — Они меня спаивали. Я, Нина, не могу бормотуху пить. У меня язва, ты знаешь. Я вернулся. Прости меня. Давай снова регистрируемся.

Пешеходный переход. Черный «Опель» проскочил на «зеленый». Нина погрозила кулаком ему вслед. Мчат на зеленый свет, новые хозяева новой жизни. Напролом! Нет для них ни правил,

ни законов. Они их сами для себя устанавливают. Все для них — «Опели», супермаркеты, набитые шикарным шмотьем и отменной жратвой, рестораны, отели-мотели... И этот город, и этот проспект, по которому они летят на своих иномарках беспрепятственно, на «желтый», на «зеленый», не все ли равно... Все для них — и эта московская осень, и это сентябрьское солнце.

Стоп. Остановись, подруга. Вот эта злоба пролетарская, темная, тяжелая, мутная — разве тебе это свойственно? Нина замедлила шаг. Она уже подходила к подземному переходу. Не хватало еще озлобиться на весь свет. Избави Боже! Вспомни глаза маменькиных соратников, большевиков-подпольщиков, явившихся на очередную кухонную сходку!.. Кстати, надо матери сказать: пусть завязывает с этими домашними маевками. Хватит! Вспомни глаза этих перовских на пенсии, этих кибальчичей в отставке — загнанные, горящие лихорадочным блеском, полубезумные... Вспомни, содрогнись и устыдись, погаси в себе вспышку завистливой злости. Все хорошо, Нина. У тебя все в порядке. В лучшем виде. Вот так-то.

Нина спустилась в подземный переход. Зинаида, напарница, стоящая возле газетного лотка, уже грозила Нине кулаком, тыча пальцем на циферблат наручных часов. Нина подбежала к ней, отдуваясь.

— Убью! — изрекла Зинаида. — Опоздала на сорок минут. Где тебя черти носят? Гони долг, я тут боди себе присмотрела.

Батюшки! Нина прижала ладони к щекам. Она ведь и Зинаиде должна, тридцатник. Совсем забыла. Придется отдавать.

— Зачем тебе боди? — Нина открыла кошелек и выгребла оттуда все, что там было. — За-

чем тебе боди, зима на носу. Держи. Ровно тридцать.

В кошельке осталось две мятых бумажки. На метро хватит. А дальше будем думать. Будем соображать, у кого перехватить до зарплаты. Позвонить, что ли, Носовой? Она богатая, челночит себе на славу. Черт, телефон отключили, за была...

Ладно. Я подумаю об этом завтра. Завтра, как говаривала Вивьен-Скарлетт, кокетливо щуря рысьи глазки. Вам бы, леди, мои проблемы.

Ничего. Я их решу. Я с ними справлюсь. Не впервой.

Дима сидел у себя в офисе, в своем кабинете, за бескрайним столом.

Два эстонца развалились в креслах напротив. Устроились удобно, покуривали «Мальборо», стряхивая пепел мимо пепельниц, на ковер. Наглели с каждой минутой, надувались от сознания собственной значимости.

Дима смотрел на них, слушал молча. Эстонцы производили у себя, в своем Богом забытом Тарту, отменного качества гобеленовое полотно. Дивных расцветок, стильных, «под ретро». Дима, осваивающий концепцию новой мебельной серии (эдакий мебельный «антиквариат») искал для своей пробной партии ретро-гарнитуров именно такую ткань для обивки. Вездесущий компаньон Лева, обрыскав пол-восточной Европы, наткнулся на эстонцев почти случайно. О чем еще мечтать? Товар — под боком, цены — копеечные, качество — супер.

Не тут-то было. Прибалты, с их крестьянским чухонским хитрованством быстро сообразившие, какие они для Димы подарки, тут же приня-

лись набивать цену и требовать к себе иного отношения. Самое забавное, что они привезли с собой переводчика. Они, знающие русский едва ли не лучше, чем Дима (Лева, устраивая их в «Балчуг», сам слышал: трепались с администраторшей на отменном русском, практически без акцента), теперь лопотали с ним на эстонском. Бросят три фразы — и курят, усеивая ворс ковра пеплом. Переводчик — мордастый парень, пивом тянет за версту — переводит с ленцой, спотыкаясь на каждом слове.

Дима слушал, молчал, зверел.

— Так, — сказал он наконец, поднимаясь из-за стола. — Тебя как зовут? Тынис? Тынис, давай переведи господам мануфактурщикам. Торговаться я с ними не буду. Или они согласны на мои условия — или пусть катятся на хрен.

У господ мануфактурщиков вытянулись лица. Ясное дело, осилили фразу без перевода. Лева закашлялся, мучительно подыскивая слова, которые могли бы снять напряжение.

Дверь в кабинет распахнулась. Лара ворвалась в Димины уголья, словно смерч. Доблестная Димина секретарша почти висела у Лары на локте, пытаясь остановить нежданную визитершу, вернуть ее обратно в «предбанник».

Эстонцы оживились, заерзали в креслах, забыли про свои сигареты и обиды, обменялись парой коротких оценивающих фразочек.

— Давай, переводи, — велел Дима переводчику, не спуская с Лары недобрых глаз.

— Это не очень переводится. Они про даму, — пояснил Тынис с ухмылкой.

Что и говорить — Лара была хороша. И следа не осталось от угловатой пацанистой уличной певички, встреченной Димой когда-то у арбатского перекрестка. Лара была шикарно «при-

кинута», классно подстрижена. Прическа от Зверева, макияж от Новикова, гавайский загар. Подмосковский апломб.

Что да, то да. Лара была классической девочкой из Люберец. Такая особая генерация. Особая, аналога нет. Они рождаются в маленьких городках, эти небесные создания. В провинциальных грязноватых небогатых городках. А Москва — желанная, вожденная, щедрая, шумная — совсем рядом. В получасе езды... Рядом! Только протяни руку... Протяни руку да вцепись покрепче в запястье какого-нибудь москвича. Желательно — побогаче. Помоложе. Поуспешней. Понеженатей. Впрочем, будет женат — разведем. Будет немолод — потерпим. Собой нехорош — переждемся. Зато — Москва! Козырный туз червовый...

Вот она и вцепилась в него, в Диму, два года назад. Удача сказочная, везение редкостное. Дима был и молод, и богат, и собой недурен. «Слишком даже хорош, Ларка! — говорила ей люберецкая тетка, помогая Ларе укладывать ее нехитрые пожитки в сумку из старой плащевки. — Слишком хорош! Как бы не отобрали... Охотниц будет много».

Охотниц было немало. Лара разогнала всех. Люберецкая закалка, подмосковная хватка — всех этих московских курв расшвыряла! И главный бой выиграла — развела с женой.

«Все у нас получится!» — повторяла про себя, посмеиваясь. Ночью, прижавшись к нему, спящему. Днем, обнимая его на заднем сиденье его роскошного авто. «Все у нас получится! Все получится...» Чей-то дурацкий предвыборный лозунг, Лара и не помнила — чей. Все получится!

Все и получилось. Почти все. Она не учла главного. Дима влюбился в ту смешную хипповую девчонку-оторву, поющую возле арбатского перекрестка. Дима влюбился в рыжую Золушку. Когда же Золушка превратилась в Мачеху, сварливо орущую на перепуганных продавщиц в модном бутике, Дима оторопел, растерялся, погрузился, поскуучился. Потом сказал Ларе жестко:

— Что-то ты, солнце мое, слишком быстро из Золушки в Мачеху превратилась. Не рано-вато ли? А?

Лара закатила скандал. Дима молча оделся, бросил ключи от квартиры (купленной им для нее совсем недавно) на столик в прихожей и ушел.

Она его вернула. Но с той поры, с того памятного разговора, все у них разладилось, все пошло прахом. Ссоры, склоки, лихорадочные ночные примирения, и новые ссоры, и новые слезы...

Она стала изменять ему — демонстративно, в открытую. «Пусть поревнует!» — говорили Ларе ее новые московские подруги — случайные приятельницы, завидующие ей, дуре, отчаянно. Ларе бы их не слушать — гнать. Лара слушала. Поступала, как велено. Пускала в постель кого ни попадя, чужих мужиков. Терпела их постылые ласки, превозмогая отвращение. Вроде как у дантиста без обезболивания. Мстила Диме. Глупая, нелепая люберецкая охотница... Загнала саму себя в капкан.

Теперь она стояла посреди Диминого кабинета, глядя на него с дурацким детским вызовом. Решила идти ва-банк. Авось повезет!

— Дима, — сказала она наконец торжественно. — Мне деньги нужны, я замуж выхожу, Дима.

— Замуж? — переспросил Дима, покосившись на притихших эстонцев. Его унижали в присутствии чужих. Она унижала его не в первый раз. До поры до времени он терпел и прощал. Хватит. Баста!

— Замуж? — повторил он. — Поздравляю. За кого?

— За князя Трубецкого! — отчеканила Лара победно. — Настоящий князь, между прочим. У него карта древа над столом висит — закачаешься!

Князь был ею не выдуман, существовал в действительности — невзрачный такой господинчик лет сорока. Пристал к ней на какой-то тусовке. Целовал ручки, расшаркивался, как и подобает галантному отпрыску княжеского рода. Обещал произвести Лару в графини. «Зачем же в графини? — спросила Лара насмешливо, брезгливо отдернув руку от его губ. — Тогда уж — в княгини. Чем я не Трубецкая?»

Замуж за него она не собиралась, естественно. На черта ей этот князь, преп по технике речи, с небольшим окладом?! Князь Ларе не нравился. Лара любила своего плебея-мебельщика. Дима к венцу ее вести передумал, поостыл, давал задний ход. Лара решила его спровоцировать, подстегнуть.

— За Трубецкого, — повторила она с вызовом. — Дай нам денег, Дим. Он должен что-то оставить чилдренам. Он их настрогал штук шесть. Ждал, когда наследник родится. Продолжатель рода. А сам все девок лудил. Дамский мастер. Дай денег, Дим. Считай, что это отступные.

Дима кивнул, наливаясь тяжелой вязкой злобой. Потом подошел к Ларе, сгреб ее в охапку и выволок из кабинета. Лара отчаянно завизжала и, пытаясь вырваться, замолотила его кулаками по плечам.

Дима протащил ее вниз по лестнице, не произнеся ни слова, тяжело дыша и багровея от ярости.

— Пусти! — кричала Лара, отбиваясь. — Пусти! Ты что, убить меня хочешь?! Ошалел совсем?

Дима вытащил ее на улицу, подволок к своей машине. Шофер выскочил из авто, растерянно глядя на хозяина и его визжащую подругу.

— Отвези ее домой, — прохрипел Дима, наконец выпустив Лару. — К ней домой, — уточнил зло. — Не ко мне — к ней!

— Да вон ее машина стоит, — пробормотал шофер, косясь на Ларину машину (Димин подарок, Дима умел быть щедрым, что да, то да). — Вон ее тачка! Она на своей приехала, я видел.

— Дима! — Лара размазывала слезы по лицу. Она уже поняла, что проиграла. — Дима, я пошутила! Я ни за кого не выхожу, не собираюсь! Это я так, шутка дурацкая...

— Отвези ее, — повторил Дима, глядя на шофера. Лару он не слышал, Лары больше не существовало. — Давай, в темпе!

Лара притихла, вытерла слезы, оттолкнула руку шофера. Подошла к своей машине, открыла ее, села за руль и умчалась.

Дима присел на каменный выступ и привалился спиной к стене. Сидел, глядя перед собой угрюмо и тупо. Шофер топтался на месте, не решаясь подойти к хозяину, не зная, чем ему помочь.

Лева выскочил из дверей офиса, огляделся, увидел Диму, присел рядом и протянул ему сигареты. Помолчали. Дима закурил, жадно затянувшись.

— Я, значит, грязный торгаш, — пробормотал он после долгой паузы. — Я — торгаш, а ей белую кость подавай... Кронпринцев... Она у нас,

блин, Трубецкая теперь! Лев, найди мне какую-нибудь разведенку из Рюриков, — попросил он с печальным сарказмом. — Женюсь и буду Рюрик. Найдешь?

Лева хмыкнул. Дима потянулся за новой сигаретой.

— Хватит, — сказал Лева и сунул пачку в карман. — Одну выкурил — хватит. Из Рюриков тебе найти? Что ж, поищем. Не такая уж плохая идея, мой дорогой.

Позвонили в дверь. Осторожный короткий звонок.

— Одиннадцать вечера... — Нина недоуменно покосилась на мать. — Кто это, как думаешь?

— Не открывай, — сказала мать, продолжая массировать худенькую Нинину спину, почти по-девушечьи узкую. — Не вздумай даже. Шпана какая-нибудь...

Опять раздался звонок. На этот раз — долгий, настойчивый. Нина решительно поднялась с табурета.

— Не открывай, — крикнула мать.

— Ну что ты хочешь, чтобы Вовка проснулся? И Костя?

Она вышла в прихожую, подошла к двери.

— Кто?

Молчание. Потом низкий женский голос откликнулся вкрадчиво, льстиво:

— Вы меня не знаете... Нина Николаевна... Если это вы... я сейчас вам все...

Нина открыла дверь, не дослушав.

Полная брюнетка лет пятидесяти стояла перед ней, улыбалась Нине умильно, сложив пухлые руки на животе эдак по-поповски. Волосы у брюнетки были весьма интенсивно начесаны по моде шестидесятых годов — до размеров ог-

ромного, почти идеальной геометрической формы шара.

— Здравсьте, — сказала незнакомка. — Как у вас лестница-то сверкает... — И она улыбнулась Нине. — Каждая ступенечка блестит. Не иначе как вы ее вымыли только что.

— Допустим, — кивнула Нина. — Вы к кому?

— Значит, все еще моете, — вздохнула незнакомка. — Костя мне рассказывал.

— Костя? — переспросила Нина удивленно. — А вы кто, собственно?

— Я Вика. — Незнакомка подняла руки к вискам, поправляя прическу — шар не дрогнул, не шелохнулся. — Я Вика, та самая... Ваш муж уходил ко мне... Три года назад.

Марсельеза! Фармацевтша-воительница. Нина рассматривала ее с насмешливым интересом.

— Он спит, — прошипела мать, выглядывая из-за Нининого плеча. — Костя спит. И вообще, что вам здесь нужно?

— Мама, иди к себе, — велела Нина и посторонила, впустив Марсельезу в прихожую.

— Нина, кого ты впускаешь? — зашептала мать негодуя. — Зачем?

— Мама, иди к себе! — Нина повысила голос.

— Я — в кухню, — прощепетала Марсельеза и шмыгнула в кухню, непрерывно оправляя, взбивая кончиками пальцев свою шарообразную прическу, покрытую прочным панцирем из лака. — Я к вам по делу. — Она села к столу, снова сложив руки на животе.

Нина прислонилась к стене, глядя на Марсельезу. Фарс... Костю, что ли, разбудить?

— Именно к вам, — словно прочитав ее мысли, уточнила Марсельеза с многозначительной улыбкой. — Не к Косте. В этом доме все решаете вы, как я понимаю. — Марсельеза сделала

краткую паузу и выпалила, репившись: — Нина, я хочу получить компенсацию.

— Что?! — спросила Нина изумленно. — Что вы хотите получить?

— Компенсацию, — повторила Марсельеза веско, с мрачной торжественностью. Она уже не улыбалась. — Компенсацию за утраченное здоровье.

— А мы-то тут при чем? — Мать заглянула в кухню и ненавидяще посмотрела на Марсельезу. — Костя — при чем?! Он бил, что ли, вас?

— Мама, ты еще и подслушиваешь? — Нина попыталась выставить мать из кухни.

— Что-о вы, — вздохнула Марсельеза. — Костя... Да он мухи не обидит! Это я его пару раз приложила... Когда пьяный пришел. У меня рука тяжелая.

— Гони ее, — прошипела мать, не давая Нине вытолкнуть себя из кухни. — Что ты ее за стол-то посадила?

— У меня астма, — сказала Марсельеза, делая вид, что не слышит выпадов в свой адрес. — Я инвалид второй группы.

— А мы-то здесь при чем?! — завопила мать. — Костя здесь при чем?

— Он привел в дом кота, — пояснила Марсельеза. — Он нашел его там, у Белого дома... Мы его даже называли Руцким. Вылитый Руцкой, усики — щеточкой...

Нина и мать ошеломленно взирали на Марсельезу.

— И кот стал у нас жить, — продолжала Марсельеза задумчиво, медленно, с какой-то странной полуулыбкой. — А потом Костя вернулся к вам, а Руцкой остался у меня. Я его очень любила...

— Кого? — спросила Нина. — Костю? Или кота?

— Обоих, — прошептала Марсельеза.

— Нина, она сумасшедшая, — заметила мать убежденно.

— Но я стала кашлять. — Марсельеза вновь проигнорировала оскорбление. — И задыхаться. У меня началась астма на нервной почве. Опять же — кошачья шерсть...

— Отдали бы кота. — Мать смотрела на Марсельезу почти с опаской. — Раз такое дело... Нас-то чего шантажировать?!

Нина изловчилась и наконец вытолкнула мать за порог кухни, захлопнула дверь, придерживая ее рукой на тот случай, если мать предпримет попытку штурма.

— Я сейчас ложусь в клинику. — Марсельеза взглянула на Нину в упор. — У меня совсем нет денег на лечение. Помогите, умоляю вас! Это так дорого теперь, вы же знаете... Ведь если бы не Костя... И не кот... Я была бы здорова.

Нина смотрела на нее молча. Марсельеза улыбалась ей искательно и жалко. Потом, вспомнив, наверное, о своем диагнозе и инвалидности, она надсадно и хрипло закашлялась. В сущности, она мало чем отличалась от побирушек из электричек и поездов метро: тот же заунывно-протяжный голос, сиротская печаль во взоре...

Нине стало нестерпимо стыдно. Не за себя — за эту бедолагу. И жаль ее до слез — нелепую, полубезумную старую тетку. И себя тоже жаль почему-то.

— Я совсем одна, — призналась Марсельеза. Глаза ее наполнились слезами. — Совсем-совсем одна. Кот умер. Детей у меня нет...

— Вы чаю хотите? — спросила Нина.

Марсельеза покачала головой, борясь со слезами.

— Вам еще повезло. — Она достала из сумочки, такой же допотопной и старомодной, как и она сама, мятый носовой платок и трубно высморкалась. — Повезло. У вас — дети, мама. Муж. Хотя какой он муж, уж я-то знаю. Помню. Но все же... Вам есть о ком заботиться. Это такое счастье! А я совсем одна. Мне даже поговорить не с кем. Я пойду. Простите.

Она поднялась из-за стола, снова проверив сохранность своей зацементированной лаком прически.

— Подождите, — произнесла Нина растерянно, не зная, чем ей помочь. — Куда вы? Вы же просили... Вам ведь...

— А! — Марсельеза махнула рукой, сунула платок в карман и снова поправила купол над головой. — Это я так... Чтобы повод был познаться.

Марсельеза открыла дверь — мать стояла в прихожей, сунув руки в карманы халатика, испепеляя незваную гостью инквизиторским взором.

— Мама, что же ты подслушиваешь? — прошептала Нина укоризненно. — Стыдно, мама... Подождите! — Она оглянулась на гостью. — Я сейчас... Денег у нас совсем нет, но... — Задумавшись на миг, Нина сняла с пальца колечко. — Это не обручальное, — пояснила она поспешно, протягивая кольцо Марсельезе. — Это я сама себе купила когда-то... Я его в ломбард не сдаю, жалею... Ну, это неважно. Оно с бирюзой, я бирюзу люблю... любила. Возьмите.

— Дура ты, дура, — вздохнула мать. — Святая простота! Поверила аферистке...

— Спасибо. — Марсельеза вытерла слезы. Покачала головой. — Я не могу принять, спасибо.

— Она и астму-то придумала, — не унималась мать.

— Астму я не придумала. — Марсельеза открыла дверь на лестничную площадку. — Каждую ночь задыхаюсь, ингаляторов не напасешься. Спасибо вам. — Она взглянула на Нину. — Вы добрая. Не сердитесь на меня... за Костю.

— Когда это было! — устало откликнулась Нина.

— Все равно вы счастливая, — сказала Марсельеза. — Хотя и лестницы моете. Вам есть для кого жить. Счастливая!

— Может, и вам еще повезет, — ответила Нина.

— Мне — вряд ли. — И Марсельеза улыбнулась ей сквозь слезы. — А вот вам повезет. Я немножко колдунья. Меня в нашей аптеке на Фестивальной все бабы ведьмой звали. Вам повезет. Помяните мое слово!

Теплый сентябрьский вечер. Аккуратная лужайка перед двухэтажным коттеджем с высокой мансардой. Мерное урчание газонокосилки — Димин садовник стрижет газон. Совершеннейшая идиллия. Дом в Серебряном бору. Сосед справа — поп-звезда. Сосед слева — политик из самых-самых... О чем еще мечтать? Чего ж, черт подери, так тошно?!

Дима прохаживался вдоль центральной аллеи, меряя ее шагами. Тоска подкатывала к горлу, тупая, неотвязная мутная тоска. Выпить, что ли?

Странное дело — не хотелось. Да и не поможет. Махнуть в ночной клуб? Сидеть там, глотать виски, плясать на стриптизерш? Ему всегда их жалко. Ему кажется, что им, горемычным, зяб-

ко нагишом-то. Никогда они его не возбуждали, бедные трудяги, рабочие лошадки с вселенской тоской в густо подмазанных очах. Может, он увечный какой? Нет, не возбуждают, и все тут.

Дима остановился посреди аллейки, оглядел свои владения. Уже стемнело, горничная зажгла свет в комнатах первого этажа. Горничную еще Лара подбирала. Забраковала пятерых хорошеньких, выбрала самую некрасивую. Под «полтинник». «Вот так вот, — сказала. — Будет эта. Чтобы глаза не палил. И за бока не хватал».

Лара, Лара... Как же все повернулось! Тебя здесь больше нет, а дурнушка-домоправительница осталась. Стоит на веранде, опускает в гжельскую напольную вазу свежесрезанные гладиолусы — Ларины любимые.

Запищал мобильный. Голос у Левы был торжественный, он говорил неспешно, с расстановкой:

— Дим! Здесь Боб, наш новый босс по рекламе. Общнетесь?

— Давай, — вздохнул Дима.

— Я подготовил рекламный пакетец, — забасил Боб. — Эскизы торговой марки. Я что хочу сказать... Вот эта наша партия новая — гарнитурчики «под ретро». Здесь особый товарный знак надобен, Дмитрий Андреич. Что-нибудь вроде фамильного клейма... Пупков, конечно, не Гамбс...

— Дима, послушай, — затараторил Лева, включившись в беседу. — Тут вот какая идея... Помнишь, ты вчера насчет аристократки отстрил? Я на досуге пораскинул мозгой. Мебеля у нас стильные, «под ретро». А чьей фирмы? Пупков энд компани? Не звучит!

Пупков — это была Димины фамилия. Пупков, сын Пупкова. Откуда они, Пупковы, пошли,

что там в истоках фамильных, в происхождении рода — никто толком не знал. «Ну, может, Димка, пращуру нашему кличку такую дали... Может, было за что, — сказал ему как-то отец, рассмеявшись. — Что ж нам теперь, фамилию менять? Да ни в жизнь! Это ведь как на нее посмотреть, на фамилию-то... Кому — Пупок, а кому — пуп земли. Не в том смысле, что зарвался, забронзовел... В том смысле, что — соль земли. Пуповина».

— Опять же — фарфоришко строгаем, — продолжал между тем Лева. — Выпуск сервизов налаживаем. А что на донышке? «Пупков» в вензелях?

— Ну, и что ты предлагаешь? К чему ты клонишь-то, я никак не врублюсь? — Дима зябко поежился. Солнце село, разом похолодало. Он двинулся к дому, держа трубку возле уха.

— Слушай, — Лева выдержал паузу. — Находим какую-нибудь старую деву из Дашковых, победнее. Чтоб ей штука баксов небом в алмазах показалась. Берешь ее фамилию, через год разбежались тихо-мирно, полюбовно, и ты — Дашков. Сервиз от Дашкова! Мебель от Дашкова! Звучит! Классная реклама. Спрос будет ломовой.

— Иди ты к черту! — отрубил Дима.

Прервав диалог с хитроумным компаньоном, Дима вошел в дом. Побродил по комнатам, потрепал по морде одного из двух своих красавцев догов. Чарли смотрел на хозяина печально и преданно.

Собаки появились в доме три года назад. Никита, Димин сын, потребовал себе в подарок на свое пятилетие. Дима приволок ему пять гигантских плюшевых собаченций. «Живого! — завопил Никита, оттолкнув в сторону охранника Владика, едва удерживающего в растопырен-

ных дланях весь этот собачий выводок — Я просил живого!!!» Никита рос капризным, балованным. Эдакий наследник Тутти. Дима прощал ему все. Все спускал, все позволял, ни в чем не отказывал. Жена ворчала, взрывалась изредка: «Ну кем вырастет? Дима, мальчик должен знать слово “нет”!» «Не должен, — возражал Дима упрямо и твердо. — Мой сын не должен знать слово “нет”. Тогда ему никто потом “нет” не скажет. Не посмеет сказать».

Купили догов. Никита был счастлив. И Дима был счастлив, и жена... Это было три года назад. Всего три года назад. Детский смех, сыновняя взлохмаченная макушка, о которую Дима любил тереться щекой, русая, как у отца, как у деда. Никита вообще вышел мастью, породой, повадкой, упрямым норовом — в Диму. В Пупковых. Только глаза — как у жены. Темные, чуть раскосые.

Теперь он уже не Пупков. Селиверстов. Никита Селиверстов. Жена настояла на том, чтобы мальчик взял фамилию отчима. Это был страшный удар для Димы, чудовищный. Дима долго не мог оправиться. Но и воспрепятствовать не смог.

«Ничего, — сказала жена, бывшая жена. — Ты себе еще родишь наследника. Твоя певичка тебе родит. А Никита будет Селиверстов. Так я хочу. И мой муж так хочет».

Тоска... Дима стоял у мансардного окна. Вечер, осень, где-то жгут костер... У поп-звезды опять тусовка, народное гулянье в палисаднике. Собрался весь фанерноголосый бомонд. Хохот, визг, шашлыками пахнет... Пахнет шашлыками, пахнет дымом, сырой опавшей листвой, сосновой корой, пропитанной сентябрьскими дождями... Тоска. Какая тоска! Что же делать? Что с ним происходит? Понятно — что. Он всех по-

терял. Все потерял. Сам виноват. Сам виноват во всем. Только сам.

Что он молол там, затейник Лева, про каких-то графинь-княгинь? Ну да. Титул. Товарное клеймо. Остроумный рекламный ход. Забавный, неожиданный, ничего не скажешь. Только на дьявола ему, Диме, ввязываться в эту сомнительную авантюру?

А что? Приключение. Хоть какое-то спасение от неотвязной хандры. Никита теперь — Селиверстов, а он, Дима, будет Дашков. К примеру... Волконский-Болконский. Ваше сиятельство. Ваше сиятельство, не соблаговолите ли вы отвещать... Позвольте представить вам... Фрак, цилиндр, монокль... Чего еще там... Труакатр. Дима рассмеялся. Чуть собачья!

Труакатр... Же не манж па сис жур. Попробовать, что ли? Дима достал мобильный. Чуть, конечно, дурь, блажь, но все-таки приключение. Авантюра! Авантюры он обожал. Неизбывное, невытравляемое с возрастом мальчишество еще жило в нем, тридцатитрехлетнем солидном мужике. Дима был азартный, рисковый. На том и стоял. На этом и дело свое выстроил, и преуспел в нем.

— Лева, — сказал он весело, дождавшись, пока Лева ему ответит. — Дрыхнешь там, что ли? На восьмой гудок подошел. Слушай, ты давай-ка смотайся в это, как его там... Дворянское собрание, да?.. Составь мне списочек невест с родословной. Только смотри, чтобы им не под девяносто было! Чтобы челюсть не выпадала. А то найдешь мне старушенцию с буклями, какую-нибудь Пиковую даму. «Три карты, три карты», — пропел он. — Нет, я — не Германн. Я — другой. Давай, действуй! Поезжай туда завтра же.

Дима стоял посреди маленького двора и озадаченно озирался. Бог ты мой, он уж и забыть успел о том, что есть еще на свете такие дворы — грязноватые, тесные, облепленные со всех сторон четырехэтажными панельными «хрущевками»... Как они там живут, в этих каморках, в этих крохотных кухоньках, в подслеповатых комнатенках с низкими потолками? Бедные, бедные люди... Какая-то старуха плелась к магазину, пустая авоська болталась у нее на согнутом локте.

— Поди дай ей денег, — велел Дима охраннику Владику.

Лева выбрался из машины. Глянул в бумажку с адресом, сверился с номером соседнего дома.

— Дмитрий, — произнес он решительно и весело, — нам сюда. Ну? Чем тебе не особняк Рябушинского? Наша графинюшка проживает именно здесь. Дом шестнадцать, корпус семь. Все верно.

Дима вошел в подъезд вслед залевой и брезгливо поморщился: в подъезде воняло кошачьей мочой, дешевым портвешком — по всей видимости, местные алкаши облюбовали этот подъезд для ежевечерних возлияний. Где-то совсем рядом, за стеной, какая-то женщина кричала визгливо и яростно, потом загремела посуды, хриплый мужской бас пятистопно выругался...

— Слышимость, а? — усмехнулся Лева, одолевая пролет за пролетом. — Хрущобы... Детство мое золотое...

— Да ну? — изумился Дима, едва за ним поспевая. — У тебя же папаша был дантист. Неужто в хрущобе куковали?!

— А ты как думал? — хохотнул Лева, остановившись у двери под номером девятнадцать. — Зна-

ещь, сколько зубов ему пришлось загломбировать фраерам всяким, прежде чем он на кооператив в Сокольниках заработал? Мало не покажется. Ну-те-с, к делу! — И Лева нажал кнопку звонка, переложив шикарный букет (гладиолусы в пестрой кружевной фольге) из правой руки в левую.

Дверь открылась почти сразу же.

Худенькая пожилая женщина в пальтишке из болоньи стояла на пороге и испуганно глядела на неожиданных гостей.

— Что же вы не спрашиваете «кто там», сударыня? — поинтересовался Лева наставительно. — Крайне неосмотрительно с вашей стороны. Нравы падают, криминал растет... Госпожа Шереметева здесь проживать изволят?

«Зачем он ерничает? — подумал Дима с досадой. — Издевается над несчастной старушенцией, козел... А может, это она и есть — Шереметева? Ошибочка вышла, опечаточка в списке: вместо семидесяти лет поставили тридцать восемь. Мда... Вот тебе, Дима, и невеста. Пойдешь под венец с божьим одуванчиком».

Он вспомнил картину «Неравный брак»: постный старец и скорбная молодка у алтаря. Дима представил себя на месте молодки: размордевший верзила под воздушной фатой... Заржал в голос, не удержавшись.

— Могу я видеть госпожу Шереметеву? — повторил Лева, с удивлением покосившись на компаньона.

— Здесь господ нет, — отрубила женщина. Она уже справилась с растерянностью. — Здесь в основном товарищи. Нина! Вставай! К тебе!.. Проходите. — Она посторонилась, впуская визитеров в крохотную прихожую. — Что-то к нам какая-то публика непонятная зачастила, — добавила она вполголоса, словно для себя.

— Всеу свое время, сударыня, — успокоил ее Лева, с любопытством озираясь по сторонам. — Мы приоткроем завесу над тайной. Вот чайку нам нальете, тогда и...

— Проходите в кухню, — вздохнула женщина. — Нина! — крикнула она снова. — Она сейчас встанет... Уснула после ночной смены.

Женщина ввела гостей в крохотную кухоньку. Дима скептически огляделся. Башку бы с плеч Никите Сергеевичу за эти кельи. Впрочем, благое дело делал. Вытаскивал народонаселение из баракон и коммуналок. И не его вина, что народонаселение до сих пор в таких клетушках ютится. Дай Бог здоровья дядьке в кепке — может, хоть он москвичей из этих нор вызволит?

— Мам, ты чего меня будишь? — Сонная женщина, худенькая, растрепанная, еще не проснувшаяся толком, вошла было в кухню, на ходу набрасывая халатик на ночную рубашку. Увидела незнакомых мужиков, охнула, выскочила из кухни, крикнув досадливо, смущенно: — Ну что ж ты не предупредила?

Она вернулась через пару минут. Халатик был застегнут на все пуговицы, волосы наспех подобраны.

Лева вскочил и поцеловал руку растерянной, ничего не понимающей Нине. Дима тоже поднялся со своего табурета и учтиво склонил голову. Нина перевела на него взгляд, и глаза ее округлились от удивления.

— Здра-авствуйте, — протянула она. — Надо же! Правду говорят: мир тесен. Москва — город маленький... Я вас знаю, вы в нашем ресторане бываете.

Она улыбнулась. Улыбка у нее была замечательная — открытая, искренняя. Сразу стало лег-

че. Ушла эта дурацкая неловкость, общее напряжение.

— Мы потому вас и выбрали, — усмехнулся Дима, толкнув Леву в бок (мол, дари наконец цветочки). — Я вас выбрал. Первой из списка. Глянул в графу «профессия», смотрю — а вы в моем любимом заведении работаете. Ну, думаю, не иначе как судьба.

— А что за список такой? — спросила Нина, принимая из Левиных рук букет. — Спасибо... Мама, поставь цветы... Что у вас за дело-то ко мне, не пойму?

— Речь идет о деловом соглашении, — вкрадчиво пояснил Лева.

— Да вы садитесь, господа, — перебила его Нина, снова улыбнувшись. — Садитесь, прошу вас.

Лева опустил обратно на свой табурет, а Дима остался стоять, привалился к подоконнику и, скрестив руки на груди, с интересом рассматривал хозяйку. Как она произнесла это свое «господа»! Как это у нее получилось — легко, естественно, просто. Будто всю жизнь она так говорила: «Прошу вас, господа... Садитесь, господа...»

Гены. Генная память, не иначе. А мы, совки, крестьянские дети, хоть и твердим теперь через слово, важничая, упиваясь звучанием этого полубылого, реанимированного обращения «господа», — выходит оно у нас коряво. Фальшиво, натужно, нескладно. Какие мы, к дьяволу, господа! Мы — не господа. Мы — дворовые.

— Речь идет о деловом соглашении, — говорил между тем Лева. — Крайне выгодном для вас, поверьте.

— А что я могу вам предложить? — удивленно спросила Нина.

— Фамилию, — быстро сказал Лева. — Вашу фамилию. Мы хорошо заплатим.

— Зачем вам моя фамилия? — Теперь Нина уже совсем была сбита с толку. — Мама, ты что-нибудь понимаешь?

Та молча, поджав и без того узкие губы, опускала гладиолусы в трехлитровую банку. Диме показалось, что, в отличие от дочери, мать уже догадывается, в чем дело.

В кухню влетел крепенький пацанчик лет пяти, светлоголовый, как его Никита. Вбежал, прижался к материнским коленям.

— Зачем нам ваша фамилия? — переспросил Лева, вытаскивая из кармана куртки несколько пластинок жвачки и вручая их мальчику. — Сейчас объясню. Вы — Шереметева. Отпрыск, так сказать. Потомок аристократической династии...

— Я?! — поразилась Нина, теребя верхнюю пуговицу халата. — Да бог с вами! Какая династия? Вовка, иди в комнату... Иди, иди!

Мальчишка запищал в рот сразу три жвачки и умчался.

— Мы тем Шереметевым никто, — пояснила Нина поскуцневшему Лева. — Мы к ним никакого отношения не имеем. — Голос ее звучал так, словно она оправдывалась. — У меня отец бухгалтером был, а мама — кладовщицей.

И она вопросительно взглянула на мать, как бы ожидая от нее подтверждения своим словам. Мать не спешила отвечать. Взяла тряпку, принялась зачем-то вытирать и без того чистую клеенку на столе.

— Мама, — не выдержала наконец Нина, — что же ты молчишь?

— Бухгалтер-то бухгалтер, — выдавила мать. — Да из этих... Из тех.

— Из каких, мама? Ой, да не верю я... И ты всю жизнь... — Она с трудом подыскивала слова, потрясенно глядя на мать. — И ты всю жизнь молчала?

Дима вжался спиной в стену и машинально потянулся к карману пиджака за сигаретами. Черт, бросил же, позавчера бросил окончательно. Лева — гений интуиции, как он угадал? — кинул Диме пачку сигарет и спросил у хозяйки:

— Здесь курить можно? Вы позволите?

Нина не слышала его. Она была оглушена, подавлена, смята. Она только повторяла без конца, глядя на мать:

— Что же ты молчала, мама? Что же ты молчала?

— Всю жизнь молчала и дальше бы молчала! — крикнула женщина. Она скрестила руки на груди, выпрямилась, гордо вскинула маленькую головку. Лучший способ обороны — нападение. — Зачем тебе было знать-то? Это теперь, вишь, модно стало в родословных своих копаться. Зачем тебе знать было? У меня жизнь переломана, перекалечена, так хоть ты... Я думала, хоть ты поживешь по-человечески.

— Я — по-человечески? — переспросила Нина. — Это я живу по-человечески? А, мама?

Дима смотрел на нее, худенькую, растрепанную, в этом ее ситцевом халатике, и ощутил вдруг внезапный укол острой жалости к ней. Какого дьявола он сюда приперся? Вторгся в чужую жизнь, в чужие тайны, разбередил чужую боль...

Он сунул в карман пачку сигарет, так и не распечатав ее, откашлялся и сказал решительно:

— Вы уж нас, кретинов, простите. — Он хлопнул Леву по плечу. — Пойдем! Простите, бес попутал. Бывает, — повторил он, взглянув на Нину.

Коротко кивнув хозяевам на прощание, Дима подтолкнул растерянного компаньона к дверям.

Они не спали всю ночь. Забравшись с ногами на низенькую продавленную тахту, они говорили, перебивая друг друга, то плача, то успокаиваясь.

Мать достала с антресолей пропахшую нафталином, пропитанную острыми запахами разрушечьих лекарств коробку из-под ботинок «Цебо», развязала тесемочки, скрученные из пожелтевшей марли, и достала из коробки связку старых писем. Лагерных.

Нинин отец... Что она о нем знала раньше, его дочь, родившаяся через полгода после его смерти? Знала, что работал бухгалтером. Что был немолод и нездоров, что она, Нина, поздний ребенок...

— Мама, что же ты ничего о нем не рассказывала? — твердила она теперь, перебирая эти старые письма.

— Но ведь ты и не спрашивала, — оправдывалась мать сквозь слезы.

Все верно. Нина не спрашивала. Потому что был отчим, добрейшая душа. Потому что он любил ее и баловал, и с каждой получки, с каждого аванса (он говорил «аванец», посмеиваясь) он приносил приемной дочке, «кралечке своей», гостинцы — монпансье в круглых жестяных коробках, кукол, которые умели закатывать глаза и пронзительно выговаривать «мама».

Это еще что! Отчим работал киномехаником в «Колизее»! О чем еще мечтать, чего еще желать десятилетней пигалице? Бесплатно, дважды, трижды, а если мать в отъезде, хоть шесть раз в день... Томный красавец Лановой, глаза с пово-

локой; Доронина с платиновой, волосок к волоску, пышно начесанной гривкой; светлоглазый Любшин, бравый разведчик, неотразимый в фашистской амуниции, улыбнется — и сердце ухает вниз... Жерар Филип из «Тюльпана», роскошный Жан Марэ, гоняющийся за Фантомасом... Детство, проведенное в будке киномеханика. Бесплатный рай, счастье на халяву... Нина обожала отчима. И с детским самосохранительным эгоизмом не вспоминала, не думала о покойном отце.

А он был. Он был из Шереметевых, тех самых. Мать рассказывала, сбивчиво, быстро, сквозь слезы. Она столько лет молчала, теперь ей хотелось выговориться.

— Конечно, он скрывал свое происхождение. Он и меня неспроста выбрал, наверное, — вздохнула мать, вытирая слезы. — Я же черная кость, чернее не бывает. Он породистый, я — дворняжка. Может, он надеялся, что рядом со мной его порода не такой заметной будет. Да нет, — возразила она самой себе. — Нет, он любил меня, Нина! Он по-настоящему меня любил...

Первый раз его забрали в тридцать четвертом.

— В тридцать четвертом, — прошептала мать, разглаживая пальцами отцовские письма — плотные листки, испещренные мелкими блеклыми строчками. — В тридцать девятом выпустили, в сороковом снова посадили. За что? Ни за что, за происхождение. Вышел после Двадцатого съезда. Больной, кожа да кости, в чем душа держится... Как мы тебя зачали, ты уж прости за откровенность, до сих пор понять не могу... Бог мне тебя послал, видно. Всю жизнь порознь прожили, весь свой бабий век без ма-

лого я его ждала. Вместе пожить не судьба, так хоть ребеночка, думаю, от него рожу. И он хотел очень... Он мне сказал перед смертью... Я на сносях была... Он меня за руку взял и говорит: «Если девочка будет — пусть в браке фамилию не меняет. Пусть Шереметевой останется». Разве не выполнила?

— Выполнила. — Нина обняла мать за узкие плечи. — Я помню. Помню, как я замуж выходила и как ты настояла на том, чтобы я свою фамилию оставила. Тогда и нужно было рассказать мне обо всем, мама. Тогда, а не теперь. Может, у меня жизнь бы иначе сложилась, мама, узнай я об этом вовремя. Может быть, я подъезды бы не мыла сейчас...

— Ты бы их мыла, — возразила мать твердо. — Ты бы их на двадцать лет раньше стала мыть. Тебе бы твой научный коммунизм читать не дали, уверяю тебя, с такой-то анкетой, с таким происхождением. У тебя за границей родственников полно наверняка. Это теперь их иметь можно. А тогда? Кто бы тебя в ГДР пустил на стажировку? А так ты хоть сервис «Мадонна» оттуда привезла.

— Ладно, мама, — вздохнула Нина. — Сервис «Мадонна»... — прошептала она с горькой усмешкой. — Ладно, хватит. Давай спать ложиться.

Она провела ладонью по отцовским письмам. Шереметева... Она — Шереметева? Графиня? Уму непостижимо. Достала со дна коробки старенький фотоальбом в потертой сафьяновой обложке. Конечно, она и раньше рассматривала те несколько фотографий отца, что хранились в этом альбоме. Теперь Нина взглянула на них по-новому, будто видела впервые.

— Это за год до смерти, — пробормотала мать, глядя из-за Нининого плеча на старенькую

карточку. — Минводы... Мне так его подлечить хотелось...

Нина напряженно вглядывалась в фото. Молодая мать, счастливая, глазастьенькая, в войлочной остроконечной шляпке. Юбка — колоколом, по тогдашней моде. И отец рядом. Он был старше матери лет на десять, а казалось — на двадцать. Узкое лицо с упрямой и жесткой линией рта, острые скулы, умный спокойный взгляд.

— Я на него похожа, — выдохнула Нина.

— На него, — согласилась мать. — На них. На Шереметевых. У тебя кость узкая, пальчики такие длинные, запястья точеные... Не то что у меня, плебейки.

Нина рывком поднялась с тахты и вышла из комнаты.

Постояв в темноте коридора, она попыталась справиться с собой и не разреветься. Шереметева! Графиня. Графиня изменившимся лицом бежит пруду... Да уж, господа. Жизнь почти прожита, и — на тебе. Графиня.

Нет, лучше об этом не думать. Не думать, забыть, выбросить из головы.

Нина вошла в кухню. Шикарные, высокие, темно-красные гладиолусы стояли в стеклянной банке из-под огурцов. Зачем они приходили, эти двое? Зачем им понадобилась ее фамилия?

Не важно, не имеет значения. Забыть. Не вспоминать.

Двадцатое сентября. День рождения Никиты.

Дима был приглашен, разумеется. Бывшая жена позвонила ему еще пятнадцатого:

— Ты придешь? Мы тебя ждем. Будут только свои.

— Ребятишник и старикашник? — уточнил Дима весело.

«Ребятишник» и «старикашник» — это были их давние домашние словечки, обозначавшие два отдельных праздника, два суверенных застолья — детское и взрослое.

— Ну, конечно, — ответила бывшая жена. — Все как всегда. Приходи. Познакомишься с Олегом наконец.

Это был ее теперешний муж. Вообще, она довольно быстро выскочила замуж после развода. По этому поводу Дима испытывал смешанные чувства: ревнивую досаду пусть и разлюбившего, но все же уязвленного собственника и определенное облегчение — она устроила свою жизнь, она не одинока, а посему с него снимается груз вины, с него взятки гладки...

Дима лихорадочно разгреб ворох утренних дел. Съездил на фабрику, затем принял составительницу нового сборника «Кто есть кто», востроглазую, слегка подвядшую эмансипэ, которая ликуяще сообщила, что Дима вот-вот будет включен в список ста самых удачливых бизнесменов России. «Вот-вот — это как? Это что значит?» — спросил Дима. Эмансипэ долго мялась, строила глазки, говорила полунамеками... «Короче, — оборвал ее Дима, подустав. — Сколько стоит это ваше “вот-вот”?» Эмансипэ вспыхнула, но все же начертала несколько цифр на выдранном из ежедневника листочке. «Девушка, — сказал Дима строго. — Я за такие деньги себе еще одну фабрику куплю. И потом, я человек застенчивый. Я не хочу, чтобы пипл знал, что я — самый удачливый. Мне как-то перед пиплом неловко».

Засим явились по Димину душу поставщики, финансовый директор с отчетом, дизайнер, разработавший новую концепцию пластиковых жалюзи... Дима честно выслушивал всех, отвечал на звонки, подписывал сметы... Но думал только об одном — он увидит сына! Они не виделись всего-то месяц, а как он соскучился! Он только сегодня это понял. К черту всех этих баб с их истериками, слезами, обидами, нескончаемым списком претензий. Он им ничего не должен. Он должен только сыну. Есть только сын, Селиверстов он или Пупков — неважно. Только сын, Никита, кровь от крови, плоть от плоти, родная душа, ближе никого нет и не будет.

Дима заказал для него гигантских размеров игрушечную железную дорогу. «Под ретро». Такие вот пестрые, затейливо скроенные вагончики-паровозики кружили по замкнутому кольцу рельс в детских богатых особняках. В начале века. Все это было частью его, Димы, грандиозного проекта. К мебели «под ретро» будут прилагаться ретро-аксессуары. К мебели для детской — набор игрушек, стилизованных под старину...

Дима вез сыну пробный экземпляр. Роскошный эксклюзив, аккуратно упакованный в разноцветные коробки. Даже названия написаны с «ятями». Все продумано до мелочей.

Машина въехала в осенний двор и остановилась.

— Вон они, — сказал шофер, осмотревшись. — Вон Никитка-то... — Он запнулся и добавил, глянув с опаской на помрачневшего Диму: — С новым... папашей.

Дима молча выбрался из машины.

Его сын носился по детской площадке, гонял мяч. Он был не один. С этим самым... С Олегом. С отчимом. Мерзкое слово «отчим»! Какой, к бесу, отчим при живом отце? Дима хмуро прищурился, рассматривая худощавого невысокого мужика, довольно точно принимающего сыновние «пасы». Дима видел его в первый раз. Мужик как мужик. Муж его жены. Отец его сына. Муть собачья!

Олег, как почувствовав, оглянулся. Увидел Диму, покосился на его шикарное авто, отфутболил мяч в глубь двора мощным ударом. Никита бросился за мячом, так и не заметив отца. Олег подошел, протянул руку:

— Дмитрий? Олег. Будем знакомы.

У него была сильная рука. Он смотрел на Диму доброжелательно и спокойно.

— Мы от гостей сбежали. Я и Кит, — пояснил он, оглянувшись на мальчика, все еще бегущего за мячом.

— Кит? — переспросил Дима утрюмо. — Моего сына зовут Никита. Ты давай без этих... без ихтиологии.

— А ему нравится, — возразил Олег, усмехнувшись. — Слушай, — добавил он негромко, — пока он не вернулся... Я вот что хочу сказать... попросить. — Олег взглянул на Диму в упор. — Я тебя прошу как мужик мужика: ты сейчас не приезжай. Ты пойми — у нас только-только что-то получаться стало... А то ведь он на меня полгода волчонком смотрел! — Теперь Олегу явно изменило его олимпийское спокойствие. Он волновался и говорил слишком запальчиво и быстро. — Я только-только... Вроде ключик какой-то к парню подобрал, а это не просто было, зна-

ешь... Я тебя прошу! Если ты сейчас между нами вклинишься...

— Я понял, — оборвал его Дима.

Он перевел взгляд на Никиту. Сын уже гонял мяч в глубине двора. Два пацана, на голову его ниже (Никита был крупный, в отца, и рос, похоже, не по дням, по часам: вон, у новой куртки уже рукава коротковаты), носились рядом, пытаясь отобрать у него мяч.

— Я понял, — повторил Дима.

Он взглянул на Олега. Открытое неглупое лицо. Хороший мужик. А я его ненавижу. За что? За то, что он отбирает у меня сына? Я ведь его сам отдал. Нет, я не отдавал. Я выбрал Лару. Потерял Никиту. И Лару тоже потерял.

Сам виноват. Себя надо клясть, а не этого мужика, честно пытающегося стать отцом моему сыну. Не отчимом — отцом. Имеет право. Абсолютное.

— Будь здоров! — процедил Дима сквозь зубы.

Олег хотел что-то сказать — не нашел нужных слов, взглянул на Диму благодарно, с видимым облегчением.

Дима посмотрел на сына в последний раз. Сел в машину, бросил шоферу коротко:

— Поехали!

— Куда? — отозвался шофер.

— Не знаю, — буркнул Дима. — Куда глаза глядят.

Садово-Спасская, Садово-Кудринская... Дима поглядывал на осенние улицы из окна машины.

Когда-то он любил гулять по Садовому. Когда был студентом, нищим, веселым вечно голодным студентом. Пятнадцать лет назад. Однажды он обошел Садовое от и до. За какое-то там рекордное время, на спор. Гарик Маркин выставил на

кон пять бутылок розового крепкого. Потом они его выжрали вдвоем, все пять бутылок. У Димы ноги гудели от усталости, у Гарика — башка. С перманентного похмела, вестимо.

Вот здесь, наверху, была «Диета», они сидели там, в маленьком замызганном кафетерии, на подоконнике, выдаивали бутылку за бутылкой. Купили сырных палочек на какие-то гроши. Сырные палочки были еще крепче, чем «розовое». Мрамор. Не разгрызешь. Ничего, разгрызали...

Где теперь Гарик? На Земле обетованной. Где эти «Диеты»? Вместо них, вон, за окном, — вывески супермаркетов и ночных клубов. Где розовое крепкое? Кануло в Лету.

Дима, ты старый. Ты стал старым. Ты еще урони скупую стариковскую слезу, предаваясь сладостным воспоминаниям! Никто не виноват в том, что там, тогда, пятнадцать лет назад, тебе было хорошо, а сейчас хреново. То есть как — никто не виноват? Ты и виноват. Ты сам, и никто другой.

— Дмитрий Андреич, — решился охранник Владик. — А как же дорога-то железная? Никите везли — и отдать забыли...

Черт! Дима оглянулся назад, на груду разноцветных коробок. В самом деле, он забыл о подарке.

— Может, вернемся? — предложил шофер.

— Нет, — отрубил Дима.

Он терпеть не мог возвращаться. Не умел возвращаться — ни в главном, ни в мелочах. Возвращаться — последнее дело, дурная примета, заранее проигранная партия. За забытой вещью не возвращайся. К женщине, которую оставил, да пожалел об этом, — не возвращайся. В те края, где было хорошо когда-то, — не возвращайся.

Закон. Единственный закон, который он ни разу не нарушил.

Он нарушил его сейчас, впервые. Решение пришло мгновенно и неожиданно.

— Знаешь, куда вези? Помнишь, где наша графиня обретается? Вчерашняя?

— А как же, — рассмеялся шофер.

— Вот, давай туда, — распорядился Дима. — У нее там паренек бегал... Смешной. Вот мы ему и подарим.

Почему он так решил? Он вспомнил эту женщину, растерянную, невыспавшуюся, вспомнил ее глаза, ее слова, обращенные к матери: «Мама, это правда? Что же ты молчала, мама?»

Это его, Димина, вина. Бесцеремонно, по-хамски вторгся в чужую жизнь. Ну и что? Он перед столькими виноват. Что, у всех просить прощения? Жизни не хватит.

Дима вышел из машины, остановился у подъезда панельной четырехэтажки. Кивнул Владу — тот принялся выгружать из машины пестрые коробки.

— В дом вносить, Дмитрий Андреич? — Охранник уже подошел к подъезду, держа в растопыренных руках груды коробок.

— Подожди, я тебе дверь открою. — Лет сто он не открывал никому дверь, это перед ним, перед Димой, двери распахивали. — Входи, — добавил он, посторонившись. — Квартиру помнишь?

Он вошел вслед за охранником в сумрачный подъезд. И остановился тут же, глядя во все глаза на Нину.

— Здравствуйте, — сказала Нина, выжав половую тряпку. — Вы снова к нам?

Она стояла на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Швабра... Ведра

с мыльной водой... Дима перевел взгляд на ступени лестницы. Влажные ступени матово поблескивали. Надо же! Значит, она еще и лестницы моет, бедняга. Посудомоечной ей мало...

— Вы к нам? — повторила Нина, наматывая тряпку на швабру.

— К вам, к вам. Давай неси наверх коробки. — Дима подтолкнул Владика в спину.

— Это что? — Нина проводила охранника взглядом. — Кому?

— Сыну вашему, — пояснил Дима, все еще стоя внизу и глядя на Нину снизу вверх. — Это ведь сын был? Вчера, на кухне?

— Внук, — парировала она со злым вызовом.

— Ну, зачем вы так? — усмехнулся Дима, медленно поднимаясь по скользким мокрым ступеням. — Я просто уточнил.

— Я знаю, я иногда на все пятьдесят выгляжу. — Она торопливо заправила под косынку выбившуюся прядь. — Когда три ночи подряд без сна.

— Когда три ночи без сна, я тоже на «полтинник» тяну, — хмыкнул Дима. Теперь они стояли рядом возле ведер с водой. — Это железная дорога. Сыну вашему. Как его зовут?

— Вовка.

Нина прятала глаза, стараясь отвернуться от него, отойти подальше, в тень. Взяла швабру, принялась драить лестничную площадку. Только бы он не смотрел на нее, ненакрашенную, усталую, в этой косынке, в этом дурацком комбинезоне спецназовском, на три размера больше, чем нужно, купленном по дешевке у пьяненького отставного вояки.

— Это у вас униформа такая? — спросил Дима, будто прочел ее мысли. — Спецодежда?

— Угу, — откликнулась Нина, драя лестницу с утроенным тщанием. — А вы зачем вчера при-

ходили? Я так и не поняла. Зачем вам моя фамилия?

— Да чушь, глупость, — вздохнул Дима, нетерпеливо поглядывая наверх. Вот и Владик — Ну как? — спросил Дима, дождавшись, пока охранник поравняется с ним. Владик вытянул вверх большой палец и умчался вниз, к машине, за второй партией коробок — Чушь, — повторил Дима. — К фиктивному браку вас склонить пытался. Я, знаете ли, фабрикант некоторым образом... А на фамильном клейме — Пупков. Не звучит! Кикс...

— Кикс? — Нина выпрямилась и снова размотала тряпку.

— Кикс. Фальшивая нота. То ли дело — Шереметев! Музыка сфер...

— Понятно. — Нина прислонила швабру к стене и насмешливо, почти презрительно посмотрела на Диму. — Вон вы чего возжелали...

Этого Дима не ожидал никак — такого вот взгляда, ледяного, презрительного. Еще минуту назад она была замарашкой, отчаянно стыдящейся своей швабры, своей затрапезной хламиды. Теперь — казнит его надменным взором. Графиня! Видали мы таких графинь...

— И сколько это стоит, позвольте полюбопытствовать? — Нина посторонилась, пропуская наверх Владика с его коробками. — Сколько стоит мой титул? Какой тариф? Какие расценки?

— Зря вы так, — нахмурился Дима. — Я же сам говорю: чушь, глупость. Бес попутал.

— И все же? — настаивала Нина.

— Ну, штуку баксов я бы вам... — начал Дима, отступая вниз, к дверям, и проклиная себя за то, что приехал сюда, приволок этот дурацкий

паровоз. Вот уж воистину — никогда не возвращайся!

— Штуку? — перебила его Нина язвительно. — Всего-то?

— Ну, две,

— Не гу-усто, — протянула Нина. — Я смотрю, графини нынче не в цене.

— Ладно. — Дима еле сдерживался. — Я спешу, извините.

Он выскочил из парадного во двор. Походил взад-вперед возле машины, стараясь успокоиться. Какие мы гордые! Какие мы неподкупные! Как мы язвим, как мы бедного Пупкова ядом поливаем! Графиня со шваброй. Вместо салона мадам Шерер посудомоечная да загаженный подъезд... Однако же спеси у нас от этого меньше не становится.

А мы ее умерим, спесь вашу, ваше сиятельство! Дима похлопал себя по карману куртки, подошел к машине, склонился к шоферу:

— Дай закурить.

— Вы же бросили, — вздохнул шофер, доставая сигареты.

Дима с наслаждением затянулся. Он ее «сделает», эту принцессу крови. Он своего добьется. Дурацкий мальчишеский азарт вскипал в нем, перехлестывая через край. Злой азарт, уязвленное самолюбие... Он ее урвет, неподкупную! Он знает цену этой неподкупности. Лара — та тоже поначалу и денег не брала, и подарков не принимала. Корчила из себя бессребреницу негibaемую. Надолго ее хватило? Месяца на три.

Сияющий Владик вышел из подъезда.

— Дмитрий Андреич, пацан в восторге! Едем? — Он открыл перед Димой дверцу.

— А мадам тебе сказала что-нибудь? Ничего не велела передать? — поинтересовался Дима, усаживаясь на заднем сиденье.

— Не. — Владик покачал головой. — Тряпкой по ногам съездила, когда мимо шел.

Дима усмехнулся. Ничего, сударыня, мы еще посмотрим, кто кого, еще посмотрим!

Прошла неделя.

Нина стояла в очереди за арбузами. Накрапывал дождь, совсем уже осенний, холодный. Трое смуглолицых абреков, хозяева арбузной горы, ловко перебрасывали друг другу крутобокие, глянцево поблескивающие темно-зеленые шары.

Очередь росла и росла — абреки продавали свой товар за сущие гроши. Кто-то брал половину — абреки лихо раскалывали арбузы пополам, обнажая алую сочную мякоть с темными метинками семечек.

— Где-то сперли их, наверное, — предположила стоявшая за Ниной тетка в вязаном берете. — Украли у кого-нибудь, теперь продают по дешевке, чтоб краденое сбыть поскорее.

— Ну как вам не стыдно?! — Нина повернулась к ней, не выдержав. — Зачем же вы людей оговариваете? Не знаете ведь ничего, зачем же напраслину возводить?

— Это я-то не знаю? — возмутилась тетка, предвкушая упоительные минуты грядущей свадьбы. — Я все знаю! Мне ли черных не знать?

— Ну хватит, — поморщилась Нина, уже жалея о том, что заварила эту кашу.

Тетка была классической скандалисткой из очереди. Нина изучила этот тип в совершенстве. Бабы за шестьдесят, ненавидящие весь свет, готовые сорваться в любую секунду. Дома у себя поди на цырлах ходят перед своим Петей. Он их по одной щеке, они другую подставляют. А здесь, в уличной очереди, среди чужих, — кру-

тейшие оторвы, остервенело режущие правду-матку.

— ...Куда ни глянь — всюду черные одни, — скрипела тетка за Нининым плечом, — за-полонили город...

— Они, может, и черные, — процедила Нина. — Да мы с вами тоже не слишком белые.

— Нет, вы посмотрите на нее! — ликующе за-вопила тетка. — Нашла кого защищать! Да кто ты такая, чтобы меня учить-то?

Нина молчала, глядя перед собой. Не слушай. Не отвечай. Не заводись. Графиня... Она усмехнулась про себя. Графиня в стареньком плащике, с авоськой в кармане, переминающаяся с ноги на ногу в очереди за арбузами.

Графиня... Лучше б ей, Нине, об этом не знать. Права была мать, что столько лет молчала! Нет горше муки, чем сознавать, что ты была достойна лучшей доли. Что тебе предназначена иная судьба, другая жизнь. И что у тебя эту жизнь украли. Неважно — кто.

Роскошная Диминая машина остановилась совсем рядом, у кромки тротуара. Нина сразу узнала эту машину. Неужели он? Так не бывает. Богатый сумасброд получил отлуп — этого достаточно, чтобы забыть о ней, строптивой дурехе. Забыть раз и навсегда.

Крепкий молодчик выскочил из машины первым. Да, это его охранник. Надо же! А вот и сам. Первым Нининым желанием было выскочить из очереди и пуститься наутек. Глупее не придумаешь. Почти сорокалетняя тетка удирает от дяденьки-миллионера. Фарс!

Дима огляделся и увидел Нину. Охранник раскрыл над ним зонт. Подойдя, Дима сказал, заметно волнуясь:

— Привет, видишь, нашли тебя. Твоя маман дала наводку.

— Мы на «ты» разве? — холодно спросила Нина.

— Ах, извините, ваше сиятельство! — Он шаркался и отвесил шутовской поклон. — Не соблаговолит ли ваше высочество пройти с нами к машине? На пару слов. Для приватной беседы. Мой раб, — Дима кивнул на ухмыляющегося Владика, — понесет за вами ваш шлейф.

— Я за арбузом стою.

Дима оглядел очередь. Очередь тоже рассматривала Диму с нескрываемым интересом. Такие машины редко останавливались здесь, на кривоватой улочке московской рабочей окраины. Такие холеные господа, вальяжные, сопровождаемые громилой-охранником, несчастно ступали по залепленному осенней грязью асфальту московского предместья.

— За арбузом стоишь? — Дима покосился на притихших абрековских продавцов. — Я все покупаю. Владик, подсуетись. Заплати за все и поставь графине на дом.

— В чем дело? — загудела очередь возмущенно. — Мы стояли...

— Господа, пусть каждый выберет себе по арбузу! — крикнул Дима весело. — Фирма платит!

Господа мгновенно ринулись к арбузной горе. Великое слово «халява», сладостное для уха всякого истинного россиянина, звучало как руководство к действию.

— Куда вы меня ведете? — бормотала Нина, пока Дима тащил ее к машине. — Я никуда с вами не поеду! Зачем мне столько арбузов?

— Варенье сварить. — Дима упорно продолжал говорить ей «ты». — Владик! — Он оглянулся на охранника. — Купи ей заодно сахару с полпуда.

Еще через пару минут Нина сидела на просторном заднем сиденье Диминого авто. За окошком мелькнул алый неоновый двузубец метро. Машина миновала череду узких сумрачных улочек — вечно здесь не горел ни один фонарь, не светила ни одна вывеска.

— Куда мы едем? — спросила Нина.

Дима, сидевший рядом с шофером, повернулся к ней и улыбнулся — широко, по-голливудски. Ему шла улыбка. Впрочем, кому она не идет? «Ну, вот тебе, например», — мысленно возразила себе Нина. Вспомнила, как муж Костя сказал ей когда-то: «Ты улыбаешься — будто извиняешься перед кем-то неизвестно за что. Сиротская у тебя улыбка, как у вокзальной нищенки. Так и хочется тебе сразу копеечку подать...»

— Ну?! Так куда мы едем? — Нина повысила голос.

— Сейчас увидишь! — И Дима подмигнул ей заговорщически.

Он сиял, как ребенок в предвкушении праздника. В нем вообще было что-то детское, подумалось ей, мальчишеское. Веселый азарт, хулиганская удаль дворового пацана плохо вязались с его роскошной машиной, шофером, охранником, всеми этими прибабасами удачливого «нового».

— Так ты замуж за меня пойдешь или нет? — спросил Дима деловито.

— Вы же сами сказали, что это была шутка.

— Шутка? — деланно изумился Дима. — Я сказал? Когда? Быть этого не может! Я, мон ами, серьезен как никогда. Предлагаю вам руку и сердце!

— Я замужем.

— Э-э, нет, сударыня, официально вы в разводе, я узнавал, поверьте.

Он смеялся, разглядывая ее с беззастенчивым насмешливым интересом. Вот пристал! Прет, как танк. Как новый русский танк. Так они и уютжат этот бедный город, эту страну, все на своем пути сметая... Захватчики. Победители. Хозяева жизни.

— Приехали, — сказал шофер.

Дима вышел из машины, открыл заднюю дверцу и протянул Нине руку. Надо же! Галантный, когда захочет... Нина оперлась рукой о его ладонь и выбралась из машины.

Они стояли на тихой московской улочке. Уже совсем стемнело, дождь накрапывал едва-едва. Рядом, за чугунной витой оградой, белел старинный двухэтажный особняк.

— Ну? — спросила Нина. — Зачем вы меня сюда привезли?

— Это твой дом, — ответил Дима, выдержав паузу.

Нина взглянула на него непонимающе.

— Дом твоих предков, — уточнил он. — Семейное гнездо. Единственное из сохранившихся. Еще на Ордынке были два дома и в Лефортово — те не уцелели.

Нина завороченно смотрела на особняк, не двигаясь с места. Тогда Дима взял ее за руку, повел за собой по узкой асфальтовой дорожке, усыпанной листвой.

Нина послушно шла за ним. Ее дом! Дом ее предков... Может быть, ее просто разыгрывают? Почему она должна верить на слово этому странноватому парню? Она попыталась высвободить руку — нет, Дима держал ее крепко.

— Здесь теперь нарсуд. — Дима кивнул на табличку. — Входи. — Он открыл дверь, пропуская ее вперед.

В этот поздний час здесь было совсем пусто. Нина огляделась. Вестибюль погружен в полумрак. Вахтер позевывает за своей загородкой.

— Вы куда? — спросил он, подавив зевок. — Ушли уже все. Завтра приходите.

— На. — Дима достал из бумажника stodолларовую купюру. — Мы тут побродим с полчасика.

Вахтер, обалдев от столь обильной мзды, накрыл купюру ладонью, растерянно пробормотав:

— Я тут охраняю все ж таки...

— Вот и охраняй, — кивнул Дима. — Нас. — Он наклонился к Нине и прошептал: — А раньше тут у вас дворецкий стоял, в ливрее, с бакенбардами... Кланялся... «Как прикажете доложить-с?» А, Нин? Благолепие?

Нина посмотрела на него: он светился от счастья, упиваясь произведенным эффектом.

По широкой мраморной лестнице с перильцами они начали подниматься наверх. Нина шла медленно, озираясь по сторонам. По этой лестнице когда-то поднималась ее прабабка. Не факт, разумеется, но... Но можно пофантазировать. Можно представить себе юную даму, возвращающуюся, скажем, с утренней прогулки. Манто, муфта, шляпка...

Ее прабабка. Ее лестница, ее дом... Нина подошла к огромному потускневшему зеркалу.

— Ну-ка, стой! — Дима остановился. — Повернись в профиль!

Нина послушно повернулась. Дима посмотрел на ее отражение в старинном зеркале.

— А в тебе порода угадывается, — сказал он наконец. — Лоб... И нос у тебя такой... породистый, тонкий. Переносица узенькая...

— Переносица как переносица.

— И глаза... Как у незнакомки... Ну, этой... Крамского.

— Много ты понимаешь. — Нина не заметила, что тоже сказала ему «ты». — У Крамского... Может, ему кухарка какая-нибудь позировала. Модистка. Курсистка.

Она осторожно дотронулась до зеркала и провела пальцами по его темной мутноватой глади. На пальцах осталась пыль.

— Что же они не протирают совсем? — вздохнула Нина сокрушенно.

Ее зеркало. Ее дом. Высокий сводчатый потолок, облупившаяся лепнина... Семейное гнездо.

— Во что они его превратили... Здесь же ремонт нужен...

— Хозя-айка! — хохотнул Дима. — Хозяйка объявилась! Ну, ладно. Пойдем, я тебе зал заседаний покажу. — Он потянул Нину наверх. — Там твои родичи поди балы закатывали...

— Не хочу. — Нина покачала головой.

— Почему?

Она пожала плечами. Внезапно — с чего бы это? — к горлу подкатил комок. Она отвернулась от Димы, пытаясь справиться с собой.

Зачем он привел ее сюда? Устроил себе спектакль, бесплатный аттракцион: графиня-люмпенша у стен семейного замка...

Зачем ей знать, ей, всю жизнь мыкавшейся по углам, ей, обитательнице двухкомнатной «хрущобы», зачем ей знать о том, что эти хоромы могли бы принадлежать ей?

— Хочешь, я тебе его куплю?

Нина взглянула на него непонимающе.

— Хочешь, куплю тебе этот дом? — повторил Дима, осклабясь.

Нина смотрела на него с растущей неприязнью: самодовольный сумасброд, хозяин жиз-

ни. Все может купить. Во всяком случае, уверен в этом.

— Все можешь купить, да? — спросила она вслух.

— Почти, — усмехнулся Дима, пожав плечами.

— А не купишь, так отберешь, — подхватила Нина, заводясь. — Хозяин жизни... Такие, как ты, у нас этот дом и отобрали. У нас, у Шереметевых.

— Что ты несешь? — Дима даже опешил от неожиданности. Он ждал от нее чего угодно: ностальгических слез, благодарных ахов и охов, только не выпада, не этой словесной атаки. — Что ты несешь, опомнись! Что я у тебя отобрал?

— Не ты, так дед твой! — Нина рванула с места и помчалась по лестнице вниз, крича на бегу: — Не дед, так прадед!

— Мой прадед скобяную лавку в Киеве держал! — Дима едва поспевал за ней. — Ты моего прадеда не трогай! Он керосином большевикам в рожи плеснул, когда они по его душу притопали!

— Лавочник! — Нина повернулась к нему. — Потомственный лавочник!

Та-ак... Вот это удар! Вот это оплеуха! За что, спрашивается? Дима задохнулся от злости. За что? За то, что Левка три дня скакал по московским архивам, перерыл сто толстенных талмудов, отыскивая этот адрес? За то, что он, Дима, отменил сегодня три встречи и два совещания, чтобы сюда ее привезти?

— Я лавочник, допустим. — Он кивнул, едва сдерживаясь. — Я лавочник Третье сословие. Куда мне, убогому, со свиным-то рылом? Зато ты у нас — принцесса крови. Отобрали у нее ее владения проклятые коммунисты! А кто у нас, про-

стите, научным коммунизмом бедным детям котелки забивал?

Вахтер наблюдал за странной парочкой с испуганным любопытством. Несколько раз тянул было клешню к телефону звонить ментам, но всякий раз передумывал. Боялся, что менты реквизируют у него сто вождеденных баксов.

— Кто у нас диссертацию защищал? — орал между тем Дима, наступая на Нину и тесня ее к дверям. — «Труды К.У.Черненко как этап в постижении марксистско-ленинской науки». Я?! И нечего тут Раневскую из себя корчить! «Ах, сад мой! Бедный сад мой!»

— Значит, так, — отчеканила Нина, открывая дверь. — Ты мне больше на глаза не попадайся. Ты кто у нас? Пупков? Вот Пупковым и померешь.

И она выскочила из особняка, с силой хлопнув дверью.

Арбузы лежали на полу, на столах, на подоконниках. Арбузное царство. Что-то вроде импровизированной бахчи, втиснутой в стены московской малогабаритки.

Бедные Нинины домочадцы, сбившись в кучку, сидели на кухне и пришибленно глядели на только что вошедшую Нину. Бедные! Бедная мать, бедный муж Костя, которого известие о Диминых матримониальных планах повергло сначала в ярость («Щас пойду ему морду набью! У-у, нечисть, пиджаки малиновые, совсем облагели!»), потом — в истерическое веселье («Нинок, так ты у нас графиня? Этим надо воспользоваться! Ты пошли запрос в свой верховный орган, черкни в Дворянское собрание! Может, тебе какая-нибудь троюродная тетка из Монако свою недвижимость завещала...»).

Теперь Костя, похоже, впал в уныние. Тень смутной тревоги омрачала его чело. Он сидел на табурете, ссутулясь, скрестив руки на чахлой груди, и смотрел исподлобья на жену.

— Ты где была? — спросил он наконец утрюмо.

Нина молчала, продвигаясь по кухне, как по заминированному полю, лавируя между арбузами.

— Что с ними делать-то, Нин? — спросила мать осторожно, ткнув зятя в бок острым локотком — мол, не лезь со своими расспросами, не время.

— Варенье сварим, — буркнула Нина.

Она взяла нож и принялась неловко, торопливо разделявать арбуз. Охнула, отбросив нож в сторону.

— Мама, дай йоду, — попросила она, морщась от боли. — Палец порезала.

— Кровь течет? — поинтересовался Костя с подначкой. — Голубая поди?

Нина не успела ему ответить — хлопнула входная дверь. В кухню ввалилась Ирка, старшее Нинино чадо, девица осьмнадцать лет.

Ирка швырнула свою огромную парусиновую сумку прямо на арбузы, даже не взглянув на них и не удивившись, прислонилась спиной к дверному косяку и завывала в голос. Она выла, причитая сквозь стоны и всхлипы. Так воют деревенские бабы, провожая на сельское кладбище мужа-кормильца. Наверное, тут сработал генетический код: Ирка была разительно не похожа на мать. Ширококостная, приземистая, белобрысенькая, с простоватым веснушчатым личиком, с носиком «уточкой» и утиной же походкой — вразвалочку, носки внутрь, — Ирка была в свою крестьянскую посадскую родню — в отцову мать, в отцову бабу.

— Не вой, — оборвала ее Нина, перебинтовывая пораненный палец. — Что случилось, говори толком.

— Две куртки укра-а-али, — простонала Ирка, размазывая слезы по лицу. — Ой, мама, что будет, из чего я буду отдавать? Это ж «лимон» с лишним, ма-ама!

Нина охнула. Беда к беде... Ей этот дикий счет телефонный оплатить нечем, а здесь — «лимон»! Что делать? Занять не у кого, перезаложить-заложить — нечего... Что, милостыню идти просить по вагонам? Она бы пошла, да только много ли с этого выручишь.

— Главное — знаю, кто, — всхлипывала Ирка. — Веры черненькой хахаль, Толян этот, скот, ворю-уга...

— Ты точно знаешь? — быстро спросила Нина. Хорошо, что она не успела раздеться. Метнувшись к дверям, она крикнула на ходу: — Это какой Толян? У которого полка соседняя? У которого — кожа?

— Куда? — заорал Костя ей вслед. — Чего ты добьешься-то? Не пойман — не вор!

Но Нина уже сбегала вниз по лестнице.

Стоя на задней площадке троллейбуса, она тяжело дышала. Сердце колотилось. Сердце — ни к черту, раньше стометровку могла отмахать, и хоть бы хны, теперь добежала до остановки — и еле жива.

Укатали Сивку крутые горки. Заездила вас жизнь, графиня, измордовала, в старуху превратила до срока.

Ничего, мы еще поборемся!

Нина рванула на себя дверь, вбежала в гигантский ангар крытого вещевого рынка.

Все здесь было ей ненавистно. Блошиное торжище, забитое дешевым шмотьем, Мекка для бед-

ных, уцененка, третий сорт. Ничего не поделаешь — здесь работала ее Ирка, непутевая Ирка, здесь ее обворовывали вечно, тетеху. Ирка была коммерсантка та еще — в папочку своего. Не у нее украдут — так она сама себя обворует, пугаясь в подсчетах, лихорадочно вспоминая, сколько будет шестью шесть, решая в конце концов, что шестью шесть — двадцать восемь.

Толян... Соседняя полка... Кожа... Нина пробилась сквозь толпу, бесцеремонно расталкивая идущих ей навстречу. Она спешила, боясь, как бы не угас тот всполох звериной ненависти, который она несла в себе. Толян... Она знала этого Толяна, хамоватого приبلатненного фраерка, торговавшего здесь турецкой кожей.

Нина протиснулась к его полке, перегнулась через нее и вцепилась Толяну в руку.

— Ты че? — завизжал Толян. — Пусти! Пусти, ты!

И он выругался, пытаясь отшвырнуть Нину от себя.

— Отдай куртки, мразь! — прошипела Нина, тряся его за плечи. — Ты украл! Я знаю!

— Че ты лепишь? Пусти, больная! — хрипел Толян, стараясь высвободиться.

Но Нина вцепилась в него намертво. Отчаяние и ярость удесятирили ее невеликие силы, она трясла Толяна, повторяя упрямо и зло:

— Отдай куртки! Куртки отдай, гад!

Толян изловчился и отшвырнул ее от себя. Нина отлетела к соседней стойке, больно ударившись спиной о железный барьерчик, задев локтем сапоги и туфли, выставленные на прилавке.

— Толян, я милицию зову! — завопил владелец разномастной обуви, сгребая ее в кучу. — Чего не поделили-то?.. Звать?

— Зови, зови, — прохрипела Нина. — Ворье учить надо!

И она снова налетела на Толяна. Плащ съехал набок, верхняя пуговица выдрана «с мясом», волосы упали на глаза...

— Отдай куртки, скот! — сипела Нина, не помня себя от злости. — Отдай!

— Пусти, отдам, — выдавил взмокший, побагровевший Толян. — Заткнись только.

Нина отпустила его и перевела дыхание. Чего она никак не ожидала — так это быстрой и безусловной победы. Если бы она могла видеть себя со стороны! Если бы она видела свое белое, бескровное лицо и глаза с расширенными зрачками, глаза, потемневшие от ярости! Такая — убьет, с такой лучше не связываться.

— На, забирай! — процедил Толян, выбросив на прилавок две кожаных куртки. — Я ее проучить хотел. Я бы ей отдал их завтра. Учил ее, дуру, чтоб за товаром смотрела.

Нина сгребла куртки в охапку, повернулась и пошла прочь, ни на кого не глядя, измученная, растрепанная, еле живая.

Кто-то положил ей сзади руку на плечо. Нина резко обернулась. Совершеннейший урка. Бандитская рожа, глазенки-буравчики, затапливая накладка на волосатой короткопалой лапе.

— Ну ты вжа-арила! — Уркаган оскалил пасть в широкой золотокоронной ухмылке. — Мы отрубались с братвой, в натуре. Балдели от тебя!

— Что вам нужно? — пробормотала Нина, пятясь и прижимая куртки к груди. — Я вас не знаю!

— Так пойдем, познакомимся! — заржал уркаган, не снимая лапы с ее плеча. — Потолкуем. Нам такие люди нужны. Внакладе не будешь.

— Вы что, спятили? — Нина сбросила его ладонь со своего плеча. — В каком накладе?! Что, на разборки, что ли, с вами ходить?

И она нервно рассмеялась.

— Не, ну чисто тебе по дружбе говорю, — не отставал уркаган. — Ты ж бешеная! Лютая! Овчарка! Нам такие...

— Идите вы! — огрызнулась Нина.

И быстро пошла вперед по проходу между лотками, продолжая нервно посмеиваться и не замечая, как слезы текут по щекам...

«Овчарка»! Будешь тут овчаркой. Тут и заवेशь, и залаешь, и в горло вам, сволочам, вцепишься... Овчарка! Бешеная! Эти тоже купить готовы. Один покупает за то, что «графиня», другой — за то, что «овчарка». И никому нет дела до нее самой. До нее, Нины, перекрученной жизнью, едва живой... Никому до тебя нет дела, графиня Шереметева.

Дима взглянул на часы: без десяти три. В половине третьего у Никиты заканчиваются занятия. Значит, вот-вот должен появиться. Скорее всего, Никиту забирает из школы жена.

Если так — то он, Дима, выйдет из машины... Ну, и... Дальше — по обстановке. Подбросит их до дому, например. Если жена позволит, можно совершить набег на ближайший «Макдоналдс». Главное — увидеть сына. Поговорить с ним, обнять, прижать к себе.

Эк тебя развезло! Дима невесело усмехнулся. Сантименты... Стареешь, мебельщик! Превращаешься понемногу в сентиментальную слезливую размазню. Не рано ли?

Он снова покосился на циферблат. Без пяти. Перевел взгляд на двери школы. Школа была ши-

карная, едва ли не самая престижная из частных: верховая езда, теннисные корты, подводное плавание... Лето — в Англии, у директрисы — диплом Кембриджа... Диме стоило немалых трудов устроить сюда Никиту. Еще бы! «Випы» в очередь стояли, дабы определить своих чад в сей заповедник.

К стоянке то и дело подъезжали машины. «Мерсы», «Линкольны», «Фольксвагены», «Саабы»... «Новорусские» мамы, а также их бонны-гувернантки-гувернеры прибывали за детками. Дима с насмешливым интересом рассматривал дам, вылезавших из своих машин.

Вот процокала мимо, проковыляла на высоченных «шпильках» классическая жена «пиджака». Как ни старается мадам выглядеть добропорядочной матроной, сразу видно: из валютных шлюх-с. «Пиджак» отыскал ее на Тверской, не иначе. Походочка выдает, ротик полуоткрытый, бедра виляющие, макияж «ночной бабочки», этот специфический мутновато-сонный взгляд. Каинова мета, невыгравляемая.

А вот еще одна «новорусская» женушка. Совсем другой коленкор. Рязань-матушка. Не Рязань — так Великий Устюг. Коренастая тетка в теле, цацек на ней понавешано на дюжину штук «зеленых», дорогое кашемировое пончо сидит, как на корове седло... Оседлал ее где-нибудь в этом самом Устюге славный местный парубок лет десять назад. Потом глядь — в люди выбился. Продавал пивко-водочку — оп! — и преуспел. Из Устюга — в белокаменную. И она вместе с ним, а как же? Вот вам и путь в высшее общество.

Дама в пончо, сама того не ведая, тут же подтвердила Димины догадки, обрушив на своего шофера гневную тираду, обильно одобренную

матерком... «Окала» она при этом нещадно. ВО-лОгОдчина, вестимо.

Три часа. В чем, черт подери, дело? Дима открыл дверцу машины, бросил охраннику:

— Сиди. Я один.

Через пару минут он уже поднимался по школьной лестнице, помахав рукой местной охране. Те улыбались ему приветственно. Диму здесь знали отлично — он отмерял щедрой рукой на школьные нужды немалые суммы.

— Дмитрий Андреевич, здрасте! — Хорошенькая молодая училка бежала ему навстречу, стремительно спускаясь по лестнице. — А я к вам... Я вашу машину в окно увидела. У нас катастрофа! — сказала она горестно. — Вы в курсе? Он его забирает от нас.

— Кто? — спросил Дима, оторопев. — Куда?

— Никитин отчим. Пойдемте. — Училка вцепилась в Димин рукав. — Он здесь... Селиверстов, кажется? Он забирает Никитины документы.

Дима вырвал руку из ее пальцев и метнулся вверх по лестнице. Кровь ударила ему в голову, он ощутил прилив слепого, мутного бешенства.

Дима бежал по коридору, поглядывая на таблички. Что он себе позволяет, этот мозгляк?! Кто он такой?! Это его сын, его, Димин! Это Дима будет решать, где Никите учиться! Где, с кем и чему!

Дима распахнул дверь в кабинет директорши. Отдышался и хрипло приказал Олегу, подписывающему какие-то бумажки:

— Выйди!

Олег настороженно и неприязненно посмотрел на Диму.

— Выйди! — заорал Дима.

Олег извинился перед испуганной директоршей, вышел в коридор и прикрыл дверь поплотнее.

— Что за дела? — с ненавистью процедил Дима. — Ты чего себе позволяешь? Он здесь учился и будет учиться, понял?

— Нет, — спокойно и твердо возразил Олег. — Он здесь учиться не будет. Он пойдет в нормальную школу. В районную.

— Нормальную? — зарычал Дима. — А эта что, не нормальная? Ты знаешь, сколько я сюда «зелени» вбухал? Да не в этом дело, в конце концов.

— Вот именно, — кивнул Олег. — Не в этом. Я тут насмотрелся, знаешь... На этих маменек-папенек. На их деток раскормленных, наглых. Все с гнильцой уже.

— Ты не обобщай!

— Короче, я парня отсюда забираю, — отрезал Олег. — Пока не поздно.

— Это мне решать! — крикнул Дима. — Мне, не тебе!

Директриса приоткрыла дверь и просительным зашептала:

— Господа, спокойнее! Спокойнее, я вас умоляю... Уроки идут.

Дима молча втолкнул ее обратно в кабинет, захлопнул дверь, прижал Олега к стене и повторил, ткнув его в грудь пальцем:

— Это мне решать, понял? Мне и Никите.

— А он уже решил. — Олег был на зависть спокоен, уверенный в своей правоте. — Никита решил. Все его корешки дворовые — в районной школе, в новом классе. Отличные пацаны, не чета этим... наследничкам. Я тут видел... — Олег хохотнул, вспомнив. — Ползет такой шкет, лет восемь, за ним — два лба под три метра, охрана.

— Никита решил? — перебил его Дима обескураженно. — Сам? — Он отпустил Олега и спросил, все еще не веря: — Сам? Не врешь?

— Я, Пупков, врать не умею, — усмехнулся Олег.

Пупков! Упоминание собственной фамилии в этом контексте почему-то особенно Диму резануло. Да-а, если Никита решил сам... Чем он его приворожил, как он его приручил, Диминого наследника Тутти, вздорного, капризного, взбалмошного? Чертов очкарик, инженеришка зачуханный... С каким бы наслаждением Дима сейчас ему врезал!

— Никита рад-радехонек, что отсюда уходит, — сказал Олег миролюбиво. — И Надя рада.

Надя. Жена. Бывшая жена. Надя рада. Прекрасно. Семейная идиллия. Совет да любовь!

— Я пошел, — процедил Дима.

— С Надей будешь говорить — ни слова о нашей разборке! — крикнул Олег ему в спину. — Она все это близко к сердцу принимает, — добавил он, понизив голос, — переживает очень.

Дима замедлил шаг и оглянулся. Заботливый! Отец семейства. Отец Диминого семейства. Где она, Надька, нашла такого — образцово-показательного?

— Уговор? — спросил Олег.

Дима отвернулся и молча пошел прочь. Отнял и жену, и сына, еще условия ставит... Да не отнял — ты сам отдал! Ладно, хватит, дело сделано.

Училка стояла у лестницы, глядела на Диму влюбленно и сострадательно, держа наготове стаканчик с водой и коробочку с таблетками.

— Съешьте и запейте, — прошептала она, протягивая стакан. — Это успокоительное.

— Я спокоен, — рывкнул Дима и, сбежав вниз по ступеням, добавил негромко: — Мне бы чего покрепче — не отказался бы!

Нагнувшись над раковиной, Нина гремела тарелками. Товарки молчали. Они мыли тарелки остервенело, швыряли чистые ложки на огромный дуршлаг, вытирали пот с распаренных лиц натруженными дланями, затянутыми в резиновые перчатки.

И перчатки, и фартуки были у всех одного цвета — изумрудно-зеленого. Жорина придумка: хозяин заведения вычитал где-то, что зеленый цвет умиротворяет, положительно действуя на психику. Вместо того чтобы повысить посудомойкам зарплату, хитроумный Жора обрядил их в фартуки пейзажно-пасторальных тонов и уверил самого себя в том, что проблема решена. Теперь они успокоятся, перестанут грызться между собой и оставят в покое своего работодателя.

Нина стянула с руки зеленую перчатку (ни фига он не умиротворяет, этот ядовито-зеленый, — раздражает только) и завернула кран с горячей водой.

— Нин, это тебе.

Нина оглянулась. Официантка Рая, в просторечии именуемая Патиссон (за какую-то диковинную волнистую форму губ; злые языки утверждали, что Рая вживляла в них силикон, да перестаралась), стояла за Нининой спиной, держа в руке салатницу.

— На, это тебе, — повторила Рая-Патиссон растерянно. — Вот, читай. Это он из тюбика с горчицей выдавливал.

Нина вытерла руки полотенцем и осторожно приняла салатницу из Раиных рук. Поверх нетронутой крабовой горки возлежали горчицей выдавленная двойка и три кривоватых нуля.

— Вот тут еще, сбоку, смотри, — прошептала Патиссон, указывая на горчичный дол-

лар, распластавшийся у подножия крабового холма.

Нина хмыкнула, не удержавшись, и покосилась на товарок — те, забыв о тарелках и ложках, жадно наблюдали за происходящим.

— Две тысячи баксов! — Патиссон потрясенно взирала на Нину. — Он велел тебе салатницу передать.

— Это я уже слышала. — Вид у Нины был совершенно невозмутимый.

— Он там, в зале, сидит. Такой... Блондин, лет тридцать пять. Часто у нас бывает.

— Понятно, — кивнула Нина. Она отвинтила крышку у тюбика с моющей пастой и, выдавливая пасту в салатницу, изобразила нечто невразумительное поверх двойки и нулей.

— Это чего? — поинтересовалась Патиссон, наблюдая за Ниниными действиями с живейшим интересом.

— Это кукиш, — объяснила Нина, возвращая салатницу официантке. — Поставишь ему на стол. Только давай без комментариев.

— Какие уж тут комментарии, — хихикнула Патиссон, беря в руки салатницу с величайшей осторожностью, дабы не нарушить композицию. — И так все ясно.

Патиссон вышла из посудомоечной, и Нина взглянула на товарок. Те взирали на нее молча, хотя всех четверых распирало от любопытства. Мужественные женщины! Ни слова, ни звука. Побороли искушение, повернулись к мойкам.

Нина вымыла тарелку, еще одну... Нет, она должна ЭТО видеть!

Она закрутила кран, вышла из посудомоечной и, подойдя к дверям зала, встала так, чтобы Дима, сидевший за столиком у окна, не смог

ее заметить. Стыдно признаться, но Нина хотела увидеть выражение его лица в тот момент, когда перед ним поставят салатницу. Бабство, конечно. Фи, ваше сиятельство! Стоите, прячась за шторку, воровато подглядываете за соискателем руки и сердца. Если бы — сердца! Ему твой титул нужен, не ты. А если бы он не титула твоего добивался, а тебя самой? Что тогда? Что бы это изменило?

Патиссон задерживалась. Застряла на кухне, должно быть. Дима заметно нервничал, методично постукивая вилкой по скатерти и поглядывая на дверь.

Только теперь Нина рассмотрела его толком. Раньше она не на него смотрела — сквозь него. Раньше он был ей неинтересен. Классический «новый русский» со своей дурацкой блажью. Но этот «новый», похоже, умел добиваться своего. Упертый. Редкое качество по нынешним временам. Для теперешнего мужика редкое, реликтовое просто.

А теперь Нина с удивлением отметила, что он весьма собой недурен, между прочим. Не смазлив, слава Богу, она терпеть не могла кобелиное племя сладкоречивых масляно-оких красавчиков. Дима был не из таковых. Глаза усталые, сумрачные. Очень хорошее лицо, неглупое, волевое. И очень славянское. Без примесей, без азиатчины, что тоже редкость. Без этого нашего исконного «поскреби русского — отыщешь татарина». Нет, тут мордва не ночевала. Димины прабабки в половецком плену не жили. Русые волосы, светлые глаза, нос чуть-чуть привздернутый, подбородок тяжеловатый...

А вот и Патиссон. Нина затаила дыхание.

Патиссон неспешно обслужила притомившихся клиентов. К Диме она явно не торопи-

лась — выстраивала интригу, зараза. Ловила свой кайф.

Наконец Патиссон сняла с опустевшего подноса Нинину салатницу... Дима напрягся, отбросил вилку в сторону, не спуская с идущей к нему официантки немигающих глаз.

Вот Патиссон поставила салатницу перед Димой. Что-то сказала ему, растянув в улыбке свои силиконовые губы. Дима осмотрел содержимое салатницы, помрачнел и как-то весь подобрался. Потом резко встал из-за стола, бросив на скатерть несколько купюр.

Он двинулся к выходу — угрюмый, чернее тучи. Теперь Нина видела только его удаляющуюся спину — прямую, широкую, с хорошо развернутыми плечами.

Дима ногой толкнул дверь и вышел. Все. Больше он сюда не сунется. После такой-то оплеухи — вряд ли.

— Стоишь? — окликнула Нину Рая-Патиссон. — Подсматриваешь? Дура ты, дура... — Патиссон сгребла со столика пустые подносы. — Такой мужик к тебе подъезжает, а ты!.. Че ты его динамишь-то, я тебя не пойму? Раз послала — думаешь, он по новой придет? Не надейся. На черта ты ему сдалась, ты посмотри на себя, посмотри!

Патиссон протерла полотенчиком поднос, норовисто эдак, в сердцах, и поднесла к Нинину лицу — гляди на себя, любуйся!

Нина хмуро взглянула на свое отражение.

— То-то, — произнесла Патиссон наставительно. — Уже под сорок, а гонору — как у топ-модели. Мы с тобой, Нинок, не топ-модель. Мы — стоп-модель. Приехали. Конечная остановка. Вагон идет в депо.

Дима вышел из ресторана. Охранник открыл перед ним дверцу машины. Дима казался невозмутимым, но охранник-то знал, нутром чуял: хозяин — в бешенстве. Такое с ним случалось нечасто. Охранник переглянулся с шофером и сел рядом с ним.

Дима молчал, молчали и его служивые, не решаясь спросить, куда теперь ехать и ехать ли куда-нибудь вообще. Тишину нарушал развязный тенорок ди-джея радио «Максимум», привычно убалтывающего ночную паству.

— Заткни его! — рявкнул Дима.

Владик вздрогнул.

— Ты чего нервный такой? — усмехнулся Дима. — Пугливый стал! Тоже мне, трепетная лань. Смотри — уволю!

Владик нахохлился, но смолчал, только вырубил радио.

Дима откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Плохо она его знает... Если захлопнуть дверь перед Диминым носом, он в эту дверь стучать не будет. Он ее вышибет ударом плеча. Благо, силушки не занимать.

И силы, и упорства, и упрямства. Мы — Пупковы, ваша светлость. Народец крепкий, хваткий, необидчивый. Коли чего захотим — добудем. Не нахрапом, силой — так смекалкой да хитростью. Если дверь не выломаем — значит, с черного хода зайдем. Врасплох застанем, когда вы нас и не ждали.

Дима нашарил мобильный телефон и набрал нужный номер.

— Лева! — сказал он властно. — Ты мне к завтрашнему утру справочку сооруди. Разузнай-ка про родственников нашей графини... Всю подноготную. Как? Это твое дело — как Ты у нас сме-

калистый. Муженек, дочь, маман... Где служат, какие там у кого проблемки-заморочки... Понял? Действуй.

Был дивный осенний день — безветренный, солнечный.

Костя неспешно шел московским бульваром, подставляя лицо осеннему ласковому солнышку. Кленовые листья шуршали под ногами, прошумел промчавшийся мимо трамвай.

Костя покосился на трамвай и беззвучно выругался. Благостного настроения как не бывало. Любезная сердцу всякого москвича, бессмертная хозяйка Бульварного кольца, юркая белка в его колесе, краснобокая «Аннушка» была теперь разрисована рекламой памперсов.

Костя воспринял этот факт как личное оскорбление. Ни в чем не знают меры, сукины дети! Ладно бы, лепили «Аннушке» на бока рекламу какого-нибудь безобидного «вимбильдана» или добропорядочно-нейтрального «Кодака»! Нет, они уже до памперсов добрались, нечестивцы! Так и до «тампаксов» — рукой подать... Костя представил себе страдалицу «Аннушку», оскверненную рекламой дамских прокладок, и снова чертыхнулся в сердцах.

И тут же пристыдил себя. Он шел в церковь, спешил к обедне. Церковь была уже совсем рядом, она стояла у изножия бульвара, а он, Костя, примерный прихожанин, истовый в вере, усердный в молитве, осмелился богохульствовать, поминая чертей в полушаге от храма!

Костя перекрестился трижды, отгоняя от себя тень искушителя. Войдя в ворота, он щедро одарил милостыней юродивых. Деньги на подавание ему регулярно выдавала жена. На пода-

яние и на карманные расходы. Костя обычно шутил, принимая из Нининых рук ежедневную мзду: «Так... Это — милостыня юродивым... А это — милостыня мне. Поделим по-братски!»

Он давно свыкся с положением приживалы в собственной семье, с незавидной ролью на хлебника при жене-кормилице. Разумеется, смутные угрызения совести посещали его изредка, но Костя гнал их взащей, твердя мысленно: «Я попробовал работать. Я сделал все, что мог. Не вышло. С меня взятки гладки».

Эта скотская новая жизнь напоминала ему огромный шумный людный рынок Вселенское торжище. Все поделились на торгашей, покупателей и воров-карманников. Торгаша из Кости не вышло. Покупать Косте не на что. И карманника из него не получится — воровать не умеет. Все. Здесь ему места не было. Костя ехал с ярмарки...

Так они и жили теперь. Жизненные задачи были распределены раз и навсегда. Нина мыла подъезды, мерзла на осеннем ветру у газетного лотка, гремела тарелками в посудомоечной, а Костя отмаливал их общие грехи. Костина миссия была высока и многотрудна, Нина решала задачи житейские, земные. Костя отвечал за величие духа, Нина — за презренный быт.

Итак, Костя вошел в церковные ворота. Раздал подаяние. Замер у входа в храм, содрал с головы кепчонку, перекрестился истово и ступил наконец под священные своды.

До начала службы оставалось еще около получаса. Костя купил три свечи у церковной служительницы, стоявшей у свечного ящика, и неодобрительно покосился на пергидрольную блондинку, подошедшую к ящику следом за ним. «Платком бы голову покрыла, прежде чем в храм

войти, — подумал он раздраженно. — Тоже мне прихожанка! Ни черта не... Свят, свят, свят, что это я чертей поминаю сегодня?»

Блондинка между тем протянула служительнице деньги, глянула на нее и ахнула, узнав.

Костя отошел в сторону, сжимая свечи в ладони. Конечно, узнала. Как не узнать! Служительница, стоявшая за свечным ящиком, была в прошлом известной актрисой. Свою судьбу бывшая лицедейка выстроила размахисто и ярко: бурная молодость, зрелость, проведенная в творческих метаниях и любовных испытаниях, и вот теперь шикарный финальный аккорд — монашеский черный плат, свечной ящик, скорбно поджатые губы.

«Перетрахала пол-Москвы, — бурчал про себя Костя, ставя свечку у иконы, — выпила цистерну водки, теперь грехи замаливает. Тоже роль играет. Блудодейка!»

Костя поднял глаза на икону. Подумал, прежде чем перекреститься: «Да ты и сам хорош! Свечу ставишь — и богохульствуешь... Что это с тобой сегодня, Константин Петрович?»

— Вас батюшка к себе просят, — прошелеstel кто-то за его плечом.

Костя оглянулся. Церковный служка стоял перед ним и мягко, ележно улыбался.

— Меня? — переспросил Костя потрясенно. — Батюшка?

Служка кивнул, жестом приказав Косте следовать за ним.

В маленькой светлой комнатке со сводчатым низким потолком, возле узкого окна сидел в кресле благообразный молодой попик. Он радушно улыбнулся вошедшему в комнатку Косте.

Тот, вконец одурев от всех неожиданностей, поднес было руку ко лбу («Господи! Что же я де-

лаю-то? Креститься собрался, будто он не поп, а икона!»), сцепил за спиной мокрые от пота руки и неловко поклонился.

Выпрямившись, он увидел Диму. Костя узнал его тотчас, хотя и не видел ни разу, каким-то седьмым чувством узнал. Он, мерзавец! Костя был в этом уверен.

Дима торчал за креслом, в котором восседал священник. Костя оглядел соискателя Нининой руки... Хорош. Холеная рожа, веселые глаза. Стоит, положив руку на резную спинку кресла, улыбается победно. Хозяин жизни, властитель судеб.

«Вот я почему чертей поминал-то, — догадался Костя. — Вот он — черт!»

— Как настоятель прихода сего, — забасил поп, взирая на Костю с отеческим расположением, — благодарю тебя, сын мой, за щедрый взнос, за благое деяние...

— Батюшка, какой взнос? — проямлил Костя, совсем сбитый с толку. — О чем вы?

— Денежный взнос, — гудел святой отец. — Деньги немалые... По крупичам, по йотам собирал! Похва-ально, сын мой! Похвально!

— Это ошибка, батюшка! — Костя старался не смотреть на Диму, возвышавшегося за креслом слуги Божьего. — Это ошибка, недоразумение. Я ничего не...

— Он тайно хотел, отец Феодосий, — перебил его Дима, склонясь к священнику.

— Тем ценнее пожертвование, — рек отец Феодосий, привстав с кресла и давая Косте понять, что аудиенция окончена.

Костя попятился к дверям, суетливо кланяясь, ненавидя себя самого за собственную униженность, за смятение, за эти плебейские поклоны.

Он выскочил из церкви, щурясь от солнечного света. Служба уже началась, торжественно и мерно били на звоннице колокола.

Костя выбежал из церковных ворот. У кромки тротуара стояла Диминая машина, возле нее, позевывая, расхаживал мордоворот.

Костя оглянулся — Дима шел следом. Остановился возле нищенок, достал бумажник, зашуршал «зелеными». Старухи тянули к Диме темные сухие ладошки и с подобострастной надеждой заглядывали ему в глаза.

«И я сейчас кланялся так же, как они, — подумал Костя, глядя на рой нищенок, клубившийся возле Димы, возле доброго барина, одеяющего их заморской копеечкой. — И кланялся так же, и угодничал так же...»

— Твоя работа? — спросил он у Димы, когда тот наконец подошел к нему. Спросил в упор, зло и резко, сразу перейдя на «ты». — Твои штучки?

— Что вы имеете в виду? — уточнил Дима, оттенив свое холодновато-корректное «вы».

— Что я имею в виду? — Костя задохнулся от ярости. — Да весь этот спектакль! С попом и щедрым взносом! Что ты нас окучиваешь, что ты к нам прилип? Отцепись от нас, сволочь! — заорал Костя, уже не сдерживаясь.

Мордоворот сделал было шаг в сторону патрона, но Дима остановил его взглядом.

— Хоть сюда-то не лезь, хоть в храме дай отдышаться! — орал Костя надсадно. — Нет, у тебя и тут все схвачено! А с Всевышним ты еще не закорешился?

— А что, идея! — хмыкнул Дима. — Надо телекс ему отбить. Туда дня три идет, больше?

— Ненавижу, — просипел Костя. — Ненавижу вас всех... Саранча...

— Ну да, — кивнул Дима насмешливо. — Куда как достойнее сесть бабе на горб. Она на десяти работах ломается, а он слюни пускает у аналая. Богоборец!

— Ты-ы! — взвизгнул Костя. Самое страшное, что Дима был прав. Четырежды прав. И Костя понимал это. — Ты! — Он вцепился в отвороты Диминого плаща. — Да как ты смеешь, кто ты такой, чтобы...

Дима брезгливо, без особого усилия оттолкнул Костю от себя, щелкнул пальцами — так в кабаке подзывают официанта, и его шикарная машина послушно подкатила к хозяину. Мордоворот открыл дверцу.

Костя отвернулся.

Дверь в квартиру была распахнута настежь. Костя вошел в прихожую и прислушался. Кто-то расхаживал по комнатам: незнакомые мужские голоса, чужие шаги, грохот выдвигаемых и водворяемых на место ящичков письменного стола...

Теща выскочила в прихожую, увидела Костю и громко зашептала:

— Константин! У нас обыск!

— Охренели, что ли, мамаша? — спросил Костя. Впрочем, ладони у него тотчас повлажнели от пота. — Какой обыск?

Он осторожно заглянул в комнату. Два дюжих молодца, стоя спиной к нему, рылись в ящиках Костиного стола. Костя попятился назад, стараясь ступить неслышно.

— Это кто? — прошипел он, вернувшись в прихожую к теще. — Вы зачем их пустили? Может, это воры?

— Они сказали, что они от Пупкова, — зашептала старуха. — Я подумала: может, они еще чего принесли? В прошлый раз железную до-

рогу, теперь, думаю, может, еще чего... А они — за рукописью твоей, они твою рукопись ищут...

— Рукопись? — переспросил Костя дрогнувшим голосом.

Рукопись — это было святое. В промежутке между членством в Партии любителей пива и счастливым обретением себя на ниве служения Господу Костя успел накопить шестисотстраничный труд о судьбах русской демократии.

Труд сей не претендовал на объективность и точное следование исторической фактологии, но был написан взволнованно и страстно (по крайней мере, так казалось самому автору).

Поставив последнюю точку и смахнув предательскую слезу с увлажнившихся век, Костя сполз с полатей (он писал, лежа на пузе, обложившись подушками, поскольку вычитал где-то, что именно эта диспозиция и есть оптимальная поза творца), сгреб все шестьсот страниц в кучу, впихнул их в объемистую папку и отправился в многотрудный поход.

Он обошел едва ли не все московские редакции, встречая всюду один и тот же взгляд: устало-сочувственный, соболезнующе-понимающий. Так смотрит старая опытная сиделка из клиники для умалишенных на нового пациента. «Оставьте, мы прочтем», — говорили Косте труженики правки ровными мягкими голосами, окидывая Костю и его трактат наметанным взором и ставя Косте диагноз безошибочно и мгновенно, на глаз, не прибегая к клиническому обследованию. «Спасибо, это интересно, но...» — вздыхали они через месяц, возвращая автору его творение.

— Они их не читают, — пояснил однажды Косте такой же, как и он, многотерпеливый хо-

док по издательствам. — Мы же графоманы. Они нас за версту чуют. Профессиональный нюх. Они не открывают даже. Ты волосок между страниц не вкладываешь? Я кладу. Давай проверим... Во, смотри, между шестнадцатой и семнадцатой! Лежит! И на триста десятой — волос... Не. Не читают. Хана.

— ...Мать, где она есть-то? — Один из молодых вырос на пороге прихожей. — Мы там все перерыли. Где рукопись? А! — Он увидел Костю. — Хозяин! Здорово. Где рукопись твоя?

«Неужели посадят? — мелькнуло у Кости в голове. — Неужели и правда обыск?.. Может, ОНИ начинают закручивать гайки? Устроят показательный процесс... Ельцина я там крыл? Крыл. Чубайса крыл? Еще как... Кого я там только не крыл! Я там всех смешал с грязью...»

— Зачем вам? — спросил он дрожащим от волнения голосом. — Вы кто такие?

— Хозяин, ты нам писанину свою гони, — прикрикнул на Костю молодец. — Остальное — не твоя забота.

«Посадят!» — понял Костя. Перед его мысленным взором пронеслось стремительно: Бутырки, нары в сыром каземате, место у параша... Бледная Нина шепчет сквозь слезы: «Костя, у нас нет денег на адвоката!»... Статья в «Монд»... Ну, почему в «Монд»? Можно и в «Таймс»: «В России снова появились диссиденты»... Нью-Йорк, пикеты у посольства...

— Зачем вам его рукопись, скажите толком! — взвизгнула теща, вернув Костю на грешную землю.

— Дмитрий Андреевич хочет ее напечатать, — нехотя пояснил молодец, глядя на часы. — За свой счет. Он уже с издательством договорился.

Костя замер. В который раз за сегодняшний день он обмирал от неожиданности.

— А... А каким тиражом? — выдавил он наконец, массируя влажной ладонью левую сторону груди.

— Хорошим тиражом. — И молодец весело подмигнул Косте.

Нина возвращалась с ночной смены, слава богу, не пехом: Коля, шофер ресторанный «рафика», ехал в Нинины края, предложил ей по-свойски: «Давай подброшу! Ты же спишь на ходу, бедолага...»

Теперь она дремала, сидя на заднем сиденье. Открыла глаза, огляделась сонно: за мутноватым стеклом «рафика» мелькали переулки Таганки.

— Коля, — внезапно решила Нина, — останови у перекрестка. Я выйду.

— Зачем? — недоуменно спросил Коля. — Седьмой час утра! Че ты тут потеряла?

— Погулять хочу. Пройтись, подышать.

Коля пожал плечами и тормознул у перекрестка.

Нина выбралась из «рафика», махнула рукой — мол, спасибо, не жди, езжай.

«Что ты тут потеряла?» Потеряла. Не она — ее отец. Ее род.

Нина пошла вперед медленно, подняв воротник плаща, придерживая его у горла. Пальцы тотчас озябли. Утренний воздух был холоден и свеж уже по-зимнему.

Снега не было еще и в помине, но пахло близким снегом, скорым морозцем... Крак! Нина вспорола каблуком тончайший ледок, затянувший лужу.

«Что ты тут потеряла?» Вон она стоит, ее потеря, — двухэтажный особняк шереметевский...

Нина подошла к воротам, коснулась ладонью холодной чугунной ограды. Ее дом. Дом ее предков. Ее... Как это называется? Вспомнила — «недвижимость». Смешное слово.

Мой дом. Нина вздохнула легко, бросила на особняк последний взгляд и пошла прочь, больше ни разу не оглянувшись.

Твой дом? Представь себе на минуту, что он — твой. Что его у тебя не отобрали. Что ты в нем полноправная хозяйка. Что не было никогда на свете этого картавого господина из Симбирска, ни его, ни его злосчастной «Искры» с ее пожароопасным эффектом, ни этой треклятой ВОСР. Никаких тебе исторических катаклизмов, никаких экспроприаторов с голодными веселыми глазами.

Представь себе: это — твой дом. И что? Ты была бы счастливее, чем теперь?

Нина подошла к автобусной остановке. Пожилаясь зябко, грея замерзшие руки в рукавах.

Ты была бы так же несчастлива, как и теперь, моя дорогая. Ну, разве что подъезды бы не мыла. И в посудомойки бы наниматься не пришлось. Сдавала бы первый этаж каким-нибудь японцам под офис и жила бы безбедно. А на душе бы кошки скребли. Тот же муж никчемный, давным-давно опостылевший, та же тоска, то же одиночество. Жизнь с пустым сердцем.

Подошел первый автобус, утренний. Нина вошла в салон, пристроилась на краешке сиденья у окна.

А ведь отстал! Она вспомнила Диму. Отстал. Ненадолго его хватило... Ну, и хорошо. Хорошо? А ты душой сейчас не кривишь, графиня?

Ну разве что совсем немножечко. Чуть-чуть.



Девять часов утра. За окном машины мелькали утренние московские улицы.

Дима протяжно зевнул и потер глаза. Он не выспался. Лева разбудил его сегодня в половине восьмого и устроил форменную истерику. Кричал, что вся эта авантюра с мадам Шереметевой, это Димино «сватовство гусара» затянулись сверх всякой меры.

— Не наигрался еще, дитятко? — вопил Лева. В частных разговорах он позволял себе быть нелицеприятным. — Не наигрался? Делом займись! Все на мои плечи скинул. На фабрике не был неделю, склад этот на Бауманской проворонили, он гроши стоил, все, ушел с концами...

Дима скушаяще выслушал компаньона. Нет, он не наигрался. Куда там! Только во вкус вошел.

Его затягивала эта диковатая сомнительная забава: осада крепости по имени Нина. Крепость пока не сдавалась. Опытный захватчик Дима не терял надежды. Действовал исподтишка. Переползал через крепостной ров. Разоружал Нинино семейство. Переманивал Нинино воинство на свою сторону.

Сегодняшняя Диминая акция проходила под девизом: «Расположить к себе маман, чего бы это ни стоило!» По данным Диминой разведки, Нинина мать собиралась сегодня пикетировать мэрию. В числе прочих убежденных большевиков, разумеется.

— А чего они бастуют? — спросил Дима, оглянувшись назад, на охранника Владика. Владик пожал плечами. Справа и слева от Владика восседали еще два Диминых амбала. Все заднее сиденье было завалено пакетами из «Макдоналдса» и пластиковыми запечатанными стаканчиками со «Столичной». На могучих коленях

Диминых стражей покоились охапки красных гвоздик.

— «Кра-асная гвоздика, спутница тревог!» — пропел Дима фальшиво, но с чувством, и деловито спросил: — Водки не мало взяли?

— Всем хватит, шеф, — заверил Владик. — По стакану на рыло. Их там человек сорок будет, не больше. Опять же старухи в основном. Трезвенницы-язвенницы...

Язвенницы сгрудились возле Юрия Долгорукого, сжимая в озябших лапках транспаранты и плакатики.

Дима выбрался из машины, поправил красный атласный бант, приколотый к пиджаку, и приосанился.

— Ну? — Он подмигнул трем своим богатырям. Богатыри уже стояли возле машины, держа в руках подносы, уставленные водкой и жратвой. Владик сжимал под мышкой гвоздики. — Вперед! — скомандовал Дима и мужественно двинулся к пикетчикам. — Наше дело — правое, победа будет за нами.

Пикетчики взирали на приближающегося Диму хмуро и неприязненно.

— Доброе утро, господа! — выкрикнул Дима, приблизившись к ним вплотную. — Позвольте представиться...

— Здесь тебе не господа! — огрызнулся какой-то дедок. — Здесь товарищи. А преставиться ты всегда успеешь. Мы тебе поможем. Не мы, так киллер какой...

— Шутить изволите? — хохотнул Дима. — Ну да, товарищи. Запомятовал. Товарищи.

Товарищи глядели на Диму с нескрываемой ненавистью. Еще бы! Дима был сейчас похож на откормленного молодого бычка, отбившегося от племенного стада. Забрел этот бычок на свою

беду в лесную чащу, и окружила его тотчас стая старых голодных волков. «Новый русский» в логове «старых советских».

Дима улыбался им искательно, пытаясь преодолеть растущую неловкость. Они смотрели на него молча — немолодые тетки в свалывшихся пуховых беретах, мужики без возраста с харями вокзальных выпивох. Старики с орденскими планками. Перед этими ему — стыдно. Этих жалко. Впрочем, всех жалко.

Дима оглянулся на своих молодцев с подносами в руках. Махнул им, подзывая. Молодцы подошли поближе.

— Угощайтесь, товарищи! — крикнул Дима весело. — Тяпнем по маленькой! За здоровье генсека! За сплоченность наших рядов!

«Товарищи» плотоядно косились на водку и боролись с искушением. Старухи рассматривали пестрые пакеты из «Макдоналдса» с детским любопытством.

Диме снова стало стыдно. Стыдно и тошно. Острое чувство невольной вины перед ними кольнуло и отпустило. Он ни в чем не виноват перед этим стариковским воинством. Он ничего у них не отнял. Просто ему повезло чуть больше. Их всех подмяло под Красное колесо, а ему оно только мизинец отравило. Он вовремя в сторону отскочил. Да и катилось оно уже еле-еле, начало восьмидесятых, время перемен...

Он уцелел. Они — нет. Он ни в чем перед ними не виноват.

— Мама! — воскликнул Дима, разглядев наконец в толпе пикетчиков Нинину мать. — Мама! — Он двинулся к ней, раскинув руки для объятия. — Рад вас видеть!

— Какая я тебе мама? — пробормотала она, отворачиваясь.

— Ну, в смысле «Родина-мать зовет!», — на-шелся Дима. — Мама, я всем сердцем с вами, по-верьте! Как там насчет членства в партийных ря-дах? — зашептал он, доверительно склонившись к ней. — Я бы хотел вступить... Помочь, так ска-зать, и словом, и делом...

— Придуриваешься, что ли? — Женщина по-смотрела на него недоверчиво.

— Пейте, товарищи! — крикнул Дима, ог-лядев жующих пикетчиков. — Закусывайте! Весь мир насилия мы разрушим... Мама, — он пони-зил голос и вытащил из кармана конверт, — здесь пятьсот баксов. Это вам на партийные нужды. Мой первый скромный взнос...

Женщина остоленело смотрела на конверт.

— Берите, берите. — Дима вложил конверт в ее руку. — Это вам на стяги и на прокламации.

— Спасибо, товарищ. — Голос женщины дрогнул. — Спасибо. Мы отчитаемся за каждую копейку!

Было около трех часов дня. Нина с трудом от-крыла дверь своей квартиры: ключ не попадал в замок, и она возилась, пока не сообразила, что пыгается открыть дверь ключом от почтового ящика. М-да, графиня... Вам пора подавать каре-ту. Карету «скорой помощи». И — в Кащенко, с ве-терком.

Войдя в прихожую, она глянула в зеркало. Гла-за сомнамбулы — тусклые, невидящие, измучен-ные. Сутки без сна. Сразу после ночной смены пришлось топтать в подземный переход, к газет-ному лотку, подменять напарницу.

Нина добрела до кухоньки и открыла застек-ленную дверь.

За столом сидели мать и Михаил Степаныч, ста-ричок-бодрячок, активист-зюгановец. И Дима.

Дима, с которым она мысленно распрощалась сегодня утром, сидел между ее матерью и стариканом-активистом, откупоривая вторую бутылку «Столичной». Первую они уже прикончили, и она, пустая, стояла тут же, на старенькой линиялой клеенке, рядом с немудрящим набором пролетарской закуси: винегрет, селедочка, отварная картошка, посыпанная укропом...

— Вы... Ты... — пробормотала Нина, придя наконец в себя. — Вы что тут делаете?

— Пьем, — пояснил Дима, глянув на нее мельком. — Закусываем. — Он наполнил сорокаградусной стариковские чашки и себя не забыл. — Песни поем. Степаныч, давай нашу, любимую!

И Дима хлопнул ладонью старикана по спине. Старикан кивнул и затыкнул с чувством:

— Люди мира, на минуту встаньте!

— Стоп! — перебил его Дима. — А тост? Выпьешь с нами?

Нина, к которой был обращен этот вопрос, только немо шевелила губами.

— Тост! — Дима поднял свой стакан. — За нашу советскую Родину! Капитализм не пройдет! Но пассаран!

— Молодец! — одобрил его Степаныч. — Мы тебя перевоспитаем.

— Уже, — сказал Дима и опрокинул в себя водку. — Я записался в добровольцы.

Нина глядела на него во все глаза. Таким она его еще не видела. Димин пиджак висел на спинке стула, ворот рубашки был расстегнут, узел галстука приспущен. Дима был весел и багроворож. Одной рукой он обнимал ее мать, другой старикана.

— А ну, убирайся отсюда! — приказала Нина. — Мать еще будет мне тут спаивать.

— Н-нин, как те не стыдно? — заступилась за Диму Александра Федоровна. — Он не спаивает, это д-дружеское застолье... Это наш человек, Нина! Наш новый член!

— Сан Федоровна, вы меня в краску вгоняете, — заржал Дима, ловко подцепив вилкой кусок селедки. — Кайф! — И, отправив селедку в рот, он прикрыл глаза от удовольствия.

— Во-во, это тебе не лангустов жрать-то с омарами, — заметил Степаныч одобрительно. — Лучше нашей-то селедочки ничего не бывать.

— Ты знаешь, какой он щедрый? — не унималась пьяненькая мать, укоризненно глядя на Нину. — Какое он нам пожертвова...

— Не будем об этом, — перебил ее Дима.

— Он скромный, — вставил старикан и чмокнул Димину руку, лежавшую у него на плече.

— Я скромный, — согласился Дима. — Как всякий уважающий себя большевик. Ребята, давайте споем! Нашу, партизанскую!

— Люди мира, на минуту встаньте! — завопил старикан с новой силой.

Нина повернулась и вышла из кухни, захлопнув за собой дверь. Она не знала, плакать ей или смеяться. Гнать его взашей или оставить. Зато одно она понимала твердо: рановато она с Димой простилась, не так-то просто будет от него отделаться.

— Костя, — позвала она мужа, входя в комнату. — Какого черта?! Что это за спектакль, Кость? Когда это кончится?

Костя сидел за письменным столом и стучал одним пальцем по клавишам старенькой раздолбанной машинки.

— Пусть поют, — сказал он, не отрывая напряженного взгляда от клавиш.

— Что значит «пусть»? — Нина устало опустилась на тахту. — Может, он у нас поселится вообще? Так, что ли? Ты не против? Только у нас тут и без него сумасшедший дом, мой дорогой.

— Сумасшедшим больше, сумасшедшим меньше, — заметил Костя философски. — Ну, шизик богатенький с жиру бесится... Нам что, плохо? Он вон книгу мою издает, я ради этого все стерплю, Нина.

— Что? — изумилась Нина. — Какую книгу? Ты мне ничего не говорил.

— Вот, говорю. Мой труд о судьбах демократии. Дело жизни. — И Костя с силой ударил указательным пальцем по многострадальной клавише. — Видишь, вношу поправки.

Нина оглушенно молчала. Теперь она поняла все. Оценила масштабы Диминой экспансии. Ее он купить не смог — зато без особого труда подкупил мать и мужа. Без особого труда, без особых затрат. Словно давая ей понять: смотри, как это просто, как недорого они стоят, как легко от тебя отказываются.

Подлец! Ах, какой подлец.. Бьет по больному рассчитанным, точным ударом. Скотина! А она еще сегодня утром вздыхала, прощаясь с ним заочно. Дура. Старая дура, поделом тебе!

— Значит, ты не против? — спросила она наконец с тихой яростью. — Значит, мне с ним в загс идти?

— Я этого не говорил, — пробормотал Костя, сгорбившись над машинкой.

— Нет, ну если ты принял его предложение... Давай рассуждать логически. Значит, и я должна ответить ему согласием? Так? Ты меня благословляешь?

— Прекрати ерничать, — проямлил Костя.

— Костя... Ну-ка, посмотри на меня, Костя! А если он захочет, чтобы я с ним в постель легла? Ты и на это дашь свое согласие?

— Замолчи! — не выдержал муж. — Замолчи сейчас же!

— Выгони его, — приказала Нина чуть слышно. — Будь мужиком хоть раз в жизни.

— Так он сам ушел. — Мать стояла в дверях, протягивая Нине пустой пакетик из «Макдоналдса». — Такой славный... Нин, как хочешь, он мне сегодня понравился. Держи, это тебе. Он велел тебе передать. Он туда внутрь какую-то записочку бросил.

Нина взяла пакетик и, помедлив, заглянула внутрь. Достала бумажку, на которой было написано: «\$ 4000».

Удвоил цену. Широко!

Она смяла бумажку, потом скомкала и пакет.

— Дима, я тебе невесту привел, — объявил Лева, возникнув на пороге Диминого кабинета.

— Какую невесту? — Дима положил трубку на рычаг.

— Какую... Голубокровную.

— Она сама пришла? — спросил Дима сипло.

Пришла. Надо же! Явилась. «Укрощение строптивой», конец первой серии. Явилась за четверкой с тремя нулями. Надо было ей сразу столько предложить. Всего и делов-то... Ее гордыня стоит четыре тысячи долларов. Он победил. Странно... Вместо радости победителя Дима испытал нечто вроде разочарования. Слишком быстро вы сломались, госпожа Шереметева. Только-только он вошел во вкус, наметил план боевых операций, подтянул войска, а госпожа Шереметева уж и белый флаг выкинула, и поражение готова признать.

Жаль. Ну, да ладно.

— Зови, — сказал Дима. — Принеси мне четыре штуки. Нет, деньги ты ей сам отдашь.

— Кому отдам? — удивился Лева. — Какие деньги? Я тебе новую привел, ты что, не понял? Голицына. Будешь Голицын. Родословную я изучил, все чин-чином. Без обмана.

Вот оно что... Голицына. На черта ему Голицына?

— Чего у тебя рожа-то постная? — обиделся Лева. — На тебя не угодишь, ей-Богу! Ты мне в пояс должен кланяться. Голицына, незамужняя, не урод, между прочим, и песок из нее не сыплется. И деньги ей не нужны, она тебе сама приплатить готова.

— Это как? Почему? — заинтересовался Дима.

За деньги или без оных — он Голицыну не желал. Не нужна ему ни Голицына, ни Оболенская. Ему была нужна Шереметева. Пожалуй, он только сейчас это понял по-настоящему. Понял и удивился своему открытию. Что бы это могло означать? А, Дима?

— Она богатая, — пояснил Лева. — На кой ляд ей твои штуки, она сама бизнесвумен, крутейшая баба, у нее своя парфюмерная линия в Мюнхене. Она в Неметчине, Дима, живет. По-русски — ни бум-бум. Эмигрантка в четвертом поколении.

— Тогда зачем я ей сдался? — еще больше удивился Дима.

— Ты ей понравился, — ухмыльнулся Лева. — Она тебя видела на какой-то тусовке... На презентации. Мы с ней столкнулись вчера в Дворянском собрании, она мне говорит через переводчицу: «О-о, я вас помню, вы были с таким плейбоем на презентации “Орифлейм”!»

— Это я, что ли, плейбой? — спросил Дима недоверчиво.

— Ты, ты. Ты в ее вкусе. Она блондинов любит. Ну, дальше — слово за слово... Короче, она здесь. Звать?

Дима пожал плечами. Лева испарился.

Минуты через две в Димин кабинет вошла дама с собачкой. Почти по Антон Палычу. Не хватало только Ялты и набережной. Одной рукой дама прижимала левретку к плосковатой груди, другую протягивала Диме для поцелуя.

Пришлось подниматься, пересекать кабинет, улыбаться через силу, припадать к руке... Руки госпожи Голицыной были затянуты в перчатки. Вообще, все, что могло выдать истинный возраст прелестницы — руки, шея, глаза, — было замаскировано тщательнейшим образом. Госпожа Голицына действовала как опытный конспиратор. Шея ее была обмотана пятью слоями шелкового шарфа, огромные «стрекозы» очки закрывали пол-лица.

— Карашо, — произнесла госпожа Голицына хриплым надтреснутым баском курильщицы со стажем. — Ди-ми-трий! Красавец!

Она сунула левретку Диме и быстро, командирским размашистым шагом обошла кабинет.

— Чай? Кофе? Ликер, коньяк? — спросил Дима уныло.

Бизнесвумен упала в низкое кресло, закинула ногу на ногу, зачем-то звонко хлопнула себя по поджарой ляжке и разразилась долгой тирадой на немецком.

— Фрау говорит, что... — начала было переводчица, скромненькая мышка-норушка, как-то незаметно проскользнувшая в кабинет.

— А, так она фрау? — перебил ее Дима. — Если она не фройляйн, то на кой ляд ей за меня замуж? Она ведь замужем, да?

— Она вдова, — пояснила мышка-норушка и залопотала по-немецки, повернувшись к хозяйке.

Госпожа Голицына резко соскочила с кресла и достала из сумочки портмоне. И сумочка, и сапоги-ботфорты были из крокодильей кожи.

— Крокодил натуральный? — не удержавшись, спросил Дима.

— Йа, йа! — И фрау Голицына раскатисто захохотала. Ее басу позавидовал бы любой синоподальный певчий.

— Брижит Бардо на вас нет, — вздохнул Дима. — Башку бы вам открутить в два счета за издевательство над тропической фауной.

Услышав фамилию Бардо, фрау довольно оскалилась и достала из портмоне фотографию. Поскольку Димины руки были заняты левреткой, хозяйка собачки поднесла фото к Диминым глазам.

— Это ее покойный муж, — объяснила переводчица, — Хельмут.

— А чего он помер так рано? — удивился Дима, рассматривая фотографию смазливового молодого мужика. — Ему же лет тридцать от силы! Мог бы еще пожить. Хотя... — Дима покосился на вдову. — Тут коньки отбросишь, конечно.

— Это переводить? — хихикнула переводчица.

Вместо ответа Дима вдруг издал протяжный гортанный вопль, всучил фрау ее левретку и принялся отряхивать фалды пиджака.

— Что? — ахнула переводчица. — Она вас... описала?

Дима закивал — и ринулся из кабинета, на ходу сдирая пиджак. Выскочив в предбанник, он плотно притворил за собой дверь.

— Тебя что, ее Муму обоссала? — спросил Лева, выхватив пиджак из Диминых рук.

— Как бы не так, — возразил Дима, отбирая пиджак и надевая его. — Я чист.

— Тогда зачем ты?..

— Предлог. — Дима подмигнул смеющейся секретарше. — Первое, что пришло в голову. Гони их к чертям! Скажи: хозяин рыдает над блайзером. Скажи: вы загубили его блайзер от Гуччи.

— Дим, чего тебе еще надо? — зашептал Лева возбужденно. — Голицына! Обвенчаются хоть завтра! Денег не берет!

— Не хочу, — поморщился Дима. — Песня кабацкая. Все, кому не лень, будут поручиком обзывать.

— Дима, тогда давай так, — твердо сказал Лева. — Мы эту эпопею с жениховством заканчиваем. Почудил — и хватит. Дело надо делать. Ты согласен?

— Натюрлих! — И Дима ухмыльнулся, застегнув наконец пиджак.

— Шут, — вздохнул Лева. — Шут гороховый... Ладно, пойду немчуру выпроваживать.

Лара звонила ему три дня подряд. Ее как провало после двухнедельного молчания. Первое, о чем Дима подумал, когда услышал ее голосок в трубке, — он не вспоминал о ней ни разу. Ни разу за две эти недели. Такого раньше не было.

И видеть ее не хочется. А раньше — летел по первому зову, бросал все дела. И радости он никакой не испытывал. Ни радости, ни торжества — ну как же, она звонит первая, частит в трубку своим ломким, капризным, детским голоском: «Прости меня, и я тебя прощаю... Приезжай! Хочешь, я приеду?.. Я соскучилась, ужасно соскучилась, Дима!»

«Я занят», — отвечал он коротко и клал трубку.

Потом позвонила бывшая жена. Она сказала устало, мягко и примирительно, что Олег ей обо всем рассказал. Ей жаль, что все как-то по-дурацки получается, не по-людски. Она Олега отчитала. Это не метод. Сын должен видаться с отцом. Но и он, Дима, должен Олега понять...

— Я понимаю, — сухо перебил ее Дима.

— Он по-своему прав, согласишься, — сказала жена осторожно. — Он хочет стать Никите отцом. Отцом, а не отчимом...

— А я кто? — спросил Дима, закипая. — Я что, не отец? Я что, помер уже? Ты меня раньше времени не хорони, не надо!

— Ну, приезжай, — вздохнула жена. — Приезжай, поговорим. Не горячись только.

И Дима поехал. Он увидит Никиту, наконец-то увидит!

То, что они не вместе, Дима переживал болезненно, мучительно. Он никогда не ушел бы из семьи, никогда. Остался бы ради Никиты. Это жена настояла на разводе, проявила характер. Она вообще была девушка с характером. С норовом. Этим и взяла его когда-то. Тысячу лет назад, в другой жизни, в студенчестве...

Он приехал в Москву из большого южнорусского города. Поступил в институт с первого захода. И сразу же затосковал по дому.

Дима был маменькиным сынком. Нет, не балованным увальнем, булавкой пришпиленным к материнской юбке, отнюдь. Детство золотое провел не в детской за Стивенсоном — во дворе, среди местной шпаны. И портвешка хлебнул первый раз лет в одиннадцать, а сигаретку первую выкурил-вымучил, давясь от приступов предательской тошноты, и того раньше...

Но он, Дима, был мамин сын. Дома ему прощались все: синяки, новая куртка с продранными рукавами, «пары» в дневнике, приводы в милицию. Мать любила его самозабвенно, истово, сверх меры. И он ее — так же сильно.

Здесь, в этой выстуженной сырыми промозглыми ветрами, суетливой, деловито-отчужденной Москве ему было одиноко и тоскливо. Не то чтобы он невзлюбил этот город — он, Дима, его не принял. Он скучал по своему городу — бестолковому, шумному, веселому, пестрому, согретому щедрым солнцем. Он скучал по своей реке, которую пролетарский классик почему-то обозвал «тихой», а он был вовсе не тихим, его Дон, уж какими ликующими воплями они оглашали его на удачной рыбалке!

Теперь нужно было сжиться, примириться, привыкнуть к стильной осенней Москве. Привыкнуть к неуютной грязноватой общаге, к вечному недосыпу, к вечному желанию набить какой-никакой жратвой голодную угробу. Еще были мамины письма. Мамины посылки. Тоска по ней, ночные беззвучные слезы, так, чтобы никто не слышал, не высмеял — здоровый лоб, великовозрастный детинушка хлюпает носом, не может остановиться.

И когда эта девочка-сокурсница, аккуратненькая, большеглазая, повернулась к нему в студенческой столовке, поставила на его поднос две тарелки с гуляшом и гречкой, сказала решительно, тоном приказа: «Ешь! Я же знаю — ты без стипендии! Ты же скоро в обморок грохнешься от голода! Ешь. И не спорь, пожалуйста...» Когда эта девочка повернулась к нему — он почувствовал, понял: здесь можно согреться. Мамино тепло. Тепло, сострадание, нежность. Он снова не сирота.

Через год они поженились. Надя была москвичкой. Он помнил, как посреди бестолковой студенческой свадьбы он набил морду подвыпившему сокурснику, хихикавшему пьяненько: «Димон, колись, давай по-честному: ты не на Надьке женишься — на Москве!» Дима двинул ему в рожу так, что сокурсник отлетел к стене и медленно сполз по ней на кафельный пол ресторанный сортира.

Дима женился не на Москве — на своей Наде. А то, что это не любовь была, а тоска по теплу, по родной душе, по женским рукам, которые обнимут легко и ласково... Что ж, кто не ошибался в восемнадцать-то лет? Да и ошибся ли он? Он нашел то, что искал. И тепло, и участие, и родную душу. Долгих десять лет Надино тепло его согревало. Пока он сам все не разрушил, кретин.

Бывшая жена открыла перед ним дверь своей новой квартиры.

— Видишь, как тебя встречаю? — спросила она вместо приветствия, гася неловкость усмешкой. Она была в махровом халате. Волосы спрятаны под высокий тюрбан из полотенца. — Это я сейчас голову сунула под душ, — пояснила Надя, смеясь. — Хотела к твоему приходу волосы по-новому уложить... Мудрила, мудрила... В итоге фен сожгла и на голове черт те что...

— А где Никита? — нетерпеливо перебил ее Дима.

— Никита?... Проходи.

Дима огляделся — среднестатистическая квартирка. Сирая обитель рядового итеэровца.

— Никиту Олег на охоту с собой забрал, — сказала Надя. — То есть это как будто бы «охота». Они тут начитались Майн Рида, про Чингачгуков всяких... Никита просто бредит охотой

теперь. Олег придумал, что они поедут на дачу к приятелю, в Кратово, будут там из детских ружей присосками резиновыми по жестянкам стрелять...

Дима слушал ее, давя в себе новую вспышку бессильной злобы на этого Олега, неутомимого массовика-затейника, Чингачгук его побери... Значит, сына он не увидит. Снова не увидит.

— Ладно, — вздохнул Дима. — Я тут денег привез, держи. Я поехал.

— Спасибо. — Надя взяла из его руки пачку денег. — Только ты не уходи так сразу. Поболтай со мной хотя бы ради приличия... Как тебе наша берлога? Ты же здесь в первый раз.

— Берлога — она берлога и есть. — Дима хмуро огляделся. — Давай я вам квартиру куплю нормальную? Не для охотника твоего — для Никиты.

— Спасибо. — Жена насмешливо прищурилась. — Спасибо, не нужно. Нам и здесь хорошо. Три комнаты, у Никиты отдельная... Ты знаешь, — добавила она, помолчав, — мне действительно здесь хорошо.

— А со мной было плохо? — спросил Дима утрюмо.

— С тобой было прекрасно. Ты же знаешь, я тебя любила. И люблю... — Она произнесла это с усилием. — Было прекрасно... Только тяжело очень. Ну, не вышло из меня жены нового русского. Насмотрелась я, милый, на этих жен... Девяносто-шестьдесят-девяносто. Дом моделей. А во мне росту метр шестьдесят, и к тряпкам я всегда была равнодушна, сколько бы ты мне их ни покупал... Ты знаешь, какая для меня была мука тащиться с тобой на эти приемы... Стоят кобылы в шелках от Армани, разглядывают меня, как через лупу... Будто я — ископаемое.

— Ну, перестань, — поморщился Дима. Жена была совсем рядом. Он притянул ее к себе. — Ископаемое... Скажешь тоже!

— Ты не представляешь себе, как я зажималась и комплексовала! — Жена ласково взъерошила его волосы. — Ты у меня такой роскошный, и я — рядом. Типичная училка. Очки, челочка... Идем как сквозь строй... Мимо этих новых жен новых русских...

— Новых жен, верно, — пробормотал Дима, прижимая ее к себе все крепче и крепче. — Они же все жен поменяли. Как коней на переправе. А я...

— Ты тоже хотел, — вздохнула Надя. — Подсознательно... Нашел себе певичку...

— Надя, — пробормотал Дима, дуря от родного тепла, пытаясь развязать узел на поясе халатика. Узел был затянут туго-натуго и не поддавался. — Надя, иди ко мне... Иди! Черт, что ж ты так его затянула...

— Нет. — Надя вырвалась, отошла и села в кресло. — Не нужно.

— А чего ты меня звала? — спросил Дима, молчав.

— Значит, у тебя с ней все? — ответила Надя вопросом на вопрос, испытующе глядя на бывшего мужа. — С Ларой твоей? Надоела? Новую завел?

— Новую? — недоуменно переспросил Дима.

И вспомнил о Нине. Да, усмехнулся про себя. Если это и можно назвать романом, то романом весьма нетипичным. Нетривиальным.

— Дима! — В голосе бывшей жены звучала печальная нежность. — Мой тебе совет: обжегся на молоке — дуй теперь на воду. Будешь новую искать — ищи с материнским началом. Знаешь, есть тип такой — женщина-мать. Вроде меня. Ты же у нас большой ребенок. Это сов-

сем неплохо, что ты надулся. Это даже хорошо. Признак настоящего мужчины.

Нина вошла в посудомоечную и устало поздоровалась с товарками. Ей никто не ответил. Здесь сейчас было не до нее: все сгрудилось вокруг мерно урчащего гигантского агрегата.

Огромная, заморская, судя по дизайну и многочисленным лейблам, машина заглатывала грязные ножи и тарелки и выпускала их из огромного зева ослепительно чистыми... Тут же все сушилось и сортировалось.

Нина подошла поближе к диковинной штуковине и внимательно ее осмотрела, потом перевела взгляд на хозяина заведения. Жора взирал на машину-«посудомойку» с благоговейным трепетом, изредка поглаживая ее ладонью по гладкому боку. Жесты эти были исполнены такой сладострастной неги, словно Жора не до кухонного агрегата дотрагивался, а ласкал любимую в час долгожданного свидания.

— Да-а... — протянула Нина, усмехнувшись. — Жор, ты теперь уволишь нас всех за ненужностью?

— Тебя оставляю, — пообещал Жора. — Тебе вообще велено зарплату втрое повысить.

— Кем велено? — поинтересовалась Нина, заранее зная ответ.

— Димкой. — Жора снова положил ладонь на сверкающую поверхность супермойки. — Это Димка нам ее подарил. Шикует. Немецкая машинка, вон представитель фирмы лопочет. Хайнц! — крикнул Жора. — Хайнц, битте, еще тарелочку кокни! Хайнц его зовут, — добавил Жора, понизив голос. — В честь кетчупа, наверное.

Белобрысый Хайнц с готовностью шваркнул об пол тарелку — та не разбилась. Нинины товарки, очевидно, в который раз наблюдающие за этим аттракционом, вяло похлопали в ладоши.

Товарки были сумрачны и молчаливы: над ними нависла угроза возможного увольнения. Машина-«штрейкбрехер» (тоже ведь немецкое словцо, между прочим!) делала свое дело исправно и четко, не требуя ни ежемесячной зарплаты, ни надбавки к ней, ни дополнительных выходных.

— Класс! — восхитился счастливец Жора. — Видишь, тарелки не бьются. — Он повернулся к Нине, сияя. — Она их какой-то пленкой покрывает невидимой, машина. Прочность им придает.

— А это Дима приклепал? — спросила Нина, кивнув на листок бумаги, приклеенный скотчем к боку машины. На листке было выведено крупно: «\$5000».

— Ага, — кивнул Жора. — Цена, наверное. Дороговато, конечно. Но это его проблемы. Если ему денег не жалко...

— Это он меня во столько оценивает, — проворкотала Нина чуть слышно. — Это не машина цена. Мне.

— Тебе?! — поразился Жора. — Да брось. — Он оглядел Нину так, будто в первый раз видел. — Что, правда, что ли? Ну, это он... — Жора запнулся, с трудом подбирая слова, — мощно переплатил. Круто!

Нина уже не слышала этих слов. Она вошла в зал и взглядом отыскала Диму.

Дима сидел за своим столиком и в упор смотрел на Нину.

— Вставай! — приказала она, подойдя. Господи, как ей хотелось сейчас запустить ему в рожу соусником! Или вот этой салатницей... Собственно, а что мешает?

— Бить будете, графиня? — усмехнулся Дима, словно прочитав ее мысли. — Ваша светлость, я готов стерпеть любые муки.

— Вставай! — повторила Нина сдавленно. Дима встал и поднял вверх руки. Сдаюсь, мол, ваша взяла.

— Идем! — прошипела Нина, кивнув в сторону двери.

— Оружие сдавать? — спросил Дима, похлопал себя по карманам, достал мобильный телефон, потом бумажник и протянул было Нине.

— Иди, иди. — Она снова кивнула на дверь. Дима вздохнул, сунул телефон и бумажник обратно в карманы, сложил руки за спиной, как арестант, и, ссутулившись, повесив голову, пошел.

Публика, с неподдельным интересом наблюдающая за происходящим, одобрительно засмеялась.

— Эт-то есть наш последний, — пропел Дима, коленом открывая дверь, — и решительный бой... С Интернациона-алом... — Он вышел на улицу, провожаемый удивленным взглядом вахтера. — Что-то я, батя, революционные гимны полюбил, — сообщил Дима вахтеру доверительно. — Не к добру... Воспрянет! — пропел он с энтузиазмом. — Род! Людской!

— Твоя машина? — спросила Нина, выходя следом. — Садись и уезжай.

Дима молчал, глядя на нее с какой-то бесшабашной пьяной тоской.

— Когда же ты поймешь наконец, — произнесла Нина тихо, — когда ты поймешь, что я у тебя ни гроша не возьму? Когда?

Димин охранник уже стоял за спиной хозяйина.

— Ты зачем сюда этот агрегат приволок? — со злостью спросила Нина. — Ты, может, пятерых баб работы лишил! А у них у каждой — семейство по лавкам!

— Да? Правда? — Дима почесал затылок и растерянно пробормотал: — Вот об этом я как-то не подумал...

— А когда ты думал-то вообще? Ты когда-нибудь думал о ком-нибудь, кроме себя? О чем-нибудь, кроме своих «бабок»?

— Не хами, — огрызнулся Дима, трезвея на глазах. — Ладно, — добавил он сумрачно. — Слушай, я не хотел тебя обидеть. Не хотел... Давай я тебе просто так денег дам? — предложил он внезапно, с каким-то почти детским простодушием. — Ну, просто так!

— Давай лучше я тебе! — И Нина полезла в карман плаща. — Вот сколько тут... Целковый... Я потом тебе еще наскребу! Я тебе наскребу, только отстань от нас! Исчезни!

— Шеф, поехали. — Владик почти силком затолкал шефа в машину.

Машина рванула с места.

Нина проводила ее взглядом. Перевела дыхание, постояла неподвижно, стараясь успокоиться. Может быть, хоть теперь отстанет? Что еще нужно сделать, что еще нужно сказать, чтобы отстал?

Вечером следующего дня Нина вошла в свою квартиру, волоча за собой сумку на колесах.

В кухне роскошествовало семейство. Нина глянула на пиршественный стол и ахнула. Костя варварски, неумело кромсал ножом ананас. Вовка лопал черную икру прямо из бан-

ки, ложками. Мать вспарывала упаковку с семгой, нарезанной аппетитными ломтиками.

Ирка, восседающая во главе стола, вытряхивала из открытой сумки все новые и новые гастрономические изыски. На стол летели палки саями, банки с оливками, свежая клубника в пейзажных корзиночках...

— Ира! Откуда?! — спросила Нина потрясенно. — Ты ограбила супермаркет?

— Ага! — хохотнул Костя. Он уже расправился с ананасом и вскрывал теперь блок «Ротманса». — И табачный киоск заодно. Я на шухер стоял.

— Нет, правда... Кроме шуток... — Нина внимательно посмотрела на домочадцев. — Откуда это все? На какие шиши?

Домочадцы переглянулись и потупились.

— Просто удачный день был на рынке, — пояснила дочь, поднимая глаза на Нину.

Нина недоверчиво прищурилась. Ирка стоически выдержала материнский взгляд.

— И потом, я куртку свою продала, — добавила дочь, храня на губах ангельскую улыбку. — Ну, кожаную. На фига мне зеленая, цвет не мой... Мамуль, садись, гульнем!

Нина вновь обвела пирующих напряженным взглядом. Ох, не нравилась ей эта великолепная четверка, уминающая за обе-восемь щек балычок и икорку!

— Ладно, я пошла, — сказала она наконец. — Мне сегодня два подъезда мыть, свой и Валькин, она отлеживается...

— Ма, ты завязывай там шваброй махать! — крикнула Ирка ей вслед. — Мы теперь проживем! Нам теперь надолго хватит...

Вернулась Нина домой за полночь. Еле передвигая ноги, доползла до кухни, рухнула на та-

бурет. Размотала косынку — челка прилипла к мокрому лбу, длинная прядь выбилась из узла волос, кое-как склотого на затылке... Господи, сколько седины! Совсем сивая. Сивая, старая баба. Старуха Изергиль.

Ким Бессинджер улыбалась Нине с постера, водруженного Ирккой над обеденным столом. Нина устало взглянула на заокеанскую диву. Еще бы тебе не улыбаться, лапуля. Мне — почти сорок, а тебе — сорок пять, я читала, я помню. Я выгляжу на «полтинник», ты на двадцать девять. У тебя — «Девять с половиной недель», у меня — десять с половиной подъездов... Такая вот арифметика. Каждый вечер ступеньки считаю со шваброй наперевес...

Со стола не убрали, свинтусы, спать завалились... Огрызки фруктов, пустая бутылка из-под «Чинзано» (Костя «уговорил», мать не пьет, Ирка, слава богу, тоже), коробки, банки, грудa конфетных оберток... Откуда у Ирки такие деньги? С чего это она вдруг так раскошелилась? Ирка — особa весьма прижимистая, экономная в тратах, расчетливая, — в Костину родню крестьянскую, привыкшую каждую копеечку считать. С чего бы это? Ну да, она продала свою куртку... А что она крикнула мне вслед? «Нам теперь надолго хватит». Надолго?!

Нина решительно встала. Вышла в прихожую, открыла платяной шкаф. Вот она висит, Иркина кожаная куртка. Даже спрятать ее не потрудились, засунуть куда-нибудь подальше, врет ей в лицо нагло! Так... Куртка на месте. Тогда откуда у Ирки деньги?

Дима. Нина закусила губу, тупо глядя на эту чертову куртку. Это Дима ей деньги дал. Больше никому.

Все. Приехали. Край. Что делать?! Убить ей его, что ли? Дима... Змей-искуситель... Мефисто из новых русских. Мать подкупил, Костю обработал — ладно, это еще можно пережить. Но Ирка! Ирку она ему не отдаст. За дочь он ответит.

Плохо понимая, что делает, Нина содрала куртку с «плечиков», ринулась в комнату дочери. Растолкала мирно спящее, распластанное, великовозрастное свое чадо.

— Ма, ты чего? — Ирка села на постели, сонная, лохматенькая, в коротковатой ситцевой пижамке. — Мне в шесть вставать, ты зачем...

— Это что? — перебила ее Нина гневно, потрясая курткой перед заспанной Иркиной рожицей. — Что ты врешь мне? Откуда у тебя деньги?!

Ирка мрачно молчала. Вовка завозился на соседней постели.

— Это Пупков? — допытывалась Нина. — Это он тебе деньги дал?

— Ну, он! — закричала Ирка. — Он! Он!

— Не ори. — Нина швырнула куртку в угол комнаты. — Вовку разбудишь... Все!

Она метнулась в прихожую. Принялась сдирать с себя рабочую робу, еще не зная, что делает дальше, как поступит, что предпримет. Одно она понимала отчетливо — больше она терпеть не будет. Не будет! Она сейчас что-нибудь придумает... Нужно же его остановить наконец!

— Мама, опомнись! — Ирка выскочила в прихожую. Она была испугана не на шутку. — Мама, что с тобой? Ты куда?

— Как ты его нашла? — Нина уже натягивала плащ. Руки дрожали, пуговицы не лезли в петли. — Как ты нашла Пупкова? Это ты его нашла или он тебя?

— Я, — пролепетала дочь, переминаясь с ноги на ногу. — Он папе номер пейджера оставил. Я ему предложила... — И она замолчала, осекшись на полуслове.

— Что ты ему предложила? — выкрикнула Нина затравленно. — Себя? Меня?

— Свою фамилию! — отчеканила дочь со злым вызовом, переходя от обороны к нападению. — Свой титул! Я тоже Шереметева, между прочим!

— Какая ты Шереметева! — Нина обессиленно привалилась спиной к стене. — Титул... Совок ты, совок! И ты, и я... Титул... Аристократка! Да ты за целковый на задних лапах ходить готова!

— Не за целковый! — возразила Ирка запальчиво. — За пять тысяч баксов.

— Какая разница, — усмехнулась Нина, застегнув наконец последнюю пуговицу на плаще. — Разницы-то никакой.

— Как это никакой? — выкрикнуло Нинино практичное чадо.

Вот он, рынок вещевой, купи подешевле — продай подороже! Как она не хотела, Нина, чтобы дочь становилась лоточницей! Как не хотела, как противилась этому... Не зря!

— Как это — никакой разницы? — повторила Ирка гневно. — Пять тысяч «зелеными»! Да я сегодня у него в офисе...

— Ты там была? — спросила Нина быстро. — А где у него офис?

— В Казарменном. Домик такой лиловый... Турки строили, он меня поводил, все показал, там даже зимний сад есть...

— Тебя в детский сад водить надо — не в зимний. — Нина открыла входную дверь. — Вымахала тетка здоровенная, а мозги — как у пятилетней.

— Мама, ты куда? — Ирка схватила Нину за руку. — Час ночи!

— Пусти! — Нина вырвалась, шагнула за порог и захлопнула за собой дверь.

Она выскочила из подъезда, забежала в соседний. Поднявшись на второй этаж, нажала на конпку звонка. Здесь жила Валентина, Нинина подруга. Звонить ей в час ночи было свинством, конечно: Валентина отлеживалась после аборта, приходила в себя.

— Валь! — Нина стукнула в дверь кулаком. — Валь, это я! Открой!

Дверь открылась. Валентина стояла на пороге, кутаясь в шаль.

— Ты чего? — спросила она утрюмо и посторонилась, пропуская Нину. — Спятила? Второй час.

— Я же знаю — ты не спишь. — Нина попрежнему стояла за порогом. — Дай молоток!

— Сейчас, — кивнула Валентина и исчезла в недрах квартиры.

Валентина обладала редкостным для одинокой бабы качеством: она никогда не лезла в чужую жизнь, никогда не задавала лишних вопросов и никогда ничему не удивлялась. Всякая иная на ее месте как минимум поинтересовалась бы сейчас у Нины, на кой хрен ей молоток в час ночи, не собирается ли она, Нина, шарахнуть им кого-нибудь по темени, а если собирается, то кого и за что.

Валентина была не такая. Валентина была кремень-баба. Жаль, с мужиками ей не везло. Может, потому и не везло, что — кремень. «Была б ты, Валька, помягче, — говорил ей очередной знакомец перед тем, как слинять бесследно, — была б ты попроще, глядишь, и сладили бы...»

— На, — сказала Валентина, вернувшись через минуту и вручая Нине молоток.

— А побольше нет? — Нина скептически оглядела молоток. — Ладно... Дай выпить чего-нибудь...

— Воды? — уточнила Валентина.

— Водки! — рявкнула Нина, засовывая молоток в карман.

Аккуратно выщипанные Валентинины брови медленно поползли вверх. Валентина едва не нарушила многолетнее правило — она удивилась несказанно. Водки Нина не пила сроду. Она вообще не жаловала это занятие. Пара рюмок «сухого» на вечерних долгих женских посиделках — это Нинин «потолок», Нинина доза.

— Сейчас принесу, — вздохнула Валентина, пересилив себя, так и не спросив ни о чем.

Она сбегала в кухню. Вернулась, держа в одной руке чайную чашку, наполненную «Столичной», в другой — блюдце с тремя сухопарными золотисто-пегими шпротинами.

— Я чтоб быстрее — в чашку. Рюмки — в комнате, — пояснила она, протягивая Нине чашку. — Все не пей. Рухнешь.

Нина молча выпила водку и вернула Валентине пустую чашку.

— Мамочки родные! — охнула Валентина, глядя на подругу с состраданием. — Надо мне было в кофейную чашку налить, она поменьше... На, заешь рыбкой.

Нина покачала головой и, повернувшись, стала спускаться по лестнице. Ступени еще не успели высохнуть — поблескивали влажно. Главное — не поскользнуться, не оступиться... Блестят... Еще бы — она сама их тряпкой натирала полчаса тому назад.

Водка подействовала мгновенно и безотказно. В голове шумело, все плыло перед глазами... А что вы хотите? Ночь без сна, устала, как не знаю кто, да нанервничалась, да на пустой желудок...

Нина вышла на улицу. Подошла к кромке тротуара. Ночь. Тусклый свет фонаря. Ни души. Ага, вон какая-то легковушка несется от перекрестка... Нина подняла руку, голосуя.

Шофер притормозил. Она нагнулась к окну. Господи, что она делает? Ночью частногока ловить... Ничего, у нее молоток в кармане. Ей теперь сам черт не брат!

— В центр, — сказала Нина. — На Казарменный.

Дима гнал по ночной Москве, летел на «зеленый», благо, пусто — ни машин, ни людей. Полчаса назад ему позвонила Ирка, Нинина дочь. Крикнула в трубку, плача захлеб:

— Дмитрий Андреич! Это Ира! Ира Шереметева, помните меня? Дмитрий Андреич, мама к вам в офис поехала!

— Зачем? — спросил Дима сипло, растирая сонные глаза. Он только что уснул. В кои-то веки уснул пораньше — день был тяжелый, нервный, они готовились к ярмарке в Братиславе, Дима устал зверски, отрубился без снотворного, и — на тебе!

— Зачем в офис? — повторил он недоуменно. — Там нет никого, кроме охраны.

— Дмитрий Андреич, я не знаю — зачем, она не в себе, она узнала о том, что я у вас была! — прорыдала Ирка в трубку. — У нее истерика!

— У тебя, похоже, тоже, — вздохнул Дима. — Ладно, детка, ты там давай бай-бай. Не хлопай. Я сейчас поеду туда, все улажу.

Теперь он гнал машину по Бульварному кольцу. Он поехал один. Не взял с собой ни охранника, ни шофера.

Гнал на третьей скорости, думал только об одном: где она? Что с ней? Одинокая баба глухой ночью в этом городе... В этом городе, где и днем-то теперь опасно, где и в солнечный полдень на людной улице Бог знает что может с человеком случиться.

Он поймал себя на мысли, что — надо же — он о ней тревожится, будто о родном человеке. Странно... Как это случилось и когда? Чужая женщина, так нелепо втянутая в орбиту его жизни. Чужая женщина, от которой он ни разу человеческого слова не слышал, — только ледяная издевка, только гневная отповедь... Чужая женщина, а вот ведь уже не чужая! Он гонит машину, он торопится, он встревожен не на шутку, он боится за нее, думает о ней...

Вот она! Слава богу... Дима вздохнул с облегчением.

Нина подходила к переулку. Она еще шла по Бульварному, ковыляла на нетвердых ногах.

Дима сбавил скорость. Поехал медленно.

Пригляделся к одинокой путнице внимательно... Выпила она, что ли? Что-то ее то вправо, то влево заносит... Выпила, не иначе. Мало ему Лары, в последние месяцы их недолгого сожительства прикрасившейся к коньяку. И эта куда же...

Нина свернула в переулок. Дима притормозил на перекрестке, провожая Нину внимательным взглядом. Пья-аненькая... Ну, выпила сегодня — это еще не значит, что каждый день попивает. Сегодня у нее повод был. Причина. Побудительный мотив. Ирка. История с Иркой... И, собственно говоря, почему это его занима-

ет, — трезвенница она или нет? Ни в жены, ни в любовницы он ее брать не собирался. Чужая женщина. Вольна поступать так, как ей вздумается...

Нина между тем добрела до его офиса. Остановилась. Обхватила плечи ладонями.

Дима достал мобильный телефон, набрал номер офисной охраны.

— Костров, — сказал Дима в трубку. — Это я опять. Ты ее видишь?.. И меня?.. Ну, умница. Все, не суетись. Все в норме.

Он разговаривал с охранником, не сводя с Нины внимательного взгляда.

Нина подошла к двери офиса. Вынула из кармана молоток и, помедлив, легонько тюкнула им по застекленной двери.

— Дмитрий Андреич, что за цирк? — заорал охранник возмущенно. — Она, блин, стекло раскает, а нам сиди и пялься?

— Костров, тебе что было велено? — спросил Дима миролюбиво. — Давай, включите там телек. Наши с Белоруссией играют.

Он сунул телефон в карман... Нина все еще стояла возле дверей офиса. Дима положил скрещенные руки на руль, уткнулся в них подбородком.

Нина снова шарахнула молотком по двери, на сей раз порешительней, посильнее, — стекло выдержало и этот удар. Стекло было особенное, суперпрочное, уж Дима-то знал.

Нина опустилась на каменный выступ у стены. Молоток положила рядом с собой. Кажется, она плакала. Дима прищурился, всматриваясь: да, Нина ревела, обхватив вздрагивающие плечи руками. Довел бабу, скот... Доигрался.

Дима смотрел на нее со смешанным чувством покаянного стыда, острой жалости, смя-

тения... Он же хотел как лучше! Он всегда хочет как лучше, а кончается все одним и тем же. Они плачут, его женщины («Но это же — не твоя женщина! А, неважно...»), они плачут, и упрекают его во всех смертных грехах, и говорят, что он туп и бессердечен...

Нина тем временем подняла голову, вытерла слезы, взглянула в сторону машины... Ага, увидела его. Узнала. Сейчас и эта будет кричать, что у него нет сердца. Еще и молотком по темени тюкнет, с нее станется. Даром что голубых кровей, норов — как у Салтычихи.

Дима вздохнул, открыл переднюю дверцу и приготовился к неминуемой каре.

Нина подошла к машине вплотную и встала у открытой дверцы, утирая слезы.

— Молоток забыла, — сказал Дима вместо приветствия. — Поди забери. Вещдок Улика.

— И хорошо, что забыла, — зло возразила Нина. — А то не удержалась бы, саданула бы тебя по башке, скотину!

Значит, он был прав. Его предчувствия его не обманули. Некрасовская женщина. Под горячую руку лучше не попадаться. Коня на скаку остановит и череп тебе раскроит.

— Садись, — сказал Дима, хлопнув ладонью по соседнему сиденью. — Прибить ты меня всегда успеешь. Было бы желание!

— Я тебя просила по-хорошему! — выкрикнула Нина, по-прежнему стоя возле машины. — Как с тобой еще? Что тебе еще сказать нужно, чтобы ты... Со мной не вышло, ребенка совращаешь?

— Какого ребенка? — изумился Дима, вылезая из машины. — Окстись!

— Девочке семнадцать лет! Не трогай девочку!

— Так она сама пришла! — возмутился Дима, подходя к Нине. — Я ей денег дал и отправил с миром!

— Сколько ты ей дал? — Нина смотрела на него с бессильной ненавистью. — Сколько? Говори!

— Ну-ка, успокойся! — скомандовал Дима неожиданно жестко.

Он сжал Нинины плечи и встряхнул ее хорошенько. Она притихла. Она отвыкла от... Да нет, какое там — «отвыкла»! Она и не знала никогда, что такое гневная, короткая мужская отповедь, несколько отрывистых быстрых слов, звучащих как приказ... Приказ, которому нельзя не подчиниться.

— Садись в машину. — Дима подтолкнул ее к открытой дверце.

Нина послушно опустилась на переднее сиденье.

— Слезь с газеты! — Он выдернул из-под нее листы. — Газету свою учредили, «Русский лесопромышленник»...

— Владелец заводов, газет, пароходов, мистер Твистер, миллионер, — пробормотала Нина чуть слышно.

Она еще пыталась обороняться, язвить. Для вида, для проформы. Дима был другой, новый, и он ей нравился такой. Она ничего не могла с собой поделать — нравился. Спокойный, властный, немногословный.

— Ну-ка, повернись ко мне! — Он достал из кармана чистейший носовой платок и, положив левую ладонь ей на затылок, правой рукой с зажатым в ней носовым платком принялся стирать с Нининых щек черные разводы потекшей туши.

— Не трогай меня... — сказала Нина жалобно, не предприняв тем не менее ни малейшей попытки вырваться.

— Нужна ты мне, — усмехнулся Дима, осторожно касаясь платком ее скул.

У него были красивые руки. Очень мужские. Крупные, сильные... Без обручального кольца. А, ну да, если он затеял эту историю со сватовством, значит, холост. Собственно говоря, какое ей до этого дело?

— Мистер Твистер, — произнесла Нина устало. — Что тебе от нас надо? Что тебе еще нужно?

Не ответив, он сунул платок в карман и включил зажигание, а через пару минут уже мчал по ночному Бульварному кольцу, молча глядя перед собой.

— Тебе нужно нам всем доказать, что ты — хозяин жизни, а мы — быдло, — продолжала Нина чуть слышно. — Что цена нам — копейка в базарный день. Что ты нас всех купить можешь, оптом и в розницу. Благо, «бабок» у тебя — немерено... Грязных, — добавила она глухо.

— Грязных?! — переспросил Дима и резко затормозил. Нина едва не ахнулась лбом о стекло. — Это почему же грязных, мадам?

— Потому что отмывал, — пробормотала Нина, опасливо покосившись на него. — Что я, не знаю, как вы свои состояния сколачиваете? Все знают. Отмываете грязные деньги.

— Я ничего не отмывал! — заорал Дима, побелев от ярости. — Я вам, мадам, не прачечная! Я просто вовремя начал! Вы еще кармизмом-фридеризмом бедным детям котелки забивали, а я уже свое дело раскручивал! С нуля! Вот этими руками! Плюс Левкин нюх и Левкина оборотистость! Три года как заведенные! Ни сна, ни отдыха...

— Ну так что, пожалеть тебя? — зло прищурилась Нина.

— Ты пожалеешь, — хмыкнул Дима. — Со своей спесью высокородной, с гонором своим, так ему цена.

— Открой дверь! — Нина потянулась к ручке.

Ей было худо — тело сотрясал мелкий озноб, тошнота подступила к горлу. Похмельная муть и истерика, все вместе. Вот не умешь пить — и не пробуй, горе-забуддыга.

— Сиди! — рывкнул Дима, перехватив ее руку. — Куда ты, такая, в три часа ночи? Сиди, я тебя до дома доведу.

— Выпусти меня, мне плохо! — Нина умоляюще посмотрела на него и призналась, помешкав: — Я водку вообще не пью. Хлопнула двести грамм на голодный желудок...

— А-а... — Какое-то время Дима обалдело молчал. — Так это мы сейчас закусим... И запьем.

Он рванул машину с места. Миновали парутройку домов — вот он, ночной магазинчик под нарядной вывеской. Благословенны новые времена, да здравствует дух свободного предпринимательства! Что бы они делали раньше в ночной Москве? Полночи волоклись бы в шереметьевскую ресторацию, потом оставшиеся полночи уламывали неподкупного швейцара... То ли дело теперь, когда на каждом углу, у каждого перекрестка — бар, мини-маркет, казино, ночной ресторан...

— Может, в ресторан? — предложил Дима.

— Нуда. — Она нервно засмеялась. — В мой. В наш. У Жоры глаза на лоб вылезут. Ты — за столик, я — к мойке. Каждому — свое.

— Нет, ну зачем туда-то? Здесь недалеко, на Рождественке, — дивное местечко...

— Дима, — вздохнула Нина. — Предложение, конечно, интересное... Только я ведь плащ на свои опорки надела. В которых я лестницы драю.

С каким-то веселым вызовом она расстегнула пуговицы плаща — мол, смотри, любуйся. Не забывай, с кем имеешь дело. С посудомойкой-уборщицей. Я тебе не Лолитка твоя в прикиде от Диора. Вот моя рабочая роба. Униформа стареющей Золушки, проворонившей все свои балы, упустившей всех своих принцев.

— Я, между прочим, тоже, — хмыкнул Дима, быстро расстегивая пальто, — не для выхода в свет одет. Твоя наследница меня разбудила с воплем: «Скорее! Спасайте маман!...» Нет, ну я не в пижаме, конечно, но все же...

Он был в стареньком «хэбэшном» джемпере и в джинсах.

Они взглянули друг на друга и улыбнулись, не сговариваясь. Сразу все стало проще, легче, свободней.

— Ладно, — сказал Дима. — Сиди, жди меня. Я мигом.

Он вышел из машины и исчез за дверями ночного магазина. Едва дождавшись, пока он скроется, Нина повернула к себе зеркальце заднего обзора. Оглядела себя в нем критически, придирчиво. Черт, ни помады с собой, ни карандаша — глаза подвести... Впрочем, что тут сейчас подводить — заплаканные глаза с припухшими веками? Волосы подколоты кое-как. Она выгатила заколку, пару шпилек — волосы упали на плечи. Все, что у нее осталось от бывлой красы, — густая грива цвета воронова крыла да походка. Умение держать спину. Прямая спина, отменная стать... Порода, господа. Порода!

Может быть, оставить их распушенными? Нина снова оглядела себя в зеркале, повертела головой так и эдак... Густые пряди прямых темных волос... Вроде ничего... Ну, нет! Чтобы он понял,

что она тут для него прихорашивалась? Много чести!

И Нина, решительно подняв волосы вверх, щелкнула заколкой. Старая дура! Еще час назад, дрожа от благородного гнева, шла громить его лавку, а теперь крутит головой у зеркальца, поправляет челку, губы накусывает, чтобы были ярче... Дура. Нужна ты ему! Он сам тебе это сказал.

Дима выскочил из магазина, прижимая к груди пакеты со снедью. Сел в машину, веселый, деловитый. Раскидал пакеты по заднему сиденью, один, самый большой, поставил Нине на колени.

— Давай, — сказал он, заводя мотор, — подкрепляйся. Тебе — как? Тебе лучше?

— Мне лучше, — кивнула Нина, открывая пакет, набитый всякой всячиной. — Это что? Фисташки? А это что за овощи?

— Это фрукты, — рассмеялся Дима. — Забыл, как называются... Помесь фейхоа, авокадо и киви... Дегустируй!

Ей совсем не хотелось есть. Но все это гастрономическое великолепие покупалось для нее, выбиралось им тщательно...

И пока он вез ее ночными московскими улицами, Нина усердно грызла орешки, вскрывала какие-то обертки, разворачивала тончайшие пергаментные кружева, освобождая от них корзинку с засахаренными фруктами.

— Это Вовке... — прошептала она восхищенно. — Можно?

— Вон. — Дима молча кивнул на пакеты, лежащие на заднем сиденье. — Там все это есть... Это для него.

— Спасибо. — Нина взглянула на него благодарно.

Он смотрел прямо, на ночное шоссе. Свет фонаря выхватил из полутьмы его профиль: высо-

кий выпуклый лоб, крупный нос, чуть-чуть приподдернутый вверх, самую малость... И подбородок — крупный, волевой.

Дима повернулся к ней и перехватил ее взгляд. Она вздрогнула и отвернулась. Еще подумает, что она им любитесь! Дудки. Она смотрит в окно.

— Там еще «Мартель», — сказал Дима. — Нашла? И рюмки. Я купил рюмки.

— Я пить не буду, — отрезала Нина.

— Будешь. — Дима притормозил возле кромки тротуара. — Будешь, будешь. И я с тобой выпью.

Он достал бутылку «Мартеля» и коробку с рюмками.

— Давай, как микстуру! — Дима отвинтил крышечку.

Нина наконец повернулась к нему. Он налил коньяку в две рюмки на треть, символически, протянул одну рюмку ей и сказал, улыбнувшись:

— Ну? Тебе не помешает... Давай, по капельке. В лечебных целях. Как рыбий жир.

— Скажешь тоже, рыбий жир, — поморщилась Нина. — Гадость такая!

— Давай! — Дима поднес свою рюмку к Нининой.

Выпили молча.

— Знаешь, — произнес он вдруг негромко. — Я давно хочу тебе объяснить... Нет, не оправдаться! Я ни в чем перед тобой не виноват. В принципе... Но когда ты кричишь: «Новый русский...»

— Я больше не буду, — торопливо вставила Нина.

— Подожди! — Дима досадливо поморщился. — Не перебивай. Я не отрешиваюсь. Новый, так новый. Ничего позорного в этом нет. Никакого криминала. Дело не в этом...

— А в чем? — спросила она тихо.

— Бес его знает! — Дима налил себе еще. Она попыталась отобрать у него бутылку, но он не отдал. Выпил коньяк, повторил задумчиво: — Бес его знает... У меня три магазина, я их ненавижу! Я не тяну это дело, когда надо гнать, гнать, гнать, знать конъюнктуру, не продешевить, не упустить, там схватить, здесь урвать, тому в лапу сунуть, этому... Не вылететь из тележки, в общем...

— Не вышел из тебя новый русский, — вздохнула Нина, подводя итог. — Не выходит. Не получается.

— Пожалуй, — согласился он задумчиво. — Иногда, знаешь, хочется туда, обратно... В начало восьмидесятых...

И он махнул рукой куда-то назад, вбок, в сторону, как будто там, за спящими домами московской рабочей окраины, за осенними деревьями, за промозглой теменью ноябрьской ночи, можно было отыскать эти самые восьмидесятые.

— Я там был нищим. — Дима снова приложился к «Мартелю». Он его уже не в рюмку наливал — глотал из горла попросту, без антимоний. — Я был пацан зеленый, тощий был, ты себе представить не сможешь!

— Тощий? — Она усмехнулась, не поверив. — Ты?

— Я, я... Это я в последние три года поплыл... Разожрался.

— Ты не разожрался, — возразила она искренне, без всякой лести. — Ты заматерел.

— Мерси вам, графиня! — И он приложился губами к ее руке. — Надо же, как вы подобрали, ваше сиятельство. Уже не язвите — комплименты отпускаете.

— Подобреешь с таких-то харчей, — рассмеялась Нина, кивнув на пакеты.

— А-а, неподкупная вы наша, вот он, ключ к вашему сердцу.

— Фисташки, — подсказала она, смеясь.

— Фисташки... — Дима снова потянулся к бутылке, но Нина отняла и завинтила крышечку. — Я был тощий, кудрявый...

— Да ну? — изумилась Нина. — Где кудри?

— Срезал. — Дима провел ладонью по коротко стриженным волосам. — Увы, мон ами... Не по имиджу. Где ты видела мистера Твистера в кудрях? Твистеру полагается быть или лысым, или «под бокс».

— «Под бокс», — согласилась Нина, и они расхохотались.

Странное дело: они смеялись и говорили взахлеб, перебивая друг друга, будто были знакомы сто лет, почти родные. Словно не было ни этого дурацкого сватовства, ни выяснения отношений, ни ее слез, ни его хамства.

— Ну дай договорить! Довспоминать! — потребовал Дима, отсмеявшись. — Да-а... Восемьдесят пятый, скажем... Давние времена! Оклад сто двадцать тугриков, и — сиди, день напролет пыхти над оптимальной формой сливного бачка... Одной рукой унитаз рисуй, другой — «Лолиту» листай под столом в ксерокопии.

— Ладно врать-то, — вздохнула Нина, вспомнив о его Лолите. Все-таки не удержалась, подпустила дегтю в мед его сладостных воспоминаний. — Лиши тебя сейчас твоего капитальца... Удавишься!

— Язва! — Дима покачал головой. — Нет что бы дать мужику понастольгировать в кайф... Стерва! — добавил он весело. — Нет, графиня, мы никогда с вами не договоримся. Классовые противоречия. Безнадега. Ладно, подброшу вас к во-

ротам замка, хоть вы того и не стоите... Я — отходчивый. Я — великодушный.

— Ку-уда? — Нина открыла дверцу машины. — Налакался — и поехали?! Это — без меня. Благо, почти довез. Тут идти — пол-остановки.

Она вышла из машины, захлопнув за собой дверцу, и зябко поежилась, потом, не оглядываясь, помахала Диме рукой.

Она шла вперед, к дому, и знала, что он медленно едет следом. Провожает. Смотрит на нее. Она знала это — и шла, украдкой поглядывая на свое отражение в черных ночных витринах. Спина, походка, поворот головы... Все должно быть на уровне. Он сейчас на нее смотрит!

Не выдержав, Нина оглянулась. М-да... Поделом тебе, старая курица. Диминой машины и след простыл. Должно быть, свернул в переулок на перекрестке. Идешь тут, плывешь, как пава, не сешь себя, как манекенщица на подиуме, а он уехал давно.

Нина подавила вздох, пошла вперед быстрее, с опаской поглядывая по сторонам, — третий час ночи, район заводской, разбойничий.

Шорох шин заставил ее оглянуться. Диминой машина вылетела из соседнего переулочка и, поравнявшись с Ниной, остановилась.

Нина подошла ближе и охнула чуть слышно, поднеся руку к губам. На крыше машины лежала роза. Роскошная роза на длинном стебле. Темно-красная, свежайшая, будто ее срезали только что.

Нина замороженно смотрела на розу. Где он ее достал? За какие-то полчаса, глухой ночью, здесь, на московской окраине, где и днем-то такого чуда, такой красоты оранжерейной не сыщешь?

Дима выбрался из машины и встал возле нее. Он молчал. И Нина молчала. Они стояли друг против друга, их разделяла машина и роза, лежащая на ней.

Нина наконец протянула к ней руку, взяла осторожно и коснулась губами, щекой нежнейших лепестков. Взглянула на Диму.

Дима улыбался. Он был счастлив. Он сиял. Еще бы! Такой трофей, ему опять подфартило сказочно... Сказочно. Вот он на кого похож. Она подумала о том, что он похож сейчас на Ивана-дурака. На сказочного Иванушку, добывшего для своей королевы (графини! Ну, да разница невеликая...) заветный ларец с камнями драгоценными и золотом.

Он вообще похож на Ивана-дурака. Русоволосый, светлоглазый, с носом своим чуть приподнятым, простодушный и хитрованистый, удачливый и прокалывающийся на ерунде, иногда — недалекий, почти туповатый, иногда — умудренный, просекающий самую суть.

— Вот мой дом, — сказала Нина тихо. — Я уже пришла. Поезжай.

— Я не уеду, пока ты в подъезд не войдешь, — ответил Дима. — Ты иди. Я тебя провожу... взглядом...

Облаченная в робу, с ведрами в руках, Нина спустилась на несколько пролетов. Какая-то сволочь заплевала всю лестницу шелухой от семечек. Сейчас она, Нина, будет все это отмывать-отскабливать. Еще одна порция шелухи... Что же это за гнида такая? Поймаю — убью.

Она спустилась на один лестничный пролет. И обомлела.

Четыре вьетнамца в одинаковых комбинезонах цвета хаки уже тащили наверх ведра и швабры, бодро переговариваясь между собой на птичьем своем языке.

Пролопотав что-то почтительно-приветственное, они отобрали у изумленной Нины ее ведро.

Внизу, у дверей парадного, облокотившись о перила, стоял Дима. Под наброшенным на Димины плечи плащом Нина рассмотрела смокинг, ослепительно белую сорочку и щеголеватую «бабочку».

— Простите меня, ваше сиятельство. — И Дима склонил голову в учтивом полупоклоне. Выпрямившись, добавил, весело скалясь: — Я без доклада. Нарушил светский этикет, каюсь.

— Ну, хватит дурака валять, — рассмеялась Нина.

Она была ему рада и не скрывала этого. Она уже привыкла к его внезапным появлениям. Дима возникал на ее пути невесть откуда, как черт из табакерки, — веселый, шумный, с очередным сюрпризом. И, слава богу, он больше не пытался ее купить. Ее или ее злосчастный титул — не важно.

— Действительно, хватит, — согласился Дима и посмотрел на часы. — Давай по-быстрому. Опаздываем.

— Куда? — спросила Нина удивленно.

— В Дворянское собрание, — пояснил Дима деловито. — На раут.

— А лестница?

— Мальчишки помогут. Я полотеров нанял, ты же видела! Поехали, поехали! — И он пошел к дверям, нетерпеливо помахав ей рукой: мол, поторапливайся.

— Я пойду переоденусь, — пробормотала Нина, теребя свою рабочую униформу и пятясь назад, — домашних предупрежу...

— Мальчики предупредят! — отрезал Дима, открыв дверь парадного. — Поехали. Прикид я тебе организую.

— Зачем же организовывать? — возразила Нина неуверенно. — У меня есть кое-что. Юбка джинсовая... Пиджак... Правда, он скорее летний...

— Мадам! — заметил Дима строго. — Это вам не вечер встречи культпросветработников. Это Дворянское собрание.

— Я не пойду, — сказала Нина, с ужасом глядя на ярко освещенные витрины магазина, у входа в который Дима притормозил. — Куда я в таком виде? Чтобы все пальцем тыкали?

Это был один из тех магазинов, которые она ненавидела. Ненавидела — слишком сильно сказано. Недолюбливала. Обходила стороной. А уж если свернуть было некуда, Нина пробегала мимо, отводя взгляд от витрин этих шикарных бутиков, от этих манекенов с пустыми глазницами и скорбно поджатыми губами, от их роскошных одеяний.

Роскошных, стильных, суперклассных! Посмотришь и вспомнишь волей-неволей, что на тебе самой сейчас — юбка из букле, купленная еще в эпоху развитого социализма. Какое там — букле! Все повитерлось уже, одна сплошная плешь. И кофточку за Ирккой донашиваю. Чистая шерсть. «Садится» после каждой стирки. Поскольку стирок было — не счесть, кофточка сия скоро сожмется до размеров подгузника.

Так что лучше на эти витрины не смотреть. Как будто их нет вовсе. Нет этих витрин, нет этих

шмоток офигительных, нет этих баб, которые носят их запросто, непринужденно-небрежно, на всяких там приемах-пати-тусовках-подтанцовках.

— Я не пойду. — Она перевела взгляд на Диму. — Ты сам мне купи что-нибудь, на свой вкус.

— А переодеваться ты где будешь? В багажнике? — спросил он весело, вышел из машины и открыл дверцу с Нининой стороны. — Это же мой магазин, дуреха! Чего ты дергаешься?! Ты же со мной! Они тут все перед тобой навытяжку стоять будут.

— Твой? — поразилась Нина, выбираясь из машины. — Так ты не только мебелью торгуешь?

— Мой, мой. — И Дима пинком открыл дверь под затейливой вывеской.

Нина вошла вслед за ним в зал, залитый слепящим, как ей показалось, светом.

Зеркала, зеркала, зеркала... Кронштейны, стоящие рядами. Тончайший кашемир, кожа, матовый блеск шелков, мягкие уютные складки велюра... А вон — меха... Да какие! Бижутерия... Парфюмы... Обувь...

Нина затравленно оглядывалась по сторонам, хоронясь за Диминым широким плечом.

— Нет! — Он вытолкнул ее вперед, командовал зычно, по-хозяйски: — Детки, даю вам двадцать минут на упаковку вот этой... леди.

Детки, хорошенькие продавщицы, долгоногие, молоденькие, тоненькие, в фирменных костюмчиках, взглянули на Нину и на мгновение их холеные, умело подкрашенные мордочки вытянулись от изумления.

Нина стояла под обстрелом изумленно-насмешливых взглядов, холодея от унижения и стыда.

— Чего пялимся? — Дима грозно оглядел своих пташек. — Вспомнить не можем, где мы ее видели? Это актриса, детки. Я ее прямо со съемок умыкнул. Она там в первой серии полотерша, а во второй — звезда Бродвея!

— О-ой! — защебетали детки, сгрудившись вокруг Нины, рассматривая ее жадно. — Правда?.. Так вы — прямо из кадра?.. Это у вас... Как это... Реквизит?

Нина благодарно улыбнулась Диме.

— А мы с тобой какую серию играем? Первую? — спросила она его негромко. — И вторая тоже будет?

— А как же, — пробормотал Дима. — Будет тебе и Бродвей, и Дворянское собрание, и небо в алмазах... Так, детки! — Он повысил голос, похлопал в ладоши. — Быстро, быстро, подсутились! Чего-нибудь понаряднее — у нас прием.

Щебеча вразнобой, продавщицы потащили Нину мимо сказочной красы одеяний, снимая с кронштейна «плечики» костюмами и платьями всех фасонов и расцветок.

У Нины рябило в глазах, она не слишком вслушивалась в хор голосов, предлагавших ей обратить внимание вот на эту вещичку... Ваш цвет... Или — вот эту... Изюминка сезона... На осеннем показе в Париже... А может быть, вот это платье?..

— Да, — кивала Нина вымученно, — да, может быть... Конечно...

В голове шумело. Этот нестерпимый, слепящий свет... Просто она не выпалась после ночной смены, глаза болят. А где Дима? Она встревоженно огляделась.

— Дмитрий Андреевич ждет вас в машине. — Продавщицы улыбались предупредительно, мягко. — Так что вы выбрали?

— Вот это, — сказала Нина, беря первое из того, что попало ей в руки.

— Замечательно! — заверещали феи Диминого бутика. — У вас прекрасный вкус!

Нину препроводили в примерочную. Там она посмотрелась в зеркало. Серое измученное лицо, круги под глазами, бесформенная роба. Да-а... Можно себе представить, как они шушукуются там, за плотно задвинутыми шторами, посмеиваются, перешептываются: «Боже, кого он привел? Где он ее откопал вообще? На какой свалке? Звезда Бродвея...»

Ну и черт с ними. Нина стянула с себя робу. Сняла с «плечиков» длинный приталенный жакет, короткую юбку. Ничего особенного вроде бы... Взглянула на ценник.. Мамочка родная! Целое состояние, страшно надевать.

— Да! — кричал Дима, сидя в машине, держа возле уха трубку мобильного телефона. — Да, Лева, я на этом настаиваю! Какие партнерские отношения? Какие у меня с ним теперь могут быть партнерские отношения? Жулье! Наперсточник! Да, так ему и передай! Я разрываю контракт в одностороннем порядке!..

Он повернул голову влево — и осекся.

Нина вышла из магазина. Нина?! Он присмотрелся недоверчиво: да, это была она. Красивая женщина. Стройная, подтянутая. Костюм сидел на ней идеально.

— Лева, — сказал Дима, опомнившись, — Лева, я тебе перезвоню.

Нина шла к машине, медленно и осторожно, словно по минному полю. Качнулась все-таки, едва на ногах устояла, успев опереться ладонью о капот.

— Отвыкла! — пояснила она, усаживаясь рядом с ним на переднем сиденье. — Очень вы-

сокие каблукки... Видишь, какие «шпильки»? Отвыкла на высоких каблуках ходить.

Дима осторожно скосил глаза на ее ноги. Она продемонстрировала ему свои туфли, роскошную обнову, и — тем самым — свои ноги. Совершенно простодушно, без всякого тайного умысла.

Дима задержал взгляд. У нее были красивые ноги, то, что называется «точеные». Высокий подъем, узкие щиколотки, округлой, почти идеальной формы колени. Ну да, порода... Гены. Узкая кость.

— К цирюльнику теперь? — предложил он наконец нарочито буднично, боясь, что она угадает, поймет, почему он молчал так долго. — Причесочку тебе соорудим. К Звереву? У меня там свой мастер.

И он рванул машину с места, стараясь не смотреть на нее, на ее ноги, колени, обтянутые поскверкивающей тонкой лайкрой.

— Посмотри, какая сумочка! — Нина показала ему маленькую стильную сумочку. — А какие перчатки! — Она стянула перчатку с узкой маленькой руки.

Она сияла, лучилась от счастья, ей хотелось, чтобы он разделил с ней ее радость, одобрил ее обновы...

Дима снова быстро взглянул на нее — изучающе, при этом преодолевая какую-то страшную неловкость, почти робость. Он словно знакомился с Ниной заново. Она была другая. Новая. Она была — женщина. Кокетливая, легкая, счастливая, уверенная в себе... Как немного нужно для того, чтобы женщина почувствовала себя женщиной! Как много, как много для этого нужно...

— Приехали, — сказал он, въезжая на платную стоянку.

— Это салон Зверева? — спросила Нина потрясенно. — Я читала... Это же страшно дорого, Дима! Я уж не говорю о костюме... И обувь, и сумочка, и парфюм...

— Пустяки. — Он улыбнулся ей. — Тут вообще-то запись за месяц... Но я сейчас позвоню, тебя примут.

— Дима, — Нина перехватила его руку, потянувшуюся в карман, за телефоном. — Я понимаю... — Она уже не улыбалась, а смотрела на него с грустноватой нежностью. — Ты сегодня занимаешься благотворительностью. Гуманитарная помощь. Для малоимущих. Для остро нуждающихся. Ленд-лиз...

Так, сейчас начнется. Дима поморщился. Сейчас начнется опять. Только-только расслабилась, помягчала, усмирила свою гордыню, на нормальную бабу стала похожа — ан нет. Опять — ехидство, опять — подколы...

Если бы он взглянул на нее сейчас, увидел ее глаза, светящиеся от благодарной нежности!

— Лапуля, — сказал он, не глядя на Нину, набирая номер своего мастера. — Я не альтруист. Я человек практический. На этот прием пускают только родовитых особ и тех, кто пришел с ними. Ты — мой пропуск, только и всего. Там будет мебельный магнат из штата Юта. Ты меня представишь. Веня! — закричал он в трубку. — Веня, это я... Узнал? Пьер работает сегодня? Мне тут одну барышню причесать-припудрить...

Он взглянул на Нину — она поскучилась. Поверила про магната из Юты, дурочка. Какой там магнат, никаких магнатов, никакой корысти... Дима просто хотел устроить ей праздник. Вывести в свет свою Золушку. Свою? Свою. Уже свою. Не чужую.

Нина сидела в парикмахерском кресле, прикрыв глаза. Бессонная ночь и усталость давали о себе знать. Красавчик парикмахер колдовал над Нининой полуседой гривой. Фен жужжал мерно, убаюкивая...

Нина уронила голову на грудь. Вздрогнула, встряхнулась — господи, так и задремать недолго! Вот будет конфуз...

— Седины много, — вздохнул парикмахер. — Ах, как много седины... Вот придете ко мне в среду...

Ее снова повело в дрему, в сладостную, спасительную дремоту. Такое уютное мягкое кресло... Она наконец отдыхает... Отдыхает...

— Что с вами?

Нина встрепенулась. Открыла глаза.

— Вы засыпаете, похоже? — Парикмахер смотрел на нее с удивленной улыбкой. Он уже выключил фен и теперь держал в руке баллончик с лаком.

— Я не выпалась сегодня, простите, — пробормотала Нина, выпрямляясь в кресле.

— Понима-аю, — протянул Димин цирюльник с пошловатой многозначительной ухмылкой. — О, как я вас понимаю!

«Что ты там понимаешь, кретин? — подумала она про себя невесело. — О чем ты подумал? Знал бы ты, где я провожу свои ночи. Где, с кем и как. В посудомоечной среди таких же поденщиц, как и я сама».

Она вышла из салона, подошла к стоянке, придерживая пальцами свою гриву, уложенную Диминим парикмахером с изрядной фантазией и мастерством.

Дима выскочил из машины, открыл перед Ниной дверцу.

— Я лучше на заднее. — Она улыбнулась ему просительно. — Подремлю, пока едем.

Дима молча открыл заднюю дверцу, рассматривая Нину исподтишка.

Она повернулась к нему, прежде чем сесть в машину. Красивая женщина! Какая красивая, кто бы мог подумать!

— Он меня немножко подкрасил, — сказала Нина смущенно, все еще придерживая пальцами затейливо уложенные, поднятые вверх пряди. — Глаза подвел, губы... Как это называется? Визаж?

— Что ты в них вцепилась? — рассмеялся Дима вместо ответа, осторожно отводя Нинины руки от ее волос.

— Так ветер! Видишь, какой ветер? Такая прическа, жалко ее терять.

Дима все еще держал ее руки в своих ладонях. Она не отнимала рук. Она, не терпящая чужих прикосновений, даже Костиных — с некоторых пор... Еще недавно ей казалось — она вымерзла изнутри. Ничего не осталось, никаких надежд, никаких мечтаний, кроме желания выспаться. Спать неделю, не просыпаясь. Все, предел желаний. Больше она ничего не хочет. Женщина в ней давно умерла. Так ей казалось еще совсем недавно...

— Поехали? — спросила она наконец и осторожно высвободила свои пальцы из его руки. — Я подремлю... — Она устроилась поудобнее на заднем сиденье, откинув голову назад, стараясь при этом не повредить прическу.

Дима молча кивнул. Он все понял верно. Все оценил: ее взгляд, ее смущение, тревогу и радость.

Он и сам был в смятении. Он привык иметь дело с другими женщинами. Они были разные — добрые и злые, сумасбродные и покладив-

стые, умные и не очень. Но с ними было проще. Он почти всегда знал, что и когда им сказать, как завоевать, как удержать при себе и как с ними расстаться. Они были разными, его женщины, но они были предсказуемыми. Предсказуемые — вот верное слово. Он заранее знал, что они сделают в следующий момент.

А Нина? Поди попробуй угадай, что она выкинет через минуту! Что скажет, как поступит. Стра-анное создание... То иголки выпустит, как еж, то вдруг — мягче воска.

Он притормозил у цветочной лавки, оглянувшись назад, — Нина сидела с закрытыми глазами, блаженно улыбаясь.

— Эй! — окликнул он ее негромко. — Спишь, что ли?

Она покачала головой, не открывая глаз.

— Я сейчас. — Он выбрался из машины, на ходу доставая бумажник.

Вошел в магазин, выбрал розы, темно-красные, того же сорта, что и роза, которую несколько дней назад он положил на крышу своей машины.

— Сколько вам? — Молоденькая продавщица улыбнулась ему кокетливо. — Пять? Семь?

— Семнадцать. А как называется этот сорт?

— «Королева Марго». — Она доставала розы быстро и ловко, не боясь уколоться.

— «Королева Марго»? — переспросил Дима, отсчитывая деньги. — В честь книжки, что ли? Чего так называли невесело? Им же там всем котелки посшибали с плеч в итоге...

— Зато какая любовь была, — вздохнула продавщица, заворачивая букет в целлофан. — Настоящая любовь всегда плохо кончается.

— Вам, детка, не цветы продавать — трактаты строгать по философии, — хмыкнул Дима,

идя к дверям. — Ладно, пойду представлю «Королеву» графине.

Он забрался в машину, сел за руль и повернулся к Нине.

Она спала. Безмятежно и крепко. Сидела, откинувшись на спинку сиденья, чуть свесив голову набок.

— Эй! — Дима легонько похлопал ее по руке.

Нина даже не шевельнулась. Да-а...

Он ехал по вечерней Москве, поглядывая в зеркальце на спящую Нину. Полосы неоновых света ползли по ее лицу, она полулежала-полусидела в неловкой, забавной позе, свесив голову на плечо.

— Графиня! — окликнул ее Дима, подъезжая к ярко освещенному особняку. — Подъем!

Какое там... Пушками не разбудишь!

Дима с тоской смотрел на подруливающие к особняку авто с дипломатическими номерами, на нарядных, ухоженных дам («Моя не хуже!») и их спутников, идущих к парадному входу. Какого-то седенького старичка везли на инвалидной каталке. «Осколок империи! — Дима усмехнулся про себя. — Еще Керенскому поди лапку жал... Сто лет в обед, а туда же — сигара в зубах. Силен!...»

Из чрева белого «Линкольна» выскочил и резво двинулся к ступеням крыльца, небрежно кивая то вправо, то влево, знаменитый кинорежиссер, миссионер, спаситель Отечества, сердцеяд, душевед...

Дима подавил вздох сожаления, провожая любимца муз и баловня судьбы восхищенным взглядом. Хорош! Поседел, похудел, барственен, вальяжен... Был бы шанс познакомиться, если бы... Дима оглянулся назад. Если бы не его Спящая красавица.

Будить ее Дима не решался. Может быть, впервые он понял, оценил в полной мере, как она там устает, ломаясь на своих десяти работах, как выматывается...

Она спала, запрокинув голову, дыша ровно и чуть слышно, трогательно, по-детски сложив руки на коленях. Дима снова взглянул на особняк. Толпа перед домом стремительно редела.

Что ж, делать нечего. Уезжать? Пожалуй... Это называется — вывел девушку в свет. «Первый бал Наташи». Дима повернул голову — спит как сурок. Ладно, хоть приодел ее чуть-чуть...

Он лихо рванул машину с места, развернулся и покатиł прочь от оплота русского дворянства. Окончен бал, погасли свечи. Первый бал — комом, господа. Увы, увы...

Он подъехал к Нининому дому. Глянул на часы — десять вечера. Глянул на Нину — спит.

Тогда Дима сбросил плащ, потом, подумав, снял и пиджак. Вылез из машины и, открыв заднюю дверцу, обустроил походный ночлег своей спутницы с максимальным комфортом: он приподнял ее и уложил на сиденье так, чтобы она могла вытянуть ноги.

Нина пробормотала что-то нечленораздельное, так и не проснувшись. Она была совсем легонькая, почти бесплотная, ему казалось, что десятилетнего ребенка он поднял бы с большим усилием.

Дима подложил Нине под голову свернутый в рулончик пиджак, на секунду коснувшись рукой ее теплой щеки, мягких, уже порядком подрастрепавшихся (знал бы Димин цирюльник, сколь тщетными оказались его старания!) волос...

Нина спала безмятежно и крепко. Дима укрыл ее своим плащом, заботливо подоткнув его

со всех сторон. Какое-то время он смотрел на нее, спящую, с грустной нежностью, потом забрался к себе, на переднее сиденье, зевнул, снова взглянул на часы, перевел взгляд на Нинин подъезд.

Ее незадачливый благоверный, как его... Коля? Костя? Да, Костя... Ее муженек юродивый выскочил из подъезда и ринулся к Диминой машине, придерживая у горла старушечью вязаную кофту, наброшенную на узкие вислые плечи.

Дима выбрался из машины прежде, чем Костя успел подскочить к ней.

— Где она? — заорал Костя, налетев на Диму, словно растрепанный воробей. Он был смешон и жалок в своем праведном гневе — суетливый, шумный, в этой кофте бабьей, расстегнутой. — Где она? — повторил он, задыхаясь.

— Не ори. — Дима преградил ему путь. — Она здесь. Спит. Не ори, разбудишь.

— Спит?! — переспросил Костя потрясенно. — Спит? А почему... — Он задохнулся и замолчал.

На него больно было смотреть. Диме всегда было больно смотреть на человека униженного, смятого, и он отвел глаза.

— Почему она спит? — допытывался Костя с каким-то жалким упорством отчаяния. — Вы что... Вы... Почему она заснула?

— Потому что недосыпает! Хронически! — рявкнул Дима ненавидяще. — Вот почему!

— А! — сказал Костя с видимым облегчением.

— Потому что заездили бабу! — шепотом орал Дима, отталкивая Костю подальше от машины, к подъезду. — Воду на ней возите! Всем семейством! Дай ей поспать хоть раз в жизни, — добавил он уже устало. — Иди отсюда... Пусть спит. Я покараую.

— Вот что... — пробормотал Костя, замолчал и поднял на Диму глаза. Дима стоял перед ним — лет на десять моложе, на две головы выше... Молодой, косая сажень — бабам, наверное, нравится... Денег — немерено, неглуп вроде бы... Зачем она ему? Костя растерянно взглянул на машину. Его жена спала, свернувшись калачиком на заднем сиденье, заботливо укрытая плащом. Укрыл, поди ж ты... Сам стоит на осеннем ветру в рубашечке, ежится зябко.

Тут, похоже, серьезнее, чем можно было бы ожидать. Зачем она ему? Ему не фамилия нужна. Или — не только фамилия. Захочет ее увести — уведет в два счета. Да нет, Нинка — не такая, Нинка — святоша, праведница... Она и не изменила-то ему, Косте, ни разу. И все же, все же...

— Вот что, — повторил Костя глухо. — Отдай мне рукопись. Не надо ничего печатать. Без тебя обойдусь. Я сам.

— Да ну? — хмыкнул Дима с недоброй усмешкой. — Сам? А что ты сам можешь-то? А? Ты бабу свою, семью свою куском хлеба обеспечить не можешь...

— Это не твое дело! — выкрикнул Костя затравленно.

— Руки-ноги — на месте, не инвалид, песок из тебя вроде еще не сыпется... Иди вагоны разгружай! Ищи работу, дай ей передохнуть элементарно, — говорил Дима возбужденно, тесня Костю к дверям подъезда.

— Найду, — кивал Костя, глядя на него с бесильной яростью и пятясь.

— Ищи!

— Найду, не беспокойся! А ты — стинь! Понял?

— Это уж мое дело. — Дима оттолкнул его к подъезду, захлопнул дверь и прижался к ней спиной, не давая Косте возможности выйти.

Костя молотил в дверь кулаками, пинал ее ногами и сипло вопил:

— Открой! Открой, с-скотина!

Диму прошиб нервный смех. Более дурацкой сцены трудно себе вообразить.

Он, Дима Пупков, владелец заводов, газет, паровозов, стоит в замызганном дворике московской окраины, закрывая спиной дверь старой «хрущобы», дрожащую от ударов ног какого-то полуспятившего люмпена...

Дима отошел в сторону — дверь распахнулась, люмпен вылетел на улицу и, не удержав равновесия, упал в грязь.

— Что ты с ним делаешь?! Не трогай его!

Они оба, как по команде, повернули головы на крик. Нина, только что выскочившая из машины, бежала к ним на своих высоких «шпильках». Подвернула ногу, сбросила туфли, ни секунды не мешкая.

— Не трогай его! — крикнула она снова отчаянно.

Костя поднялся с грязного асфальта, растирая ушибленное бедро. Дима сделал шаг навстречу Нине. Кого из них она защищает-то? Которого из двух?

Нина подбежала к мужу, спросила испуганно:

— Он тебя ударил? Нет? Ты не ушибся?

Понятно... Дима невесело усмехнулся. Она защищает мужа. Вот они, бабы... Ты ей накупаешь дорогого шмотья, везешь ее, блин, на работу... А она над мужиком своим убогим дрожит, пылинки с него сдувает. Загадочный русский характер, господи! Рашен вумен... Ноу комментс.

— Ты его бил? — Нина повернулась к Диме. Она еще не проснулась толком — заспанная, перепуганная, плохо соображающая, что здесь происходит.

Дима молча пошел к машине, подобрав на ходу сброшенные туфли. Нина увидела туфли, вспомнила и проснулась наконец.

— Господи, я заснула, — пробормотала она. — Костя... — Она повернулась к мужу. — Костя, иди домой. Я сейчас... Я сейчас приду...

— Не ходи босиком! — Костя все еще отряхивал брюки от грязи.

— Да ладно! — отмахнулась она, идя к машине. — Дима, как же я уснула?

— Молча. — Он протянул ей туфли. — Надевай.

— Проколола я тебя с этим магнатом, — грустно усмехнулась она, одной рукой опершись на его ладонь, другой надевая туфлю.

— Можно поехать. — Дима взглянул на часы. — Успеем. Как раз к жратве успеем, к фуршету.

— Нет, Дима. — Она покачала головой и посмотрела на него с какой-то странной улыбкой, печальной и спокойной.

— Я просто хотел, чтобы ты немножко развеялась. — Он достал из машины свой свернутый в рулон пиджак, развернул его, надел. Замерз порядком. — Хотел, чтобы ты отдохнула. Развлеклась как-то...

— Меня не надо развлекать, Дима. — Глаза ее наполнились слезами. Она говорила негромко, медленно, стараясь не разреветься. — Мне ничего не нужно. Я ничего не хочу... Вот эти тряпки...

Она коснулась рукой своего шикарного жакета, потом дотронулась до полуразрушенной прически.

— Тряпки, массажи-макияжи, флирты... Это для нормальных баб. А я не баба! Я лошадь лошадья! Тягловая сила!

Слезы уже лились вовсю, она вытирала их кончиками пальцев, говоря с усилием:

— У меня одно желание, Дима, одно всегда и везде — выспаться! Выспаться, больше я ничего не хочу..

Дима взглянул поверх ее головы на Костю. Тот стоял у дверей подъезда, ждал ее, не уходил. Дима глянул еще выше — кое-где у окон стояли люди, женщины в основном, и с живейшим интересом следили за происходящим. Еще бы — бесплатная развлекуха. Еще одна серия «Санта-Барбары». Чем не «мыльная опера» — муж, жена, потенциальный любовник. Слезы, крики, новому русскому указывают на дверь...

— Я поехал, — сказал он сухо.

— Я тебе завтра костюм верну. — Нина стояла возле машины, глядя, как Дима садится за руль. — Он очень красивый, спасибо, но мне в нем все равно некуда пойти... Мне в моей робе как-то привычнее. Дай мне ее, пожалуйста.

— Ты ее в салоне забыла, — буркнул Дима, поднимая с заднего сиденья сумочку и перчатки. — Держи.

Она покачала головой.

— Держи! — повторил он почти зло и всучил ей сумочку и перчатки. — Это подарок. Подарки не принято обсуждать. Тем более — от них отказываться. Графиня, а в правилах этикета — ни бум-бум. Отойди в сторону!

Нина послушно отошла, прижимая к груди подарки.

Уже выехав со двора и вырулив на ночную улицу, Дима обнаружил, что забыл про цветы. Розы лежали рядом с ним, на переднем сиденье. Семнадцать штук. Темно-красные, почти черные сейчас, в полумраке. Прозрачный целлофан

поблескивал, искрился... Красивые розы. Странное название — «Королева Марго».

— Я хочу вернуть этот костюм обратно.

— Простите, но я не очень вас понимаю... — Продавщица из Диминого салона смотрела на Нину недоуменно. — Он вам не нравится? Что-нибудь не так? У нас — свое ателье, мы можем подогнать его по фигуре. Хотя он сидит на вас идеально, я помню...

— Я просто хочу вернуть его, — сказала Нина устало, вручая милашке-продавщице пакет с Диминым подарком. — Там сумочка, туфли... Там все.

— Минутку. — Продавщица улыбнулась Нине дежурно и отошла.

Нина успела заметить, как она сняла телефонную трубку, торопливо набрала номер, сделав товаркам знак рукой — мол, обслужите посетительницу.

Еще минута — красотки в униформах обступили Нину, и все началось по новой: птичий щебет заискивающих голосов, карамельные улыбки, настоятельные просьбы примерить вот это, обратить внимание на то...

— Я тороплюсь, простите! — Нина поморщилась. — Я больше ничего не буду мерить. Я вас очень прошу, девочки: я вчера, в спешке... — Она замялась. — Я оставила здесь свою... рабочую одежду. Если вы ее не выбросили...

Черт, все-таки она покраснела. Щеки предательски вспыхнули.

— Я вас очень прошу, верните ее мне, — говорила Нина с усилием.

«Рабочая одежда»? Это такое что-то... брезентовое? Типа комбинезона? Или — ватник? Вы на стройке работаете? Крановщица?

Они сохраняли абсолютную невозмутимость, юные стервы. Они издевались над ней, сохраняя вежливые улыбки на гладких ухоженных рожицах.

Пытка. Надо вытерпеть. Она и не такое умела терпеть.

— А-а... Ну да, вы же — актриса... Дмитрий Андреич говорил... Рита, где эта... спецовка? Ее в костюмерную нужно вернуть, по всей видимости...

Потом они долго, с величайшим тщанием, укладывали Нинину робу рукавчик к рукавчику. Все было уложено в фирменный пакет, завернуто, запечатано. Сверху, садистки, сунули свой рекламный проспектик с яркими фотками моделей, демонстрирующих фирменные наряды.

Нина молча следила за всеми этими издевательскими манипуляциями. За что они ненавидели ее так? Хозяйские шавки, они мстили ей сегодня за то, что вчера вынуждены были прогибать перед ней спины.

Она взяла пакет и обвела их спокойным, невозмутимым взглядом. Держись, Нина, держись! Удостоила их вежливым прощальным кивком и двинулась к дверям.

Двери открылись перед ней, прежде чем она протянула к ним руку — автоматика, все, как в лучших домах.

Нина вышла на улицу. Чья-то машина притормозила у входа в магазин. Хорошенькая молодая женщина выскочила из авто и кинулась к дверям магазина, едва не сбив Нину с ног... Лара!

— Здравствуйте, — сказала Нина.

Лара взглянула на нее изумленно:

— Мы разве знакомы?

Нина не успела ответить — Лара ринулась в салон.

Нина проводила ее взглядом и двинулась по улице. Шла не торопясь, стараясь успокоиться. Твердя себе: ничего не произошло. Тебя хотели унижить — и не смогли. Не сумели. Успокойся.

— Подождите!

Нина оглянулась.

Лара уже выскочила из салона и бежала к ней, запахивая на ходу роскошную короткую шубку. Шубка — прелесть, только рановато она ее напялила... И, собственно говоря, что ей нужно от нее, от Нины?

Лара подбежала к ней, остановилась. Молчала, дышала тяжело, рассматривая Нину с каким-то избыточным, пристальным, недобрым интересом.

Теперь Нина поняла все. Поняла, кому звонила та, первая продавщица, почему Нину задержали в салоне... Тянули время. Ждали, пока приедет Лара, оповещенная о визите соперницы. О, бабы, бабы! Бабы заговоры, бабы интриги... Особая наука! Нина никогда не была в ней сильна.

— Где-то я вас видела... раньше, — выдавила наконец Лара.

— В посудомоечной, — пояснила Нина, выдержав этот долгий мучительный взгляд-рентген. — Я посудомойкой в ресторане работаю. Я вам юбку помогала почистить...

— В ресторане? — переспросила Лара, прищурясь. — А-а, вспомнила. Это когда Димка дебош устроил... Вон он вас где... высмотрел.

И она рассмеялась, не скрывая презрительного недоумения по поводу Диминого выбора.

— Мне нужно идти, до свидания. — Нина отвернулась было, сделала несколько шагов в сторону...

— Подождите!

Нина оглянулась.

— Я вас подвезу, — предложила Лара. Она уже перестала смеяться. Она была спокойна и весела. Еще бы! Ее предполагаемая соперница проигрывала ей по всем пунктам, вдвое старше, кому же посудомойка. — Я вас подвезу, — повторила Лара и пошла к машине.

Нина взглянула на часы. Она опаздывала на свою газетную вахту в подземном переходе. Почему бы нет?..

Она села в машину, положив пакет со своей робой себе на колени. Взглянула на Лару... Она не испытывала к этой девочке ни неприязни, ни ревности. Какая ревность? К кому? К Диме? А кто он ей, Нине, собственно? Никто. Может быть, она его и не увидит больше никогда.

— Это он мне подарил машину, — сообщила Лара как бы между прочим. — И квартиру купил. Вообще, мы собирались расписаться... Может быть, еще поженимся.

— Совет да любовь, — произнесла Нина спокойно.

— Вот как? Вас это нисколько не задевает? Куда мы едем, кстати?

— Проспект Мира. А почему меня должно это задевать?

— Вообще-то я не удивилась, когда вас увидела, — сказала Лара, не ответив на Нинин вопрос. — Вы в его вкусе. Он не любит, чтобы все — как у всех. Чтобы — блондинка, глазки голубенькие и ноги из ушей росли. Ему чего-нибудь особенное подавай. Посудомойку предпенсионного возраста.

— Спасибо большое, — невозмутимо поблагодарила Нина. — Вы очень точно меня описали.

— Нет, я не хотела вас обидеть, — усмехнулась Лара. — Вы — ничего еще... Со следами бывлой красоты.

— Со следами следов, — уточнила Нина. — Остановите машину.

— Я ведь тоже сначала... другая была, — сказала Лара с какой-то внезапно прорвавшейся искренностью. — Когда он меня первый раз увидел, я была такая... Оторва, «кислотная», на роликах... У нас группа была, музыканты уличные... Я у них была певица. Можете себе представить?

— С трудом, — призналась Нина, глядя на ее шубку, на ее кукольное, тщательно подмазанное личико, на ухоженные руки, лежащие на руле. — Остановите машину, пожалуйста. Я выйду. Мы уже приехали.

— То есть как? — удивилась Лара. — Это Садовое.

— Я забыла... Я совсем забыла... Мне нужно зайти еще в одно место.

Лара притормозила.

— До свиданья. — Нина открыла дверцу.

— Подождите! — Лара перехватила ее руку.

Красивая девочка. Совсем юная. Гладкая кожа, глазищи — в пол-лица... Красотка. Что ему еще нужно? Классная подруга для «малинового пиджака». Он и пиджаков-то не носит, не любит. Все больше пуловеры да джемперы...

— Как вас зовут? — спросила Лара.

— Нина.

— Нина... — Лара смотрела на нее с отчаянной, истовой мольбой. — Нина, зачем он вам? У вас семья есть, наверное... Да?

— Да, — глухо откликнулась Нина.

— И вы ему, простите... — Она уже не хотела причинить Нине боль, она говорила искренне и убежденно. — Простите, но вы ему ненадол-

го понадобится! Ну, вы же умная женщина, прожившая. Вы же понимаете, не мне вам объяснять! Вы — не пара! Не! — Она чеканила каждое слово, каждый слог. — Па! Па!

— Девочка, вас кто-то ввел в заблуждение. — Нина старалась говорить как можно спокойней. — Меня ничего не связывает с вашим... Димой. Я вам не соперница. Все, я спешу. До свиданья.

— Я его люблю, вы понимаете?! — Лара сжала Нинино запястье, не давая ей выйти из машины. — Я его люблю безумно, я жить без него не могу! — выкрикивала она хрипло. — Я его не отдам никому, костями лягу! Не отдам! Вы думаете, мне вот это все нужно?! — Она огляделась загнанно. — Тачка, квартира, тряпки, цацки? Плевала я на них, мне он нужен! Он! Я только теперь это поняла!

— Рада за вас, — отрезала Нина, вырвав руку из цепких пальцев Диминой пассии. — Лучше поздно, чем никогда. Может, хоть теперь перестанете шлаться по кабакам с другими мужиками. Рога ему наставлять. Привет!

И она выбралась из машины, с силой хлопнув за собой дверцу, пересекла тротуар на подгибающихся ногах, открыла первую попавшуюся дверь, вошла куда-то... Люди, давка, толкотня...

Прислонилась к стене, прикрыла глаза. Ее бил нервная дрожь, сотрясая все тело. Зуб на зуб не попадал. Ничего не поделаешь, нервная разрядка. Слишком много унижений, слишком много обид и боли. Слишком много терпения и сил понадобилось ей для того, чтобы перенести их стоически, не сорвавшись ни разу.

— Ну? Я вас слушаю, — сказала продавщица.

Нина словно очнулась. Оказывается, она стояла в очереди. Она стояла в очереди, а очередь

медленно двигалась вдоль стены, к прилавку, неспешно подталкивая Нину к хозяйке продуктового рая в несвежем колпаке.

— Колбасы какой-нибудь вареной, — сказала Нина, чтобы что-нибудь сказать, — полкило.

— Какой колбасы? — хмыкнул дядька, стоящий за Ниной. — Это ж бакалея.

Оказывается, она отстояла очередь в бакалейный отдел, в крупы-вермишели.

— Ну, дает! — Дядька уже хохотал в голос. — Колбасы ей! Не, ты слышал?

— А ну, помолчи! — оборвала продавщица. — Она смотрела на Нину с сочувственным пониманием. — Мало ли чего бывает, — добавила она негромко. — Задумаешься, не туда встанешь. Всякое бывает. — И она улыбнулась Нине ободряюще, дескать, держись, подруга! — Давай, я тебе лучше валерьяночки отпущу. — Продавщица достала из кармана халата баночку с таблетками. — Сразу две глотай. Проглотишь?

Нина улыбнулась ей благодарно и кивнула.

— А вот тебе и колбаска. — Продавщица бакалейного отдела полезла под прилавок, достала оттуда увесистый сверток. — Телячья. Себе заначила. Плати в кассу. Деньги есть?

— Есть, — рассмеялась Нина.

Она успокоилась. Мелкий озноб уже не сотрясал ее тело. Никогда не знаешь, где тебя ударят, а где — протянут руку, поддержат, помогут. Ну, к ударам-то мы привыкли, притерпелись. Зато простое человеческое участие, чей-то искренний душевный порыв всегда для нас неожидан. В диковину. Одичали мы, господа, одичали...

Нина неслась по вечерней улице, опаздывая как всегда.

У входа в ресторан Жора увещевал группку завсегдатаев:

— Санитарный день, господа! Санитарная ночь, если угодно.

— Что за дела? — возмущались завсегдатаи. — Георгий! Ты сроду на ночь лавку не закрывал.

— Нина!

Нина растерянно оглянулась. Дима стоял возле своей машины.

— Иди сюда. Здравствуй!

Она не слишком удивилась, увидев его. Что бы она себе ни врала, как бы саму себя обмануть ни пыталась (ну, теперь-то уж точно все, больше не явится, отстанет наконец), знала, что явится. Не отстанет.

Знала. Иначе с чего бы это она сегодня минут сорок проторчала перед зеркалом в ванной? Закрыв дверь изнутри на крючок, оставшись глухой к воплям Ирки: «Ма, мне джинсы стирать надо! Ма, ну скоро?!»

«Я тоже стираю! — откликнулась наконец Нина. — Вовкины рубашки. Подождешь!»

Откровенное, бессовестное вранье. Ничего она не стирала. Страдальчески закусив нижнюю губу, она подкрашивала ресницы сворованной у дочери тушью «Макс фактор». Рука дрожала, Нина все время промахивалась мимо ресниц, заезжая на веко, — еще бы! Когда ты последний раз глаза красила? Год назад, на юбилей свадьбы. Дура старая, чистишь свои тусклые перышки... Думаешь, он придет?

Он пришел. Приехал. Стоял возле машины, ждал, когда Нина подойдет к нему.

Она подошла, и Дима открыл ей дверцу.

— Садись. Поехали.

— Куда? — спросила она. — У меня смена с двадцати двух!

— Садись, садись. — Дима легонько потянул ее за руку. — Какая смена... Контора на замке. Я твоему духанщику две суточные выручки кинул.

— Зачем? — Но в машину она все-таки села.

— Ты хотела выспаться. — Дима захлопнул дверцу, помахав Жоре, сдерживающему натиск толпы. — Вот и выспишься наконец-то.

— Ты куда меня везешь? — спросила Нина растерянно. За окнами машины уже мелькали улицы ночной Москвы. — Куда мы едем, Дима? Ты меня домой везешь, что ли?

— Не к тебе, во всяком случае, — усмехнулся он. — Дома тебе твои уроды выспаться не дадут, а я хочу, чтобы ты отдохнула. Провалилась... Часов на двенадцать.

— Останови! — закричала Нина. — Ты что? Останови сейчас же! Ты заигрался, понимаешь? — кричала она, не зная, что предпринять. — Останови! — Она открыла дверцу, Дима молча захлопнул ее и накинуд на Нину ремень безопасности. — Ты меня свяжи еще! — сказала Нина гневно. — Что ты вообще себе позволяешь? Останови машину!

— Ресницы покрасила, — заметил Дима с ехидцей, глядя на дорогу.

— Я? Ресницы? — Она помолчала, судорожно придумывая оправдание и чувствуя себя злоумышленником, пойманным с поличным. — Ну, допустим, покрасила... Я всегда крашу.

— Как же, — хохотнул Дима, вырывая на Пресню. — Ври больше.

— Как ты со мной разговариваешь?! Останови машину... Куда мы едем, в конце-то концов?

— В Серебряный бор. У меня там дом. А воздух — сказка!

— Дом... — пробормотала Нина. — Домовладелец... Сколько у тебя домов-то?

— Много, — ответил Дима весело. — Хочешь, один подарю?

— Обойдусь как-нибудь, — огрызнулась Нина. — Владелец заводов, газет, пароходов... Чего ты от меня хочешь, а?

— Чтобы ты выпалась.

— И все?

— И все.

При въезде в Серебряный бор стоял ночной магазин. Нина скользнула взглядом по освещенной витрине... Ага, тут не только жратва, но и шмотки.

— Останови, пожалуйста, — сказала Нина просительно.

Она уже успела успокоиться и примириться с неизбежностью ночлега в Димином доме. Умом-то она примирилась с этим, но сердцем... Она сидела нахохлясь, сжавшись, словно зверек, загнанный в западню, и бросала на Диму быстрые настороженные взгляды.

А Дима смотрел на дорогу. Дима был абсолютно невозмутим. Что ее там ждет, в этом доме? Неужели он думает... Неужели он собирается... О, господи, старая курица, на кой черт ты ему нужна?

— Останови, — повторила Нина.

Дима остановил машину и протянул бумажник, не спрашивая ни о чем.

— Я сейчас, — пробормотала Нина, засовывая бумажник в карман.

Влетев в магазин, совсем пустой в этот поздний час, она окинула прилавки торопливым взглядом.

Она прекрасно знала, что именно она ищет. Только боялась себе в этом признаться.

Если Дима... Если все-таки он... Ну, хоть себе-то это скажи! Про себя, себе скажи: да, ты

хочешь, чтобы все случилось сегодня. Чтобы он остался с тобой. Ты этого хочешь. И ты хочешь быть красивой. Желанной. И не делай, пожалуйста, вид, что тебя чрезвычайно интересует стиральный порошок «Ариэль». Отойди от этого прилавка, времени в обрез, иди туда, во-он туда, вправо, там — женское белье...

— А сколько стоит вот этот... гарнитурчик? Пеньюарчик? — спросила Нина, решившись наконец. — Они только черные, да?

Пеньюарчик был ничего себе, вполне подходящий. Но черный цвет... Это слишком. Слишком вызывающе — так ей казалось. Она же не роковая женщина! Не какая-нибудь Шарон Стоун с пешней для колки льда.

— Есть розовый, — сказала продавщица, выбрасывая на прилавок шуршащий пакет.

— Нет, — вздохнула Нина. — Цвет какой-то пороссячий... Какой-то колбасный...

— Ну, на вас не угодишь, — хмыкнула продавщица и, порывшись на полке, вытащила другой пакет.

— Чудо! — воскликнула Нина, открывая бумажник. — То, что надо.

Золотисто-ореховый. Она брюнетка, ей пойдет.

— Да, но это — икс-эль, — заметила продавщица, выбивая чек. — Вам велико будет.

— Нин, какие-то проблемы?

Нина вздрогнула, стремительно засунув в карман пальто пакет с пеньюаром.

Дима стоял на пороге магазинчика.

— Дмитрий Андреич, здра-асьте! — Продавщица улыбнулась Диме, потом глянула на Нину по-новому, оценивающе. — Так вы с ним? Во-он оно что... Давайте я вам на размер меньше поищу.

— Нет! — Нина замотала головой, отступая от прилавка. — Нет, нет, не нужно... Я тут маме кое-что купила, — пояснила она Диме, поспешно выводя его из магазина. — Так, безделицу... Поехали?

Они подъехали к дому. Собственно, дома она еще не видела — только высоченную ограду и ворота.

Ворота открылись плавно и беззвучно. Дима выбрался из машины, помог выйти Нине. Бросил подошедшему к нему охраннику:

— Поставишь тачку в гараж...

Нина сделала несколько шагов по дорожке, усыпанной сосновыми иглами, остановилась, вдохнула воздух полной грудью... Какой воздух! Осенний, свежий, лесной, пропитанный острым запахом хвои, влажной земли, шишек...

Чем она дышит там, в городе? Да и дышит ли вообще? В этой чертовой посудомоечной — духота парной, резкие запахи химикатов. А потом она моет лестницы и опять задыхается от запаха стирального порошка...

Там она задыхается. Здесь она дышит.

Огромная собака подошла к Нине, обнюхала ее колени миролюбиво, благосклонно...

— Это моя псина любимая. — Дима присел перед собакой на корточки, потрепал ее по загривку. — Смотри, признала тебя. Подли-иза...

Нина перевела взгляд. Вон его дом. В глубине осеннего сада, в полумраке — очертания двухэтажного особняка. Эдакий терем васнецовский. Большая веранда. Мансарда. В окнах мансарды — теплый медовый свет.

— Мой дом, — сказал Дима негромко. — Знаешь, только когда я его построил, поднял, ухлопал на это уйму сил... и времени... и денег... Толь-

ко когда я его поднял, я почувствовал себя мужиком. Таким... основательным дядькой. Кулачиной таким. Теперь пузо отращу и цепь на него повешу с ключами... Амбарными.

— Сапоги себе купи, салом их смазывай, — рассмеялась Нина. — Бороду отпусти лопатой. Кафтан я тебе сама сошью... А где дворня?

— Дворни навалом, — заверил ее Дима, ведя к дому. — Садовник вот...

Он сделал несколько шагов в сторону, к дядьке в ватнике. Дядька возился у грядки, вышелушивал бобы из длинных сморщенных стручков.

— Повар, горничных — три штуки. — Дима вернулся к Нине, сунув в карман несколько бобов.

— Купчина! — Нина уже подошла к ступеням крыльца. — Зачем тебе графиня? Тебе купчиха нужна. — И она оглянулась на Диму, не скрывая грустной нежности. — Такая, знаешь, кустодиевская. Чтобы у самовара чай пила, пальчик в сторону оттопырив.

— Мизинчик, — уточнил Дима.

— Вот-вот.

— И хлопала вот так. — Дима изобразил купчихино хлопанье, шумно заглатывая воображаемый чай. — Нет уж, благодарю покорно. Не надо нам купчих. У нас другие амбиции.

Дима открыл дверь спальни.

Нина вошла. Остановилась на пороге, оглядываясь с молитвенным трепетом.

Все, как в каталогах, которые она перелистывала иногда, коротая время у своего газетного лотка. Заморский шик плюс умеренное вкрапление славянского колорита. Камин с изразцами под «васнецовские». Абажур диковинный,

плетеный — жар-птица, раскинувшая широкие пестрые крылья...

— Красиво, — прошептала Нина, не двигаясь с места.

— Ужинать будем? — спросил Дима, с опозданием снимая с Нины ее пальтецо.

— Нет. — Она вспомнила про пакетик с пеньюаром, лежащий в кармане пальто, резко выдернула пальто из Диминых рук и бросила одежду на кресло. — Нет, я не хочу. Я сразу... лягу.

— Как знаешь... — Дима незаметно для нее сунул боб под матрас. — Ты присядь на полати. Опробуй.

— Зачем? — спросила Нина голосом, севшим от волнения.

Она осторожно ступила на ковер. Мягчайший ворс теплого, золотисто-медового оттенка. Здесь все было выдержано в этих тонах — обивка стен, покрывала, шторы. «И мой пеньюар, — подумала Нина, послушно идя к постели. — Угадала. Подобрала в тон. Только надеть не успею... Господи, хоть бы он ушел сейчас! Я не готова... Я ни к чему не готова, я боюсь его, я себя боюсь, только бы он ушел, только бы он понял это, господи!..»

Она опустилась на краешек постели, сжавшись, напрягшись... Так приговоренный к смерти опускается на электрический стул.

Дима взглянул на нее — и ощутил толчок острой, горчайшей жалости к ней. И невольной вины, и горячий нежности. Бедная, бедная его графинюшка! Как же нужно себя заморозить, выстудить... Да нет, это не она. Она ни в чем не виновата, это не она с собой сделала, это жизнь наша скотская, подлая скрутила ее жгутом, не пощадила...

Слава Богу, он успел сунуть этот проклятый боб, сворованный им у садовника, под матрас. Сейчас он, Дима, обернет все в шутку. Сейчас...

— Удобно тебе? — спросил он вкрадчиво.

— Н-не очень... — Нина подняла на него глаза — огромные, тревожные, выжидающие.

— Но мягко ведь? — Он улыбнулся. — Мягко?

— Как тебе сказать... — Она пожала плечами. — Какой-то все-таки дискомфорт, если честно...

— А! — заорал Дима ликующе.

Нина вздрогнула от неожиданности и снова взглянула на него затравленно.

— Все! — орал Дима радостно. — Настоящая! Все! Настоящая! — И Дима, приподняв Нину за плечи, выдернул из-под матраса боб. — Принцесса на горошине! Настоящая графиня! Виват! Виват! Виват!

— Балда, — прошептала Нина, сообразив, в чем дело. — Ой, балда! — И она рассмеялась освобожденно, с облегчением. — Посмотрите на этого деточку... двухметрового... Он еще сказочки читает... А где горошина? Почему боб?

— Чем богаты. — Дима развел руками. — У садовника с грядки стырил.

— Все правильно, — вздохнула Нина. — Я не принцесса на горошине. Я принцесса на бобах.

— Да мы все на бобах, в принципе, — пробормотал Дима.

Они замолчали. Нина по-прежнему сидела на кровати, Дима стоял рядом. Он сумел сделать главное: она уже не была так напряжена, как десять минут назад. Оттаяла чуть-чуть, самую малость.

— Ну, не буду тебе мешать, — сказал он буднично. — Шторы можно задернуть. Спи.

И Нина осталась одна. Можно было вздохнуть с облегчением.

Соблегчением? Или — с сожалением? Э-э, ваше сиятельство, вы сами не знаете, чего хотите. Запутались вы вконец...

Она метнулась к двери — замка не было. Тогда Нина заставила дверь стулом и принялась лихорадочно переодеваться.

Она достала пакетик с бельем и, ахнув тихонько, рассмеялась: пеньюар был короток и непомерно широк. Ну да, продавщица ее предупреждала: XL. Для дам в теле. Худенькая Нина выглядела в нем достаточно нелепо. Кружевные бретельки съезжали с ее узких плеч, декольте было явно заготовлено для пышного «кустодиевского» бюста (вот тебе купчихи-то кустодиевские и аукнулись, шпротина несчастная, и поделом!).

Нина вздохнула и, поменяв шелка на старенький джемпер, залезла в кровать, натянув одеяло до подбородка.

Покосилась на стул у двери — глупо. Встала, отодвинула стул и снова забралась в кровать. Зажмурила глаза. Слонов считать? Какой там сон!..

Она поднялась с постели и подошла к окну. Осенний сад. Пустая аллея, ведущая к воротам.

Нина пересекла комнату и подошла к окнам, выходящим на «тылы» Диминой усадьбы.

Вон он! Надо же... Здесь тоже был сад, осенние голые деревья, за темными сплетениями ветвей поблескивала крыша небольшой оранжереи... Нина скользнула взглядом по Диминым уголкам и снова посмотрела на Диму.

Он сидел недалеко от беседки. Беседка тоже была задумана и выстроена под васнецовский терем — с затейливыми резными коньками... Дима сидел чуть поодаль, на скамейке. Жег сухие листья, замороженно глядя на высокое пламя...

А Нина глядела на Диму. Глядела-глядела, потом отошла от окна и принялась торопливо одеваться.

Она вышла в сад, подошла к Диме и села рядом. Они сидели молча, касаясь друг друга плечами. Все ее страхи, комплексы, недавние переживания казались сейчас чушью несусветной, позорным бредом — вспоминать стыдно. Вот он — рядом, совсем рядом. Родной человек. Совершенно родной, понятный, близкий, любимый, желанный... Будто сто лет она его знает. Вот его лоб высокий, нос чуть привздёрнутый... Плечо... Можно голову на его плечо положить...

Но она не решилась. Только спросила:

— Ты почему не спишь?

— А ты?

Помолчали. Пламя взвилось высоко — ветер.

— Я этот дом построил для сына, — сказал он не сразу. — Для Никиты. У меня есть сын.

— Он живет отдельно? — осторожно спросила Нина.

— Отдельно... — И Дима повторил, вслушиваясь в слово, которое ему явно не нравилось: — Отдельно... Меня к нему не пускают. Не подпускают. Бывает... Никого не сужу. Правы... по-своему... Дом строил — для сына. Дело свое поднимал — для сына. Во имя него. Уж прости за пафос... А сына у меня — вроде как и нет. Отняли.

— Все наладится. — Нина дотронулась до его плеча, осторожно провела пальцами по щеке. — Вот увидишь... Он же никуда не делся. Он все равно у тебя есть, твой сын.

— Я так его хотел, — произнес Дима глухо. — Так его ждал... Я так хотел, чтобы мальчик родился! Я топор держал под подушкой, пока жена с пузом ходила. Знаешь, примета есть такая, чтобы — мальчик... Нина! — сказал он без перехода, горячо и торопливо. — Роди мне сына!

И он повернулся к ней. Его глаза были совсем рядом.

— Я — Пупков, зато у меня сын будет — Шереметев... Роди, а? Ты еще успеешь... — Глаза у Димы были безумные. Молящие, безумные глаза. — Мы еще успеем... Мы все еще успеем, Нина!

Она ошеломленно молчала.

Дима отвел взгляд, устыдившись своего порыва, и буркнул:

— Шутка. Неудачная. Прости...

Нина не успела обидеться — он снова повернулся к ней, обнял.

Обнял... И все качнулось, и двинулось куда-то в сторону, вбок, сместилось... Она больше ничего не видела. Не думала ни о чем. Она теперь только чувствовала. Научилась чувствовать. Училась. Его губы... Горячие, жадные...

Теперь он ее поднял. Понес...

— А костер? — спросила она, прижавшись к нему.

— А он погас...

Сучья трещат под его ногами... Теперь ступени...

— Что ж у тебя так ступени трещат, домовладелец?

Дверь... Дом... Лестница наверх, в спальню.

Ну и будь что будет. Ничего не страшно. Ничего не стыдно. Будь что будет, любимый мой.

Нина открыла глаза.

Солнце. Ровное неяркое солнце. Узкая полоса света пробивалась сквозь щель между полузадернутыми шторами.

Нина перевела взгляд. Стрелки циферблата настенных часов сошлись на двенадцати. Полдень.

Она привстала с постели. Димы не было.

Зато в огромной вазе, на столике рядом с кроватью, стояли розы. Темно-красные, тот самый сорт. Она попробовала пересчитать их — и сбилась со счета. Вчера вечером их здесь не было.

Нет, она ничему не удивляется. Если он сумел добыть розу за полчаса глухой ночью, в ее Богом забытом московском предместье, то уж это... Она не удивляется. Она привыкла к сюрпризам. Как быстро она к ним привыкла!

Нина взглянула на Димину подушку. Ага, вот и записка. Она взяла ее, улыбнулась, читая: «Фасолина!..» Ну да, это он вчера ночью... Вчера ночью он изобретал для нее дурацкие милые прозвища. Производные от названий бобовых культур. Она же — «Принцесса на бобах»... Чего он только не напридумывал: «Фасолина, бобешечка, горошина...» В других устах это прозвучало бы сентиментальной слащавой бредью, а у Димы выходило смешно и славно.

«Фасолина! Я в офисе. Дела. Почивай, моя бобово-соевая, до вечера. Отсыпайся».

И забавный рисуночек. Как она возлежит на дюжине матрасов, в съехавшей на нос короне, а под матрасами — горошина. Принцесса на горошине... Принцесса на бобах.

Нина быстро оделась и на секунду задержалась возле зеркала. Это она?!

Даже морщинки у глаз разгладились, кажется... Глаза блестят, счастливые глаза! До неприличия счастливые...

Она сунула записку в карман, нагнулась к розам, вдохнула горьковато-пряный аромат... Какой-то особый сорт. Надо спросить у него, как они называются.

Спустилась вниз по винтовой лестнице... Огромная гостиная, залитая осенним солнцем.

Женщина средних лет тут же вышла из соседней комнаты, улыбнулась Нине:

— Доброе утро!

По тому, как она улыбнулась, почтительно и учтиво, Нина угадала безошибочно: прислуга. Как это называется теперь? Горничная? Экономка?

— Доброе... — пробормотала Нина, почему-то смутившись и вспыхнув. — Добрый день!

— Позвольте предложить вам завтрак! — Горничная продолжала улыбаться. — Что бы вы хотели? Вы можете заказать все, что угодно...

«Сейчас, чего доброго, книксен сделает, — подумала Нина, пытаясь преодолеть растущую неловкость. — Или земной поклон отвесит...»

— Спасибо. — Нина огляделась, отыскивая взглядом дверь. — Спасибо большое, мне ничего не хочется. Вообще мне пора... Вы не подскажете, как мне отсюда в город...

— В вашем распоряжении — машина и шофер. Вы хотите ехать прямо сейчас?

— Да, — кивнула Нина. — Прямо сейчас, если можно. Мне на работу к двум... Я... Я не хотела бы опоздать.

Вышколенная Дими́на домоправительница ничем не выдала своего удивления. И все-таки Нина почувствовала: прислуга пребывает в некотором недоумении. Надо полагать, женщины, спускающиеся вниз по этой лестнице к полудню, не спешат на работу к двум. Ни к двум, ни к четырем. Они вообще не работают. Не имеют такой привычки. В этой жизни у них другие задачи.

Ничего не поделаешь: Нина была белой вороной в этой лебединой стае. Нина спешила к газетному лотку в подземном переходе.

— Мне что-нибудь передать Дмитрию Андреевичу? — спросила домоправительница,

храня на лице все ту же учтивую бесстрастность. — Вы вернетесь к ужину? Уезжая, он просил меня приготовить ужин для двоих. Праздничный ужин.

Она чуть-чуть выделила голосом слово «праздничный», позволив себе почти неуловимый, закамуфлированный укор в адрес беглянки.

— Я... Я не знаю. — Нина запнулась. — Вряд ли я освобожусь... Дело в том, что вечером... У меня еще одна работа. Допоздна.

Теперь даже изрядная выдержка не спасла Дмину прислугу.

— Вы... — Дама замешкалась, подыскивая нужное слово. — Вы так много работаете?

— Приходится, — ответила Нина. — Передайте Дмитрию Андреевичу, что я... я ему позвоню. Завтра или послезавтра.

— Так мне распорядиться насчет машины?

— Пожалуйста, — кивнула Нина. — Если вам не трудно.

Она открыла дверь своим ключом и вошла в прихожую.

Странное ощущение, почти болезненное. Она привыкла к своей убогой «хрущобе». Давно примирилась, свыклась с тем, что кухня — мала и подслеповата (окно выходит на фабричную стену), что обои надо бы переклеить давным-давно... И потолки побелить... И поменять колченогие кухонные табуреты на нечто более основательное и устойчивое...

Она свыклась с этим. Но сегодня все было по-другому. Сегодня ей все резало глаз, все удручало: и ветхая мебель, и разошедшиеся половицы, и капли воды, методично падающие из неисправного крана...

Нина вошла в кухню, на ходу снимая пальто. Мать сидела у окна, нацепив очки на нос. Читала свою любимую «Правду», приблизив газетную страницу к глазам.

— Здравствуй, мама, — произнесла Нина устало. — Вы меня не потеряли? Я задержалась сегодня... А где Костя?

Мать отложила газету.

— Мы тебя не потеряли, — не сразу ответила она, разглядывая дочь так, будто впервые видела. — Он ведь нам позвонил, предупредил, что ты попозже вернешься... Он сказал, чтобы мы тебя не ждали сегодня.

— Он?! — переспросила Нина потрясенно. — Кто — он? Дима?

Мать кивнула, продолжая рассматривать Нину с каким-то почтительно-недоверчивым интересом. Почти подобострастным, как это ни дико.

— А где Костя? — спросила Нина хрипло, поскольку голос сел от волнения.

— Он пошел газетами торговать. Вместо тебя. Раз ты не придеешь, — пояснила мать, медленно снимая очки с разношенными, забинтованными изолентой дужками.

— Костя? Вместо меня? О, господи! — Нина метнулась в прихожую.

Костя в качестве продавца — это стихийное бедствие. Это катастрофа. Недостача, дюжина «Спид-инфо», пропавших бесследно («Воруют, Нина! Шпана всякая, за ними не уследишь...»), неприменная стычка с соседним лоточником, свара, крики, ругань, менты...

— Нина! — крикнула мать ей в спину. — Подожди!

— Ну что? — Нина вернулась в кухню, на ходу застегивая пальто.

— Ниночка, — начала мать торжественно, теребя в руках очки. — Нина, детка, послушай... Если у тебя с ним серьезно... с этим Димой твоим...

— Ма-ама... — оборвала Нина укоризненно.

— Не перебивай! — Мать повысила голос. Встала с табурета — маленькая, сухонькая, смешная. — Выслушай меня. Я, может, сама через пять минут пожалею, что я об этом сказала... Нина, дочка, если тебе с ним хорошо — иди к нему! Живи с ним. Замуж позовет — иди, не раздумывай!

— Мама, что ты такое...

— Не перебивай! — крикнула мать надсадно и гневно. — У меня вся жизнь переломана, ни любви, ни радости, одни слезы... И ты свой бабий век прожила, доживаешь уже — черт те как, страшно вспомнить... Если тебе хоть в конце, хоть на излете счастье улыбнулось... Сказочное, не поверит никто... Это Бог тебе послал, Нинка, за все муки твои, Бог тебя пожалел, наградил тебя щедро... Что ж ты отказываешься, чумная?! Что ж ты Бога гневишь?!

— Мама, — пробормотала Нина. — Надо же, Бога вспомнила... Ты же у нас коммунистка... атеистка...

— Да я его не забывала, — устало возразила мать. — Иди к нему, Нина, к Диме своему. А мы тут справимся... Столько лет на твоём горбу ехали, пора тебе долги отдавать... Мы справимся, я обещаю.

Нина подошла к матери и крепко обняла ее, погладила по седой голове, по худеньким острым плечам.

— Мама, — выдавила она наконец, проглотив комок, подступивший к горлу. — Мама... У меня, кроме вас, никого нет. И не будет. И никто мне не нужен.

— Неправда.

— Правда, мама. Правда. Не гони меня, пожалуйста, никуда. Ты уж мне позволь здесь остаться.

И Нина улыбнулась сквозь слезы, обведя взглядом узкое, уже заклеенное на зиму окно, старенький холодильник, раковину с темными пятнами отбитой эмали...

Это ее дом. Это ее жизнь. Другой не будет.

Она вошла в подземный переход.

Вон он, Костя. Слава богу, что он ее не видит. Остановившись в десятке шагов от газетного лотка, Нина смотрела на мужа, прячась за спинами прохожих.

Костя рассчитывался с покупателем. Долго пересчитывал деньги, мусоля палец, перебирал мягкие купюры. Суетливый, неловкий, напряженный, он поглядывал на покупателя заискивающе и с опаской. Каждый новый покупатель был для Кости потенциальным врагом, виновником — пусть и невольным — Костиных грядущих бедствий. Или Костя себя обсчитает, или хитрован-покупатель «нагреет» Костю на тысячку-другую... Третьего не дано.

Нина прислонилась спиной к выложенной кафельной плиткой стене перехода и смотрела на мужа с бессильной жалостью.

Куда он без нее? Что с ним будет, если она... Да нет, об этом подумать страшно.

Она нащупала рукой Димину записку, лежавшую в кармане пальто. «Фасолина»... Неужели это было вчера? Сегодня ночью? Будто в другой жизни.

Это и есть другая жизнь. Существуют две жизни. Два измерения. Там — сказочный терем в тихом сосновом раю, шикарное авто, бесшумно

вплывающее в подземный гараж, огонь в камине, выдрессированная прислуга... «Позвольте предложить вам завтрак... Вы можете заказать все, что угодно...»

Все, что угодно. Омары, лангусты, «Линкольны», Карибские острова, кредитные карточки, шелест купюр, биржевой курс, дела фирмы, ледяные, чужие Димины глаза, когда он отрывисто и быстро говорит по мобильному... Отдает распоряжения. Занимается Делом. «Фасолина. Я в офисе. Дела».

Это — одна жизнь.

А здесь — другая. Сумрачный подземный переход, сутолока, усталые серые лица людей, спешащих по своим делам. Нищенка, сидящая у грязных ступеней. Тетки, торгующие турецким шмотьем. Женщина в съехавшем на плечи платке, приценивающаяся к синтетической кофточке... Семьдесят пять? Дорого.

Нина чуть слышно вздохнула. Достала Димину записку из кармана пальто, скомкала ее в руке и бросила в урну, стоящую рядом.

Потом отделилась от кафельной стены и пошла к Косте.

Костя пересчитывал выручку, бормоча себе под нос: «Тридцать семь... Тридцать семь пятьсот...»

— Костя, иди домой, — спокойно сказала Нина.

Он вздрогнул и поднял на жену глаза.

— Ты... — Он задохнулся. — Нина, ты...

— Иди домой, — повторила она твердо, разом пресекая все его возможные вопросы, упреки, заклинания-объяснения. — Я сама тут... Сама.

Дима вошел в подземный переход на Проспекте Мира. Сделал несколько шагов и оглядел-

ся. Охрану и шофера он оставил наверху, в машине.

Дима стоял неподвижно. Люди, идущие мимо, огибали его справа и слева, кто-то задел локтем, толкнул, чертыхнулся на бегу... Час пик, давка, толкотня, московский людской мурaveйник...

Дима рассматривал лица людей с сочувственным интересом. Усталые бледные лица. Лица жителей подземного мира... Лица обитателей рабочих кварталов, три четверти дня проводящих в пути — в битком набитых вагонах метро, в стылых загонах автобусных остановок...

Он тоже жил так когда-то, давным-давно. Так давно, что успел об этом забыть. Какое-то смешанное чувство смутной тревоги, невольной вины перед этими людьми и острой, саднящей душу печали возникло в нем и росло... Не уходило.

Он двинулся вперед, внимательно оглядывая продавцов всякой всячины, стоявших и сидевших у стен подземного перехода.

Увидев Нину, Дима замер от неожиданности. Он искал ее, он знал, что она здесь, он ведь сам спрашивал об этом у ее матери, подробно записав адрес и даже начертив план.

Он знал, что найдет ее здесь, у газетного лотка, в тесноте, в полутьме подземного перехода, и все же, все же... Трудно было поверить в то, что женщина, которую он обнимал сегодня ночью, сидит теперь на парусиновом складном стульчике, привалившись спиной к холодной кафельной стене, грея руки в рукавах старенького пальто... Сидит, закрыв глаза, погружившись в дрему, клоня усталую голову к плечу...

Дима подошел к Нине и молча присел перед ней на корточки. Она сидела, не открывая глаз.

— Мужик, «Мегаполис-экспресс» есть за сегодняшнее? — спросил какой-то парень у Димы.

Дима сделал ему знак рукой — нет, давай топай.

Нина уронила голову на плечо, так и не открыв глаз. Дима осторожно вынул ее руку из общага рукава, накрыл своей ладонью озябшие пальцы.

Потом достал из кармана коробочку, извлек из нее обручальное кольцо и, приподняв Нинину руку, надел ей кольцо на палец.

— Велико, — вздохнула Нинина соседка справа, хозяйка овощного лотка, в течение нескольких последних минут внимательнейшим образом наблюдавшая за происходящим.

— Пожалуй, — согласился Дима и вынул еще одну коробочку. Открыл ее, достал с бархатной подушечки кольцо поменьше. Примерил. — Тесновато, да?

Вытащил третье кольцо. Это оказалось впору. Нина вздрогнула, выпрямилась, открыла глаза и тупо посмотрела на Диму, ничего не понимая.

— Ну как? — спросил он и поднес Нинину руку к ее сонным глазам. — Нравится? Сам выбирал.

— Надо же, — пробормотала Нина вместо ответа. — Боги спускаются со своего Олимпа... В подземное царство. — И она усмехнулась, окончательно проснувшись. — Ты похож на Зевса в царстве теней.

— Я не Зевс. — Дима поднял ее с парусинового стульчика и поднялся сам. — Я уж тогда Меркурий, бог торговли. Давай-ка, матушка, просыпайся. У нас с тобой, фасолина, бракосочетание через полчаса.

Нина шла за ним по коридорам районного загса.

Все то время, пока они ехали сюда в его машине, все эти томительные сорок минут Нина молчала. Сидела на заднем сиденье, смотрела в окно...

И Дима молчал. Только поглядывал на нее эдак лукаво, хитроватисто...

Дима молчал заговорщически, Нина — обреченно.

Бракосочетание... Обручальные кольца, цветы, серебристые жерла бутылок «Советского шампанского»... Значит, все его ухаживания-обольщения — совершенный блеф, ловушка, хорошо продуманная операция. Вроде банковской. Он же Меркурий. Бог торговли.

Ладно. Он ее купил. Простодушную, доверчивую старую дуру. Ничего не поделаешь, придется платить по счетам. Он хочет быть Шереметевым — он им будет.

Нина молчала. Шла за ним по коридору загса. Наконец спросила сухо и отчужденно:

— Но мы как, заявление только подадим?

— Какие заявления, соевая моя, тотчас и окрутят! — Дима положил ей ладонь на плечо, приобнял, подтолкнул легонько. — Давай быстренько, у меня ж тут схвачено все, девочки ждут!

— У меня паспорта с собой нет. — Нина сбросила его руку со своего плеча.

— Какой паспорт, все сделано уже! — И Дима втолкнул ее в зал, залитый неоновым светом.

— Опа-аздываем! — Улыбающаяся милашка спешила им навстречу. — Ну, чудненько, садитесь. Садитесь, господа... Вот свидетельства ваши... Дима, тут отчество правильно? Андреевич?

— Андреевич, Андреевич, — кивнул Дима нетерпеливо.

— Девушка, — сказала Нина негромко. — Он мою фамилию берет. Вы это оговорили? Да?

— Соевая, что за номера?! На кой ляд мне твоя фамилия? — изумился Дима непритворно. — Я Пупков, ты Пупкова. Ныне, и присно, и во веки веков.

Нина вцепилась пальцами в края сиденья. Спокойно, Нина, спокойно, спокойно... Вот так. Успокойся. Он хочет, чтобы ты стала его женой. Ему нужна ты. Ты, не твоя фамилия...

Она медленно поднялась со стула. Виски сжало, сдавило, давление, что ли, скачет? Ну, успокойся, соберись!

— Что с тобой? — Дима тоже поднялся. — Что-нибудь не так? Тебе не нравится моя фамилия? Не самая благозвучная, согласен... Можешь оставить себе свою, если хочешь...

— Девушка, — произнесла Нина с усилием, стараясь не смотреть на Диму. — Давайте мы это отложим. До лучших времен...

— А чем тебе эти времена не нравятся? — быстро спросил Дима, не скрывая своего отчаяния. Все рушилось. Он все устроил, просчитал... Выходит, не все.

— Потом как-нибудь, — бормотала Нина, не слушая его, не слыша, отступая к дверям. — Мы еще не все обсудили... С Дмитрием Андреичем.

Дежурная улыбка давно уже сползла с хорошенького личика милашки. Она ровным счетом ничего не понимала и растерянно взирала на странную парочку.

Нина рванула дверь на себя.

— Подожди! — крикнул Дима с бессильной яростью. — Нина!

Но она уже мчалась по коридорам загса, не разбирая дороги. Дима догнал ее, схватил за руку:

— Нина! Стой!

— Пуст! — Она вырвалась и ринулась к выходу.

В холле возбужденно галдели юнцы и юницы, несколько пестрых нарядных стаяк...

Нина с ходу вклинилась в шумную веселую толпу. Все растопывалось у нее перед глазами: белые платья невест, яркие пятна осенних букетов.

— Вы что? — Кто-то оглядывался на нее недоуменно. — Вы мне ногу отдавили...

— Простите, — бубнила Нина затверженно, продираясь к выходу, — извините...

Дима снова догнал ее. Крепко сжал ее плечи, развернул к себе. Он смотрел на нее требовательно и зло.

— Ты же знала! — сказал он. Теперь он сжимал ладонями ее лицо. Он был почти невменяем. — Ты же знала, что так будет!

— Я знала?! — переспросила она, задыхаясь от бега. — Что я знала?

— Что все будет по-настоящему! Знала!

— Пусти! — Она отвела его руки от своего лица. — Я ничего не знала. Не надо ничего за меня решать. Вообще ничего не надо больше, Дима. Я тебя прошу. У меня — своя жизнь, у тебя — своя. Она вышла из загса.

Охранник Владик, скучающий в машине, встряхнулся было, потянулся за шампанским — открывать... Поставил бутылку на место, удивленно глядя вслед уходящей Нине. Теперь и счастливый новобрачный выскочил из дверей загса, догнал невесту, прижал к стене какого-то дома...

— Да-а, — вздохнул Владик, повернувшись к шоферу. — Тут Мендельсоном дело не кончилось, по всему видать. Опять по новой...

— Хоть поговорить мы можем? — спросил Дима, прижимая Нину к кирпичной стене. — Напоследок? Просто поговорить?!

— Не о чем. — Нина стояла в кольце его рук и смотрела на него, разъяренного, спокойно и печально.

— Я хотел...

— Что ты хотел? — перебила она его. — Поиграть в супружество? Не наигрался еще?

— Почему поиграть?! — возразил Дима запальчиво. — Я действительно хотел... Хочу... чтобы мы были вместе...

— Дима! — Она помолчала. — Дима, я старше тебя на несколько лет.

— Это ничего не значит, — отрубил он.

— Это очень много значит, — вздохнула Нина. — Очень много. И потом... У меня классное приданое, Дима. Классное. На редкость. Старуха с задвигом, муженек с прибабахом. И парочка беби. Ты их усыновишь всех скопом? Да, Дима?

Он угрюмо молчал.

— Ничего, Дима... Это все у тебя пройдет. Довольно быстро, помани мое слово. Вон твоя тачка стоит... У тебя кто сегодня? Чехи?

— Болгары.

Дима оглянулся. Владик вылез из машины, стучал пальцем по циферблату наручных часов: дескать, пора!

— Вот и поезжай. Тяпни с ними плиски за успех предприятия. Поезжай.

Нина улыбнулась, поднырнула под Димины руки и пошла прочь не оглядываясь, потом завернула за угол дома... Дима провожал ее взглядом. Не окликнул. Все.

Прошло недели две. Может быть, больше. Выпал снег. Поздний в этом году, долгожданный, под самую зиму.

Белейший, тишайший снег опустился на спящий город. К утру все было белым-бело. Снежная целина, тишь, безветрие.

Нина вышла из дома и ахнула. Снег! Первый снег... Она набрала пригоршню. Надо загадать желание. Загадать, и все сбудется. Есть такое поверье.

Постояв в замешательстве, Нина так и не решилась выговорить про себя заветное. То, чего она хотела, она не должна была хотеть, не имела права.

Снег растаял в ладони. Нина натянула перчатку на озябшую руку и побежала к автобусной остановке, придерживая рукой сумку, перекинутую через плечо.

День был расписан по минутам. Сначала нужно заехать к Косте, Костя теперь работник, кормилец. Костя устроился сторожем при церкви. Нина везла ему кофе в термосе и бутерброды... Впрочем, это был только предлог. Нужно было удостовериться своими глазами, что Костя не спалил за ночь церковную сторожку, не проворонил воров, ни с кем не подрался и не поскандалил, как неделю назад, с могучим и сплоченным воинством церковных нищенок и юродивых...

На сегодня все обошлось. Нина вздохнула с облегчением. Церковная сторожка стояла на месте. Костя дрых в ней, свернувшись калачиком на узкой коечке. Отсыпался после бессонной ночи. Нина поставила на тумбочку термос, пакет с бутербродами, взглянула на будильник. Надо было спешить в переход, к лотку. Сначала — к лотку, потом — в посудомоечную...

Она вышла из сторожки.

Церковь стояла перед ней — величавая, статная громада. Было еще совсем рано, пусто. Церковный дворник метлой расчищал дорожку у входа.

Нина поднялась по ступенькам высокого крыльца, повинувшись какому-то внезапному порыву... Она редко заходила в церковь, очень редко. Ни минуты свободной, ни желания особого. Сегодня это желание было сильным, острым, осмысленным.

Она подошла к свечному ящику. Женщина в темном платке и темном одеянии стояла за высокой стойкой и выжидательно смотрела на Нину.

Нина узнала ее. Вспомнила Костины рассказы. Это была известная в прошлом актриса, постригшаяся в монашенки.

Теперь она смотрела на Нину чуть нахмурясь. Нина поняла: женщина боится ахов-охов, бесцеремонных расспросов, которыми, видимо, докучали ей и здесь, под этими сводами.

— Две по пять, — сказала Нина торопливо, положив деньги перед женщиной в платке. — Спасибо, — и взяла протянутые свечи.

— Спасибо вам, — откликнулась женщина негромко, с почти неуловимой интонацией признательного тепла.

Первую свечу Нина зажгла у иконы Николая Угодника. В память об отце. В память о Николае Шереметеве, давшем ей жизнь, и имя, и фамилию, которую она никогда ни на какую другую не променяет. Никогда.

Она медленно двинулась вдоль стен, вдоль темных икон, держа в руках вторую свечу.

Она искала икону Казанской Божьей матери, нашла ее, зажгла свечу, постояла молча.

Нина не знала ни одной молитвы. Она просто стояла, глядела на икону, всматривалась в ог-

ромные, бездонной глубины, страдальческие и кроткие глаза Богоматери, потом поклонилась ей, не крестясь, и вышла из церкви.

На секунду ослепнув от яркого дневного света, от снежной белизны, еще не придя в себя после только что пережитого потрясения, Нина пошла не к воротам, а в противоположную сторону. Она обошла церковь, пересекла церковный двор и увидела женщину в черном платке, ту самую актрису, постригшуюся в монашенки.

Женщина стояла спиной к Нине, привалившись плечом к стене какой-то хозяйственной пристройки; слышав шаги, вздрогнула, оглянулась испуганно и торопливо затушила сигарету.

— Вы что, — спросила она Нину, — заблудились?

— Немножко. — Нина подошла ближе.

— Вот, курю, — сказала женщина, помолчав. — Ничего с собой не могу поделать. Знаю — грех, терплю, мучаюсь... Потом — снова... Хватит, сегодня брошу. Надо сказать себе «нет» — и все.

— Это очень не просто бывает... — Нина взглянула женщине прямо в глаза. — Сказать себе «нет».

— Ой ли? — усмехнулась женщина. — Нам-то, русским бабам? Да мы всю жизнь себе только это и говорим: «Нет, ты не должна, нет, ты не имеешь права! Нет, нет, нет...» Что, не так разве?

— Так, — откликнулась Нина почти беззвучно. — Именно так...

— Всю жизнь — на запретах... На самозапретах... Перед всеми виноваты, всем должны. Только нам никто ничего не должен. Ой, ладно, что-

то я раскисла совсем... — Женщина опять усмехнулась. — Хватит. Не будем унывать. Такое хорошее утро. Снег... Как вас зовут?

— Нина.

— Не будем унывать, Нина. — И женщина улыбнулась ей одними глазами. — Уныние — самый страшный грех, так в Евангелии сказано. Живите радостно. По возможности. Живите счастливо, и да хранит вас Господь.

— Нина! — Жора стоял в дверях посудомоечной. — Иди, Нина.

Она молча сняла фартук. Она не спрашивала, куда идти и зачем. Спросила только:

— А посуда?

— За все заплачено. — Жора принял фартук из ее рук и помог снять перчатки. С некоторых пор Жора стал относиться к ней едва ли не с почтением. Уважительно. Не позволял себе былого грубоватого панибратства. — За все заплачено, Ниночка. За такие бабки я ее сам помою. Языком вылижу!

Гардеробщица подала Нине пальто, глядя на нее потрясенно.

— Вы чего, Лен Петровна? — удивилась Нина, торопливо застегиваясь. — Чего так смотрите?

— Ты в окошко посмотри! — Гардеробщица кивнула в сторону окна.

Нина в окно смотреть не стала. Она толкнула входную дверь и вышла из ресторана...

На улице, у самого входа в ресторан, стояла карета.

Настоящая карета. И кучер настоящий, в армячке, подбитом заячьим мехом, и лошади — гнедые, гладкобокие, темногривые...

Нина растерянно огляделась. Кино, что ли, снимают? Здесь как-то снимали кино неподалеку, правда, про киллеров, с перевернутыми машинами и грудой «понарошечных» трупов. Целую ночь снимали, Нина с товарками бегала смотреть...

— Садись, — велел Нине кучер.

— Это вы мне? — Она недоуменно взглянула на него.

— Тебе, — кивнул кучер. — Вам, то есть.

Господи, как она сразу не догадалась, это же все Дима придумал!

Нина стояла не двигаясь и улыбалась. Жаль, Димы здесь не было, Дима был бы доволен произведенным эффектом.

Кучер кряхтя прыгнул с козел и открыл позолоченную дверцу.

— Мне туда? — спросила Нина чуть слышно.

— Садись, садись. Поехали, времени — в обрез.

Нина села на диванчик, обитый малиновым бархатом. Стены кареты тоже были затянуты бархатом, все порядком повытерто, обивка сиденья лопнула по шву... За окном мелькали ночные московские переулки, лошадки поцокивали копытами...

Нина закрыла глаза. Приступ легкой тошноты подступил к горлу — и отступил. Отпустил. Укачивает. Она откинулась на спинку диванчика. Потерлась щекой о бархат — мягко... Запах пыли, нафталина и духов. Где он ее достал, эту карету? Впрочем, он может добыть что угодно и где угодно.

Пахнет духами. Слабый, но стойкий запах хороших французских духов. Ну да, какая-нибудь артистка надушенная сидела тут, поигрывая веером. Или лорнеткой... Может быть, даже та, которая стоит теперь за свечным ящиком в Кости-

ной церкви. Та, которая сказала ей сегодня утром: «Живите радостно. По возможности. Живите счастливо».

Легко сказать! Я хочу жить счастливо. Я знаю, что для этого нужно. Быть с Димой. Любить его. Стать его женой. Но быть с ним — значит оставить тех, кто нуждается во мне. Оставить Костю. А он без меня пропадет. Не выживет. Я знаю...

— Приехали! — крикнул кучер.

Дверца кареты открылась. Кучер и какой-то человек в роскошной ливрее стояли у подножек. Нина оперлась о их ладони и спустилась вниз, на заснеженную землю.

За узорчатой чугунной оградой стоял ее особняк. Родовое гнездо. Дом Шереметевых. Во всех его окнах горел свет, слышно было, как невидимый оркестрик наигрывает мазурку.

Нина вошла в вестибюль. Дородный дворецкий в ливрее, расшитой галунами, басил, прохаживаясь возле будки вахтера:

— Бакенбарды настоящие, а чего ж их сбривать? Я с такими бакенбардами нарасхват! Вот немцы снимали о Екатерине, так я...

Нина шла мимо стайки статисток, охорашивающихся возле огромного, знакомого Нине зеркала, — декольтированные бальные платья, напудренные парички... Хохоча, толкая друг друга голыми локотками, статистки доставали из круглой коробки мушки и наклеивали их себе на щеки.

Нина поднималась по лестнице, а мужики в спецовках тащили наверх корзины с цветами, тяжелые, громоздкие канделябры, свернутые в рулоны ковровые дорожки...

Она заглянула в огромный, ярко освещенный зал заседаний — тут шли основные пригото-

ния. Спешно выносились столы и стулья, расстилались дорожки...

Как это у нас водится, исполнителей было втрое меньше, чем отдающих команды.

— Владик! — орал Дима, стоящий посреди зала. — Где фейерверкер?

— Шеф, он к одиннадцати подъедет!

— Как — к одиннадцати?! В одиннадцать уже петарды должны взрываться! Тут гобой вступает! — кричал Дима, задрав голову вверх и глядя на чудом сохранившиеся хоры.

Там сидели музыканты, маленький оркестрик — фраки, манишки, «бабочки»...

— Дмитрий Андреич, гобой бастует у нас! — Дирижер перегнулся через перильца балкончика. — Он у нас дипломант, он двойной тариф требует...

— Будет ему двойной тариф, — вздохнул Дима. — Разорите вы меня подчистую... А где этот... распорядитель бала?

Тут Дима повернулся к дверям, увидел Нину и умолк на полуслове, потрясенный.

— Ты как сюда... — пробормотал он наконец. — Тебя уже привезли? Еще ведь не готово ничего! Господи, вот кретины! — Он схватился за голову. — У-у-у, кретины... Все псу под хвост...

— Ну что ты! Все замечательно! Просто прекрасно! Не переживай.

Они стояли рядом и молча глядели друг на друга. Вокруг шумела пестрая бестолковая массовка, грузчики разворачивали ковровые дорожки, музыканты настраивали инструменты...

— Дим, — решила Нина. — Ты можешь их всех... — Она замялась. Она очень боялась его обидеть. — Можешь их всех отправить по домам? Всех-всех! Ты ведь им заплатил уже?

— Мне тоже уйти? — спросил Дима тихо.

— Нет, что ты! Ты останься. Ты обязательно останься...

— Господа! — Дима захлопал в ладоши. — Все свободны, господа! Всем — спасибо! Там два «Икаруса» внизу, вас всех развезут по домам.

— А шампанское? — нарушил общее замешательство мужик в спецовке, ставя на паркетный пол ящик с шампанским. — Десять ящиков разгрузили!

— Презентую! — Дима махнул рукой. — Разбирайте! Но с условием: первый тост — за здоровье Нины Николаевны, виновницы торжества.

Они остались вдвоем... Свет в зале погас.

— Вахтер, наверное, выключил, — сказал Дима, едва различимый в полумраке. — Решил, что все ушли.

Нина молча достала зажигалку из кармана Диминого пиджака, подошла к подсвечникам, зажгла свечи и села на одну из сдвинутых в груду лавок. Дима опустился рядом.

— Вот... Хотел купить тебе этот дом... Левка денег не дал. Хотел бал тебе устроить прощальный — не вышло...

— Дима, — произнесла Нина. — Хорошо, что темно. Так легче. А то я опять разревусь. Я все время плачу теперь. Столько лет ходила, как каменная, а теперь реву и реву...

— Это я виноват.

— Нет, это просто я женщиной себя почувствовала. Вспомнила, что можно плакать... Можно смеяться... Все можно еще... Я тебе, Дима, так благодарна! И я всегда буду помнить тебя, всегда...

— Но почему ты...

— Потому что мы расстанемся сейчас, Дима. Надо сейчас остановиться, а то дальше мне очень трудно будет остановиться, тяжело... Гораздо тяжелее, чем тебе. Гораздо...

Они сидели друг против друга в полупустом ночном вагоне метро.

Нина возвращалась домой, а Дима ее провожал.

Она отказалась от машины. Тогда Дима отпустил машину, к вящему неудовольствию охранника, бурчащего себе под нос, что дальше — некуда и пусть его увольняют ко всем чертям, без выходного пособия! Шеф один в городе, ночью! И где? Таганка — бандитский район, почище любого Чикаго...

Теперь они ехали в метро. Дима смотрел на Нину, она смотрела в окно. Молчали. О чем говорить? Все сказано. Все кончено.

На «Октябрьской» Нина вышла из вагона — пересадка, Дима выскочил следом.

Нина ступила на ленту эскалатора. Она не оглядывалась. Она знала — Дима идет за ней по пятам.

— А ну, стой!

Нина уже поднялась по эскалатору вверх на несколько метров и удивленно обернулась назад.

Коренастая пожилая тетка, только что выскочившая из своей будки, преграждала Диме путь. Дима рвался к эскалатору, служительница метрополитена отталкивала его назад с завидной энергией, крича надсадно:

— Стой, не пушу! Ты пьяный!

— Я пьяный? — переспросил Дима ошарашенно. — Я трезв как никогда, мамаша!

— У тебя глаза мутные! — И тетка пронзительно свистнула в свой свисток.

— Э-э, маманя... — вздохнул Дима. — Они у меня от горя мутные, а не от водки.

Он взглянул на Нину, которая, стоя на эскалаторе лицом к нему, уплывала вверх, поднимаясь все выше и выше.

— Пусти! — Дима попытался оттолкнуть ретивую блюстительницу порядка. — Дай пройти-то... Нина! — крикнул он отчаянно. — Нина, подожди меня!

Тетка оглушительно свистнула в свой свисток еще раз. Два милиционера уже бежали к Диме, крича:

— Куликова! Останови эскалатор!

— Нина! — Дима наконец оттолкнул тетку. — Подожди меня там!.. — Он метнулся было вверх по эскалатору, держась руками за поручни. — Подожди меня наверху!

Эскалатор дернулся и встал.

Дима качнулся, но удержался на ногах, вцепившись в поручень и глядя на Нину, стоявшую наверху, с каким-то веселым бесшабашным отчаянием.

— Стой, — пробормотал он себе под нос, поднимаясь по эскалатору вверх, ни разу не оглянувшись назад, на служителей правопорядка, топчущих по ступеням. — Стой, жди... Никуда ты от меня не денешься... Дурочка моя... Любимая...

Нина не слышала его, конечно. Она стояла наверху и смотрела на Диму, медленно приближавшегося к ней, на догонявших милиционеров...

Новый приступ тошноты подступил к самому горлу. Тошнота и слабость. Господи, как не вовремя! И почему? Усталость? Нервы?

Нина села на рифленую ступень эскалатора. Да, мутит, не проходит. Странно...

Боже мой, неужели? «Нина, роди мне сына!» Неужели? Только этого мне не хватало! Для полного счастья.

— Графиня! — крикнул Дима весело. — Меня сейчас в отделение загребут! Я уже арестант, графиня! Вы в Сибирь за мной поедете? Как же-на декабриста?

Нина улыбнулась и утвердительно кивнула.

Стойкий оловянный Солдатов

Петр Петрович Солдатов поставил ящик с двумя дюжинами «Очаковского» на цементный пол подсобки, сказал, отдышавшись: «Последний», стянул с правой руки старенькую вязаную перчатку и глянул на циферблат наручных часов.

— Иди, — разрешила Надя, продавщица, принимающая товар. — Восемь без трех. Свободен.

Двое грузчиков протопали мимо, на ходу вынимая из карманов спецовок папиросы и спички.

— Петь, покурим?

— Свободен... — повторила продавщица Надя почти мечтательно, ни на что, понятное дело, не рассчитывая, потому и с усмешечкой грустноватой. — Петь, ты все еще свободен?

— Я, Надюша, свободен всегда. — Солдатов сбросил с плеч спецовку, и продавщица подхватила ее с готовностью. — При любых обстоятельствах. — Он склонился над рукомойником

и стал намыливать крупные, узкие в запястьях руки. — У меня это в крови. Прабабка, говорят, была из цыган. — Петр Петрович бросил на продащицу быстрый веселый взгляд. — Из таборных. Ясно?

— Похож, — сказала продащица, глядя, как он растирает полотенцем мокрое лицо — смутное, скуластое, с глубокой бледной отметиной плохо зарубцевавшегося шрама над правой бровью. — Похож, — повторила она, принимая полотенце.

Ее уж раз десять окликнули раздраженно, откуда-то из глубин подсобки: «Надь! Ну, где ты?» — а она все стояла, комкая в ладонях влажное полотенце, и смотрела на Солдатова с глуповатой улыбкой.

Петр Петрович красавцем не был. Слава богу, не был. Он был из той редкой мужской породы, вымирающей, заповедной, реликтовой, из той породы, которая... О Господи! Мужик, вот и все. Настоящий.

— А в закрома? — спросила Надя без всякой надежды.

— Привет! — бросил Петр вместо ответа, на ходу накидывая на плечи легкую куртку.

Он пересек двор, вышел на людную вечернюю улицу и толкнул дверь своего магазина. В «закрома» Петр не хаживал.

Это что же такое?

Он присел на низкий подоконник, изумленно глядя на толпу, штурмующую прилавки.

Что же это такое? Чуть меньше часа до закрытия. Конец августа, вечер теплого субботнего дня. Значит, должен быть полный штиль — тишина, безлюдье, продащицы вялые, сонные... Забежит какой-нибудь дачник, припозднившийся в свою Малаховку, схватит на бегу соус для ша-

шлыка, пару бутылок сухого, и в машину опрометью...

А сегодня? Петр перевел недоумевающий взгляд на взмыленную, охрипшую кассиршу.

— Не занимать! — орала она, строча на своем кассовом аппарате, из которого ползли пулементные ленты чеков. — Я сказала! Женщина в желтом, вы предупредили? За желтой — не занимать!

Очередь в кассу, толпа у прилавка... Гомон, ругань, давка, крики, торопливый обмен короткими фразами... Как сводки военных действий, как «от Советского информбюро», только не леви-тановским неспешно-торжественным, а задыхающейся скороговоркой:

— У Подсосенского, в «угловом», горох дают по шесть сорок. Сегодня не успеешь — завтра с утра! И мне возьми три кило, ладно?..

— На Казарменном мука еще по восемь...

Петр смотрел на них с утрюмой жалостью. Как быстро все вернулось! Как страшно вернулось... Пустые прилавки, бабы ожесточенные бои за спички-соль-пшено, это полузабытое выражение их лиц — неистовое, почти безумное упорство воительниц-добытчиц... Умру, а кило гречки вырву! И добегу, доползу до Подсосенского, задыхаясь, выбиваясь из последних сил, волоча за собой, как патронташ, неподъемную торбу. Но горох по шесть сорок будет мой!

Рядовые очередей. Ополченки августа девяносто восьмого. Враг подошел совсем близко. Ничего. Наше дело правое, победа будет за нами...

— Петя, — раздался осторожный шепот у его плеча.

Петр оглянулся. Рядом, прижимая к груди большой пакет, набитый свертками, стояла продавщица Надя.

— Видишь, что делается? — Она протянула ему пакет. — Бери. Что ты здесь купишь-то? Всё смели, послед-нее добирают.

— Чума! — пробормотал Петр вполголоса. — Два дня в магазине не был... Чума.

— Это со вчерашнего дня. — Надя поставила пакет ему на колени. — Как цены вверх поползли, так — сразу...

— Я не возьму. — Петр покачал головой.

— Бери! — отрезала Надя, меняя просительный тон на жесткий, приказной. — У тебя дома старик и двое пацанов. Чем ты их кормить будешь завтра?

Помедлив с минуту, Петр полез за бумажником.

— В кассу не занимать! — хрипела кассирша. — Глухие, что ли?

Какая-то баба причитала, обрушив свои сетки-авоськи на подоконник

— Господи, что будет, что будет?... Сахар — двенадцать рублей... Хоть помирвай, господи!

— Сколько с меня? — хмуро спросил Петр Надю.

Едва ли не впервые за всю свою жизнь сорокалетнюю он нарушал свои же незыблемые принципы. Железные принципы. Принципы Солдатова.

— Все-таки я был прав, когда женился на Золушке.

Нина подняла глаза от тарелки. Муж сидел перед ней за столом, глядя в упор, кривя губы в ухмылке.

— Ты о чем? — спросила Нина как можно спокойнее.

— Ну, взял бы я в жены принцессу крови, — пояснил Дима. — Грянул бы гром, который грянул... Королевство идет с молотка, королевский повар просит расчет. А королева не умеет готовить. Не приучена. Она бросает спагетти в холодную воду... — Дима потянулся за бутылкой коньяку. — Бифштексы она обжаривает по часу, до состояния угольной пыли...

— Поставь бутылку на место, — перебила его Нина, стоически сохраняя ровный (закалка!), невозмутимый (будь здоров какая закалка!), бесстрастный тон.

— Это был, между прочим. — Дима налил себе коньяку щедрой рукою. — Это скорбные будни одного моего разорившегося партнера. Партнер нажил язву. Подал на развод.

— Ты тоже наживешь, — пообещала Нина, с бессильным отчаянием наблюдая за тем, как Дима опрокидывает в себя содержимое рюмки. — Ты пей больше. Особенно по утрам.

— А я женился на Золушке. — Теперь он придвинул к себе тарелку с овощным пловом. — Поступил дальновидно. Да, Нинок? Моя Золушка умеет готовить. Замечательная штука, Нинон. Как называется?

— Плов. — Нина старалась не смотреть на эту чертову бутылку коньячную, взять бы ее да спрятать, но ведь Дима только того и ждет, он ведь коньяк нарочно на стол выставил и утренние сто пятьдесят неспроста выжрал! Провокация. Детская провокация. Мазохистская жажда скандала.

— Это плов, — повторила Нина глухо. — Овощной плов. Я рада, что тебе нравится. Очень простой рецепт. Рис обжаривается на...

— Нинок, — перебил ее Дима, улыбаясь вкрадчиво и хищно. — А когда у нас не будет денег и на рис? Когда придут такие черные времена, Нинок, а они не за горами? Когда мы и рис не потянем, что мы будем есть тогда?

— Картошку, — вздохнула Нина.

Ничего не поделаешь, надо выдержать этот идиотский, бессмысленный перебран, отступать в словесный пинг-понг, не нарушив правил. Ничего не поделаешь, утренний ритуал, господа, обычное дело. У вас, господа, в половине девятого утра — пробежка по дворику-садику, выгул мопсов и такс, контрастный душ с обтираниями, а мы вот тут сидим друг против друга и предаемся унылому словоблудию.

— Будем есть картошку, Дима. Витамин С. Очень полезно. В общем, с голоду не помрем, я тебе обещаю.

— Замечательно! — Дима снова потянулся к бутылке. Нет, это уже чересчур. — Картошка! Обожаю. Консоем из картофельной кожуры — пальчики оближешь! Мусс из картофельных очистков... Мечта!

Надо досчитать до десяти.

Дима уже отвинтил крышку бутылки.

До десяти, про себя, спокойно, размеренно... Только бы не взорваться. Не закричать, иначе все кончится так же, как вчера, — ссорой, криками, битьем посуды...

— Поставь бутылку на место, — приказала Нина.

Дима неспешно наполнил рюмку до краев, пролив коньяк на скатерть. Он действовал наверняка. С отчаянным, истерически-самозабвенным упорством дитяти-злобредины, нарывающегося на семейный скандал.

Нина вскочила, отшвырнув стул. Выдернула рюмку из Диминых пальцев. Дима перехватил ее руку, сжал запястье до боли...

— Прекрати! — крикнула Нина. — Рукупусти! Одурел?! Ты что, нажраться хочешь с утра?! Пустируку!.. Нам через час дом ехать показывать!

Дима отпустил ее руку, отобрал рюмку с остатками коньяка и снова потянулся к бутылке.

— Несмей! — Нина успела схватить бутылку со стола. — Нам дом показывать. Ты ведь уже договорился. На выгодных условиях! Чего ты добиваешься? Они твою пьяную рожу увидят — они же разговаривать с тобой не захотят.

— Я не поеду, — буркнул Дима, угрюмо глядя на скатерть, заляпанную бурыми пятнами. — Ты одна поезжай.

— Сума сошел? — Нина поставила бутылку на край стола и села. — Что я там без тебя одна буду...

— Не поеду! — рывкнул он и ребром ладони сбил со стола бутылку. Она отлетела к стене, разбилась вдребезги. — Я не поеду, слышишь?! Это мой дом! Ну не могу я смотреть, как у меня его отнимают! Это все равно что ребенка своего отдать на сторону... На выгодных условиях! — заорал он осатанело.

— Ребенка своего ты давно уже отдал на сторону, — вырвалось у Нины безжалостное. — Ничего, не помер. И теперь не помрешь.

Задохнувшись от ярости, Дима умолк, затем тяжело поднялся из-за стола, наклонился к Нине и ударил ее по лицу наотмашь.

Она зажмурилась на секунду, превозмогая боль. Щека горела, слезы хлынули из глаз, попробуй удержи — не удержишь...

Нина согнулась, прижав ладонь к пылающей щеке. Больно и стыдно. До рукоприкладства у нас еще дело не доходило. Вот до чего мы дожили, счастливые молодожены, и года не минуло, как вместе...

Нина вытерла слезы и взглянула на мужа. Тот стоял рядом, смотрел на нее испуганно и покайнно. Манжеты сорочки в коньячных брызгах, словно в крови. Коньяк разлит на полу, бутылочные осколки разбросаны по всей кухне.

Нина встала и, обогнув Диму, осторожно, стараясь не наступить на стекло, вышла.

Вернулась через минуту, взяла веник и совок.

Дима не двинулся с места. Стоял, утрюмо глядя в стену.

Бедный Дима. Невыносимый, с одутловатой похмельной рожей, мучающий себя, мучающий ее, Нину, бедный Дима. Бедный мой Дима, как же тебе помочь?

— Я не поеду. — Он бросил на жену быстрый испытующий взгляд. — Поезжай одна. Ладно?

— Ладно, — вздохнула Нина и принялась сгребать осколки липкого бутылочного стекла.

— Жарко! — Проводница, первой ступившая на перрон, повернулась к Олегу. — Вечер, а духота какая, да?

И она улыбнулась Олегу на прощание, еще раз пристально всмотревшись в его лицо, силясь понять: кто такой, почему знаком и знаком ли? Все эти шесть долгих часов, пока поезд полз до Москвы, она заглядывала в его купе, изобретая поводы: то чай, то «стоянка сокращена», то «там газеты носят». Скажет — и смотрит, пытаясь припомнить. И уж готова спросить, а робеет.

Ну, решилась бы, дуреха, спросила. Олег бы ей ответил. Даже автограф бы сбацал, расписал-

ся бы на бумажной салфетке с голубым штампом МПС сбоку: «Милой Ане-Тане-Ксане, на долгую-вечную память, и пусть ваш бронепоезд, Таня, всегда стоит на запасном пути».

Жена неслась прямо на него, расталкивая идущих навстречу пассажиров, лихорадочно вглядываясь в номера вагонов. Промчалась мимо Олега, обернулась назад невидяще, едва не сбив с ног какого-то старика с рюкзаком.

Смыться бы сейчас под это дело! Олег смотрел ей вслед, вскидывая сумку на плечо. Быстро-быстро, кепочку на нос, голову в плечи, пулей прошить толпу провожающих-встречающих и — к стоянке такси...

Стоп, милый друг, про такси забудь, непозволительная роскошь, непростительное моветовство. Ты теперь банкрот, ты на самом дне долговой ямы. Никаких такси, никаких леваков, теперь тебе прямая дорога в славный московский метрополитен имени Ульянова-Ленина.

— Олелечка-а-а!

Увидела. Окликнула. Запеленгован, опознан, пойман. Увы. Теперь стой, раскинув навстречу ей тонкие, вялые, ненатруженные, сибаритские свои длани (а ну как не удержу? Располнела!), улыбайся ей фарисейски, жди, пока повиснет на шее, обмусолит, затискает, пропоет свое неизбежное: «Колю-ученький».

— Колю-ученький! — Жена чмокнула его в подбородок. — Лелька, милый, я же не знала, какой вагон... Прости, что я без цветов. Лелечка, у меня даже на цветы денег нет! — Она отстранилась от него, глядя с отчаянием, с каким-то детским беспомощным страхом, и вновь приникла. — Лелечка, у меня триста рублей осталось. На все про все. Они же заморозили вклады, ты знаешь? Ты хоть понимаешь, что происходит?

— Лена, смотрят, — пробормотал Олег, пытаясь отодрать жену от себя, сбросить с плеч ее руки, вцепившиеся в отвороты куртки намертво. — Пойдем, успокойся. Мы дома обо всем... Слышишь, Лена?

— Я не могу со счета снять ни копейки. Ни цента. Олег, ты понимаешь? — И она заплакала беззвучно. Она всегда легко пускалась в рев — ее когда-то в театральное приняли, восхитившись именно этому умению разрыдаться с пол-оборота, на счет «раз», сулили ей светлое будущее — подвижная психика, редкость.

— Олег! — Жена вытерла слезы. — Давай сразу в банк? Тебе отдадут, Олелечка, ты же народный.

— Инородный, — буркнул Олег, стирая со щеки следы помады, и встретился взглядом с проводницей, которая по-прежнему стояла возле дверей и смотрела на него во все глаза. — Иногородный...

— Не играй словами. — Жена взяла Олега под руку и повела за собой по перрону, к грязноватому неуклюжему терему Ярославского вокзала, темнеющему впереди. — Ты себе не представляешь, насколько все катастрофично! Сейчас поедem, Толя в машине ждет... Слава богу, они у нас в Сбербанке, не в каком-нибудь злодейском СБС-Агро.

— Ой, подожди-ите! — ахнула проводница им вслед.

Олег оглянулся.

Проводница сделала шаг навстречу, прижимая ладонь к груди.

— Подождите! — повторила она ликуяще. — Вы же этот... Ой! Вспомнила! Не уходите, пожалуйста, я сейчас... — Она метнулась в тамбур, крича на бегу: — У меня журнал как раз! Я вынесу!

Олег хмыкнул, скосил глаза на жену. Ничего не попишешь, в нем тотчас ожило то, что он более всего в себе ненавидел, стыдился, давил, да не выдавил: актерское, павлинье, горделивое, невытравляемое, как каинова мета, — ага, узнала! Тысячу лет не снимался, а узнала!

— Вот видишь, — прошептала жена, прижавшись к его плечу. — Сейчас поедem в банк, там такие же бабы сидят. Обаяешь их в два счета, окрутишь — отдадут тебе наши денежки.

Проводница выскочила из вагона, ринулась к Олегу, размахивая свернутым в трубочку, глянцево поблескивающим журналом и треща на ходу:

— А я-то полдня вспоминаю, где ж я вас... И вот журнальчик как раз... По вагонам глухонемые носили... «Экран» старый, за девяностый год...

Она развернула журнал на нужной странице с черно-белым кадром из старого фильма, где Олег, молодой, веселый, прижимал к худому боку чарджуйскую дыню, шурился, глядя куда-то вправо...

— Расписаться? — спросил Олег с ленцой и взял журнал. — Есть чем?

— Ой! — Проводница хлопнула себя ладонями по бедрам, провела по кармашкам фирменного темно-синего жакета. — Вот разве что... Чего это? А, карандаш для век, подводка.

Олег повертел в руке протянутый ему дешевенький косметический карандашик с остро заточенным черным грифелем.

— Я-то смотрю: вы или не вы? — частила проводница. — Надо же! Я думала, артисты — они самолетами только, а если поездом, так «эсвешкой», а вы в простом купейном, да еще полка верхняя... Нет, надо же! Говорили, вы умерли давно. В аварию попали, что ли...

Олег сжал в пальцах карандашик. Напрягся. Хорошо еще, он смотрел сейчас не на дуру-бабу, которая с бездумной легкостью пустомелитетехи, с извечным расейским простодушием, тем самым, что хуже воровства, несет свой безжалостный вздор... И не на побледневшую жену он смотрел — уткнулся взглядом в черно-белый кадр, в подпись под ним: в роли такого-то такой-то.

— Так вы распишетесь? — спросила проводница заискивающе.

Олег кивнул, послунил карандашик И обвел свою фамилию траурной черной рамкой — размашисто, резко, с нажимом.

— Нина Николавна, анекдот рассказать? Свежак? — Саша, сторож их загородного дома, откашлялся и начал нарочито бесстрастно: — Приходит мужик в банк. Говорит этой... как ее... ну, которая в окошечке торчит...

— Операционистка, — подсказала Нина.

— Во-во. Говорит ей: «Я хочу открыть у вас валютный счет. К кому мне обратиться?» Она — ему: «К психиатру!»

И Саша рассмеялся заливисто, в голос, выкидательно уставясь на Нину.

— Смешно, — кивнула Нина. — Я запомню.

Улыбнулась через силу и медленно отошла от калитки. Славный Саша, верный Саша, хочет ее подбодрить, видит, как ей паршиво.

Теперь она мерила шагами садовую дорожку, ведущую к дому. Десять шагов вперед — десять назад. Десять — вперед, к двухэтажному особнячку под высокой остроконечной крышей, где в мансарде, на балконе, стояли покупатели, уже по-хозяйски придиричливо и зорко ог-

лядывая двор и садовые пристройки... Десять шагов — назад, спиной к дому, к этим людям, Нина их видеть не могла, потому и в дом не вошла, передоверив все старому другу Левке, спасибо, что согласился помочь...

А чем они перед ней виноваты, эти люди? Ничем. Совершенно. Они покупают дом, который выстроил ее муж Дима в давние-давние, почти былинные времена. Времена своей удачи, своего успеха, своей силы.

Они покупают дом, в который он, Дима, ее, Нину, привел. Это было... Когда же это было? Год назад, без малого. Осенью — он еще жег листья, была сухая солнечная осень, такая же сухая и солнечная, как нынешняя...

— Вы, наверно, Нина Николавна, какого-нибудь кошачьего знака, — произнес вдруг Саша, который стоял возле флигелька-сторожки и не сводил с хозяйки сочувствующих глаз. — Кошачьей породы. Да? Угадал? Вы кто по гороскопу?

Нина остановилась, глядя на него изумленно, с трудом возвращаясь из прошлого сентября.

— Не знаю, Саша, — ответила она наконец. — Я в этом ничего не понимаю. А почему ты спросил?

— А в зоопарке точно так же... — Саша усмехнулся. — Я Леньку, своего младшего, в зоопарк каждую неделю вожу. Так вот там одна зверюга из отряда кошачьих — то ли леопардиха, то ли пантера — точно как вы ходит. Взад-вперед. Как заведенная. Как маятник. Вперед — назад. По клетке. И хвостом бьет по полу.

— То-то и оно, что по клетке. — Нина взглянула на балкончик. Ушли, слава богу. Теперь, наверно, расхаживают по первому этажу, присматриваются, принохиваются. Левка краснобайствует, набивает цену. — Я тоже, Саша, в клет-

ке. — Нина невесело улыбнулась. — Что делать, не знаю... Они тебя оставляют здесь? — спросила она, резко меняя тему. — Новые хозяева? Я их об этом просила. Дима тебе три месяца не платил, они все компенсируют, я договорилась.

— Спасибо. — Саша нахмурился. — Они оставляют. Только я все равно уйду. Я без работы не останусь. Не пропаду. А у них я служить не буду. Мне тут без вас... — Он запнулся, договорил чуть слышно: — ...тошно будет.

У Нины перехватило горло. Еще секунда — и разревелась бы. Нервы ни к черту. Надо бы отчитать сторожа пожестче — мол, где ты сейчас найдешь работу, опомнись? Сиди спокойно в своей сторожке, не дури... Нет, слезы мешали говорить, Нина только рукой махнула раздосадованно, отвернулась и вновь побрела по дорожке. «Тошно будет». Почему чужие люди — преданны, почему родные — предадут?

В окнах дома зажегся свет, хотя было еще светло, шестой час всего. Это Левка включил, чтобы они там получше все разглядели, вороги, захватчики... Ощупывают сейчас диванную обивку, тычут носками ботинок в ворс ковра, шмякаются в кресла, откидываются крепкими бритыми (братва! — как бы не рядились в честный мидл-класс, случайно разбогатевший на удачном гешефте, — братва, видно же, у Нины глаз наметан) чугунными своими затылками на кожаные мягкие спинки...

Дом продается со всей обстановкой, господа покупатели. Что там еще? Домашний скраб, кухонная утварь. Чашки, плошки, поварешки. Нам их вывезти не на что. Нам деньги нужны. И не на жизнь, заметьте. На уплату долгов. Нам нужны деньги. Как можно скорее. Промедление смерти подобно.

Нина остановилась. Левка, ее верный Левка (верный-то верный, а от Димы вовремя слинял!), погрузневший, постаревший за те полгода, пока Нина его не видела, вышел на крыльцо. Прикрыл за собой дверь, глядя на Нину весело, подмигнул заговорщически.

«Что?» — спросила Нина глазами.

Левка ухмылялся, тянул время, длил паузу, старый интриган.

— Ну? — повторила она вслух, не выдержав.

И сразу сердце оборвалось. Все и так ясно: Левка договорился, дом продан. Радуйся, Нина, ликуй!

Что ж так муторно-то — выть хочется...

— Покупают? — спросила Нина и не узнала своего голоса.

— Покупают, — подтвердил Лева. — Финита!

Олегу снились доллары. Ему снилось, что он, совершенно голый, сидит скрючившись, дрожа на сквозняке, а возле его босых озябших ног лежат долларовые банкноты. Их очень много, целые бумажные груды, зеленые пологие холмы, и он, Олег, сгребает их охапками, подтягивает к себе поближе...

Он видел сон и понимал при этом прекрасно, что это лишь дурацкий сон, никакого Фрейда не надо, все ясно как белый день. Олегу плохо, ему холодно, он гол и жалок, он унижен. Его сначала раздели, потом — «обули», ему нужны деньги, позарез нужны, эти гнусные бледно-зеленые бумажки, шуршащие у его ног.

Олег открыл глаза. Он лежал на постели, на боку, одеяло сползло к ногам. Створка окна была открыта — сентябрьское прохладное ветреное утро. Олег подтянул одеяло, укрывшись до

подбородка. От подушки жены пахло духами. Олег их терпеть не мог. Дорогие, да толку-то? Резкий сладкий запах. Вылила вчера на себя полфлакона, дура, он говорит: «Меня от них, Ленка, тошнит», — а она: «Нет, они тебя возбуждают»... Кстати, где она сама-то?

Вот она. Взгромоздилась на стул в чем мать родила, тянется к пакету, стоящему на платяном шкафу. Олег оценивающе посмотрел на нее, как смотрят на чужую женщину, на пару минут выхватив ее взглядом из толпы. Жена, конечно, сложена идеально. Немного отяжелела, но все еще хороша. В театральном у нее было прозвище Тело. У нее — Тело, у Олега — Отелло, потому как ревновал он ее дико, чуть что, чуть кто-то не так на нее посмотрит, Олег — тут как тут и разговор у Олега короткий...

Жена продолжала рыгаться среди пакетов и коробок, что-то лихорадочно разыскивая.

Она так и осталась по сей день девочкой из Торжка, постаревшей девочкой из Торжка, бездарная актриса на четвертых ролях, не до конца избавившаяся от своего частого, торопливого говорка, нелепая, незлая, бестолковая, шумная...

Олег вспомнил, с какой возбужденной настойчивостью она трижды отправляла его вчера в этот чертов Сбербанк. Он плелся туда, вяло скандалил с начальницей, возвращался домой ни с чем... Жена так же возбужденно и суетливо тащила его к супружескому ложу: «Олелечка! Три месяца не виделись!...» Потом, растирая его полотенцем в ванной, шептала, целуя в шею: «Олесик, у нас ведь еще пять штук в «Альфа-банке». Сходи, вдруг хоть там отдадут?»

Олег потащился в «Альфа-банк». Там ему объяснили вежливо, что в стране — бардак, потоп,

конец света, гибель Помпеи, может, их завтра всех уволят самих, счета заморожены. Ну и что, что вы народный артист? Когда — Помпея, тогда все под лавой кипят одинаково — и народные, и простонародные... Здесь сегодня, между прочим, трясли своими орденами-медалями пять народных, восемь заслуженных, чемпион мира по прыжкам с шестом и даже один старичок преклонный, лауреат Сталинской премии за роман-эпопею «Рассвет над Кушкой». В семи томах. Про пограничников. И идите отсюда, пожалуйста, двадцать ноль-ноль, мы закрываемся...

Ужасный вчера был день.

Жена наконец отыскала нужный пакет, прижала его к груди, осторожно, стараясь не шуметь, слезла со стула на пол. Олег сонно смотрел на нее.

Кошмарный был день. Судорожные набегі на неприступные банки, прослоенные такой же судорожной торопливой любовью. Жуткий день. День, похожий на несъедобный пирог, испеченный неумелой хозяйкой: подгоревшие жесткие коржи, прослоенные чересчур жирным, приторным кремом.

Прижимая пакет к себе, Лена обернулась.

Нет, все еще хороша: изгибы бедер, линия плеч... С изгибами — проблем никаких. Вот с извилинами — более чем достаточно.

Олег перевел взгляд и увидел, как жена смотрит на него расширенными от ужаса глазами.

— Ты чего? — спросил он недоуменно и сел на постели.

— Ты не спишь? — пробормотала Лена и попятилась к двери, неуклюже пытаясь спрятать пакет за спину.

— Оденься. — Олег бросил ей халат. — Че-

го тебя заколдобило-то всю, Лен? Что у тебя там, в пакете?

— Ты давно не спишь?

Халат упал ей на плечо. Она продолжала отступать к двери, одной рукой пытаясь натянуть на себя халат, а другую, с пакетом, все так же пряча за спину. Как первоклашка, обороняющаяся от сурового папаши ранец, в котором лежит дневник с «парой» по чистописанию.

— Дай сюда! — Олег поднялся с постели. Он был заинтригован и повторил, повысив голос: — Дай сюда! Что у тебя в пакете?

Короткая немая борьба. Комедия. Два голых немолодых человека, пыхтя и толкая друг друга, сражаются за обладание полиэтиленовым мешком с выцветшим пожеланием счастливо-го Нового года...

Олег наконец вырвал мешок из Лениных рук, перевернул его вверх дном, потрянул, и на пол полетели мужские шлепанцы. Чужие. Размера на два меньше, чем те, что носил Олег. И не новые.

Смешно...

Олег и впрямь рассмеялся — глуховато и нервно.

— Я тебе сейчас все объясню, — быстро сказала жена, натягивая халат и запахивая его на груди.

— Не надо! — Олег уже смеялся неостановимо, почти с облегчением, да, с облегчением. Он знал, что сейчас оденется и уйдет отсюда ко всем чертям, куда угодно, как можно скорее. Чужие шлепанцы. Замечательный повод. — Не надо, Ленка. Я тебе сам все объясню. Ты их вчера, перед моим приездом, хотела выкинуть и пожалела. Да? Ленка, тысячу раз тебе говорил: тебя погубит твое скопидомство... Сегодня, по зрелом размышле-

нии, ты все же решила их выкинуть. Или перепрятать. Тут я тебя и застукал. Так?

Жена отвернулась и заплакала. Чего-чего, а плакать мы умеем. Олег взглянул на злосчастные шлепанцы с лоснящимися стельками... Смешно. Как это всегда смешно, в сущности! «С Новым годом, с новым счастьем!» было начертано на пакете, который он все еще держал в руках.

Вот и славно. Воспримем этот бодрый призыв как руководство к действию. Устроим себе Новый год. Новую жизнь. В конце концов, нам всем ее навязали семнадцатого термидора.

Олег натянул на себя джинсы и рубашку и направился в прихожую.

— Ты куда? — размазывая слезы по лицу, охнула жена. — Олег! — Она повисла у него на руке. — Я тебя не пущу никуда!

— Я в Сбербанк, — соврал он, не раздумывая.

— Но давай объяснимся, в конце концов! Эти шлепанцы, они...

— Я в Сбербанк, Лена. — Олег надел куртку и похлопал ладонью по карману. — Приду к открытию. Они вчера сами сказали: «Приходите к открытию».

Жена отпустила его руку. Ага, значит, он рассчитал правильно: слово «Сбербанк» подействовало магически. Как правильно набранный код. Сейчас замок щелкнет и дверь откроется.

— Олелечка, ты же ничего не понял. — Лена открыла входную дверь. — Эти шлепанцы, они знаешь откуда? У подруги ремонт, и она...

Олег кивнул, не дослушав, осторожно, боком, выскользнул на лестничную площадку и вызвал лифт.

Свобода! Да здравствуют чужие мужские шлепанцы с лоснящимися стельками! С Но-

вым годом, с новым счастьем! Прости мне, Господи, этот беспримерный цинизм, но я никогда не любил ее, Господи, куда я только не убегал от нее, ни в чем не повинной, простодушной дурехи, какие только поводы не изобретал, чтобы слинять отсюда на неделю, на месяц, на год...

— У нее ремонт, у подруги. Ты понял? Она перетасила ко мне весь свой гардероб. — Жена стояла в дверях, глядя заискивающе, с растущим недоверием.

— Она носит мужские шлепанцы? — весело спросил Олег, дрожа от нетерпения. Лифт полз наверх непростительно, садистически медленно. — Ну да, теперь модно. Стиль унисекс.

— Ты что, издеваешься? — Лена сделала шаг к нему. — Ты мне не веришь, Олелечка? Это ее мужа шлепанцы! Олег! Олег, ты вернешься?

— Ну конечно. — Дверцы лифта разъехались наконец. Олег вошел в кабину, улыбаясь жене умиротворяюще. — Конечно, вернусь. Я — в Сбербанк, Ленка.

Абсолютный скот. Он помахал ей рукой и нажал на кнопку первого этажа. Свобода! Да, я — скот, Господи, но я был бы еще большим скотом, если бы продолжал мучить ее и себя, продолжая эту затянувшуюся мороку.

Он открыл бумажник. Две сотенные. Сорок копеек серебром. Это вся ваша наличность, господин народный артист. С Новым годом, мэтр! С новым счастьем.

Что с ней происходит? Сосудистый спазм? Но тогда была бы боль...

Выйдя из магазина, в котором Дима арендовал два этажа, Нина остановилась, потом сде-

лала несколько осторожных шагов к краю тротуара, где стояла машина.

Боли не было, только сдавило виски. Как будто чьи-то огромные, сильные, невидимые ладони сжали голову в жестких властных тисках. В глазах потемнело. Нет, это все-таки спазм.

Нина прислонилась к стеклянной глади рекламного щита и перевела дыхание. Странное, незнакомое доселе ощущение! Будто тело стало невесомым, каким-то бесплотным.

— Владик! — окликнула Нина Диминого шофера и охранника, сидевшего в машине. — Владик!

Она произнесла его имя дважды и не услышала своего голоса. Она вообще ничего не слышала и не видела. Дневная улица, пешеходы, яркая вывеска Диминого магазина, последнего его оплота, сданного, впрочем, сегодня без боя, — все сейчас расплывалось перед глазами в пестрое, смазанное по краям пятно.

Она должна была родить. Вот оно что. Нина подумала так — и тотчас уверилась в этом, и диковатая догадка показалась ей единственно, непреложно правильной. Сегодня, сейчас она должна была бы родить своего мальчика. Если бы не потеряла его тогда, в марте, — сегодня она родила бы Диме сына.

Ей говорили — так бывает: женщина, потерявшая нерожденного ребенка, все равно потом безошибочно чувствует тот час, ту минуту, когда он должен был бы появиться на свет. Ей говорили — она не верила...

Нина повернулась и прижалась лбом к гладкой поверхности рекламного щита, впечатавшись повлажневшими от холодного пота ладонями в пламенеющие за пыльным стеклом, улыбающиеся губы Клаудии Шиффер, рекламирующей «Ревлон».

Дурнота. Вязкая обморочная слабость. Ничего, сейчас все пройдет. Сейчас, уже скоро...

Ребенка она потеряла в марте. Диму — тогда же. Да, она потеряла Диму тогда же. С тех самых пор, с того холодного весеннего вечера, когда Дима был в голос, никого не стыдясь, метался по холлу дорогой римской частной клиники, — с тех самых пор, с каждым новым днем, Дима отдалялся от Нины дальше, дальше, дальше...

Он так и не смог примириться с этой утратой. Нина — смогла, Дима — нет. Он так мечтал о сыне. О наследнике. О Шереметеве. Он так хотел, чтобы...

Отпустило. Прошло так же внезапно, как и началось. И слух, и зрение — все вернулось. Осталась слабость: ватные ноги, влажные от холодного пота лоб и шея. Нина приблизила ладони к глазам — руки мелко дрожали...

— Нина Николаевна, что с вами? Вам помочь? — Выскочивший из машины Владик стоял рядом. — Я сперва решил — может, задумались...

Из магазина вышел Дима, бросил на ходу утрюмо:

— Поехали. Садись вперед.

Значит, он сядет назад. Будет там, на заднем сиденье, прикладываться к плоской походной фляжке, доставшейся ему от деда. Будет хлебать коньяк, так у нас теперь заведено. Это у нас, господа, уже вошло в привычку.

Нина медленно двинулась к машине. Владик бросил на нее тревожный взгляд и протянул руку. Нина покачала головой — не надо, сама дойду. Владик заметил, что ей худо. Дима — нет. Обычное дело.

Ладно. Едем. Машина неслась по Садовому, когда Нина, напрягшись, услышала знакомый

ненавистный звук — скрежет отвинчиваемой металлической крышки. Походная фляжка, семейная реликвия, черт их дери! Пупковское племя, потомственные лавочники-выпивохы!

Она оглянулась. Ну разумеется, уже присосался. Жрет свой коньяк, уставясь на жену с веселым наглым вызовом. Скотина. Пьянь. Я тебе сегодня, пьяная гадина, сына должна была родить. Слава богу, что был этот выкидыш поздний, едва мне жизни не стоивший, там, в холодном ветреном марте, во время круиза по твоей обожаемой Италии. Какого дьявола ты поволок меня, беременную, полумертвую от токсикоза, в свой Вечный город, будь он четырежды неладен?! Нет, все к лучшему. Не будет у тебя сына. Не будет, не должно быть!

Нина отвернулась. Грех. Прости меня, Господи, это я от отчаяния, это я горе свое глушу злыми мыслями.

— Дмитрий Андреевич, — откашлявшись, сказал Владик, — Нина Николаевна... Не ко времени разговор...

Долгая пауза. Нина скосила на него глаза: взмок, бедняга.

Владик снова откашлялся.

— Вторую неделю собираюсь... — И как в воду с головой: — Ухожу я.

Рассмеявшись, Дима закрыл фляжку и бросил ее на сиденье. Жутковатый у него был смех, хмельной, судорожный.

— Дмитрий Андреич, если бы я один был, я бы бесплатно на вас ишачил! Пожизненно! — Владик заговорил торопливо и возбужденно: — Но ведь двое у меня! Третий месяц без бабок, жена не работает, скоро вообще жрать будет нечего...

— Все правильно, Владик, не оправдывайся. — Нина коснулась его руки, ощутив, как напряжено мощное плечо. Бедняга Владик. Владик уходит последним. Если уж Владик уходит... — Не оправдывайся. Это мы должны перед тобой оправдываться. У тебя — семья, мальчишки...

— В охранное агентство зовут, — бормотал Владик, боясь взглянуть в зеркало заднего обзора, чтобы не встретиться с глазами хозяйна. — Жена ультиматум выдвинула: еще неделю впроголодь — детей забирает и к матери в Серпухов.

Дима уже не смеялся.

— Долг мы тебе вернем сегодня же. — Нина оглянулась: — Дима, сколько у нас осталось?

Дима молчал. Сидел, откинув голову на спинку сиденья, прикрыв глаза. Сколько осталось?.. Икс минус игрек равняется... Икс — деньги, вырученные на продаже загородного дома. Игрек — сумма, которую он задолжал за аренду. Деньги только что отданы. Он больше никому не должен. Разве что Владiku. Деньги отданы, послезавтра приедут ушлые ребята-оптовики, скупят за треть цены остатки товара, все эти Димины фирменные кушетки с вензелями, и — привет.

Дома в Серебряном бору больше нет. Дела своего — нет. Денег — пшик. Икс минус игрек равняется восемь штук баксов. Что такое восемь штук? Он в Монте-Карло год назад за час больше выиграл. Рвануть, что ли, в Монте-Карло? Помирать — так с музыкой. Стою я в Монте-Карло, стою, как папа Карло, опять стою с протянутой рукой... Во-во, приеду, спущу последние, встану у входа в казино с протянутой рукою. На грудь — табличку: «Господа, подайте невин-

ной жертве русского кризиса. Же не манж па сис жур»...

Дима нащупал рукой гладкий бок своей заветной фляжки.

— Долг мы тебе вернем, — говорила между тем Нина. — Ты прости нас, Владик, прости.

— Это вы меня простите, — ответствовал Владик уныло.

Хмыкнув, Дима отхлебнул коньячку. Очень трогательно. Сейчас зарыдают оба.

— Владик, тормозни у аптеки, — попросила Нина. — Как-то мне сегодня нехорошо... — Она понизила голос: — Ты уж тогда и машину помоги нам продать, пожалуйста.

Дима закрутил крышку фляги и спросил, мгновенно закипая:

— Это как понимать, Нинок? Кто здесь хозяин, эй? Что значит — продать?!

— А зачем нам машина? — Нина повернулась к мужу, стараясь говорить спокойно. — Чтоб ты ее разбил спьяну? Ты же не просыхаешь!

Владик прижал машину к кромке тротуара, остановился, сбросил ремень и открыл дверцу. Единственное, о чем он сейчас мечтал, — чтобы его поскорее отпустили в аптеку. Там можно переждать бурю. В том, что буря грянет, многоопытный Владик не сомневался.

— Влад, из машины, живо! — рявкнул Дима.

— Владик, сиди! — крикнула Нина, вцепившись в крепкое запястье охранника. — Нам машина сейчас не нужна, Дима! Нам деньги нужны! А коньяк свой жрать ты и дома можешь! На полатях! Не за рулем! Целее будешь!

Дима выскочил наружу и грохнул дверцей.

— Выходи-и-и! — просипел он, схватив охранника за рукав.

Владик затравленно покосился на Нину (слово хозяина — закон!) и молча выбрался на тротуар.

— Теперь ты! — Дима обошел машину, рванул переднюю дверцу, нагнулся и, тяжело дыша, обдавая коньячным духом, сграбастал жену. Багровый от злобы, невменяемый, глаза бешеные. — Давай выметайся!

— Дмитрий Андреевич! — простонал Владик.

Дима молча тащил Нину, она пыталась было отбиться — где там! Дима бесцеремонно выволок ее, оттолкнул от машины. Владик едва успел подхватить Нину, заслонить собой:

— Дмитрий Андреич, ну нельзя же так! Люди смотрят...

— Во вы мне где! — Дима рубанул себя по кадыку ребром ладони. — Во где! Оба! Катитесь!!! — Он плюхнулся за руль и включил зажигание.

— Куда?! — закричала Нина. — Ты же пьяный!

Владик рванулся к машине. Дима схватил с сиденья Нинину сумочку и запустил ею в охранника. Удар пришелся в переносицу. Охнув от боли, Владик на миг зажмурился, Дима захлопнул дверцу, резко развернулся и, нарушая все, что можно нарушить, свернул с Садового на узкую улочку.

Приступ пьяного помешательства. Вспышка мутной злобы. Такое с ним теперь случалось.

Машина исчезла за углом.

Расталкивая прохожих, Владик и Нина помчались туда же.

— Там... одностороннее... — выкрикнул Владик, на бегу стирая с лица кровь, — острый, окаймленный металлом, край Нининой сумочки рассек ему надбровье. — Односто... Господи, пронеси!

Они еще не успели добежать до перекрестка, когда за углом пронзительно взвизгнули тормоза... Еще раз...

У Нины обмякли ноги.

Грохот. Звон расколотого стекла.

Владик уже свернул за угол, Нина ковыляла за ним.

Небольшая улочка. Несколько машин остановились посреди дороги. Бегут какие-то люди. Где Владик? Где Дима?

Снова слабость, туман застилает глаза...

Нина шла вперед, ничего не видя перед собой, слыша лишь чужие возбужденные голоса, какие-то обрывки фраз:

— На него встречная неслась, он руль стал вертеть, чтоб уйти от удара...

Она брела, с трудом передвигая ноги.

— В занос ушла, машина! В неуправляемый!

Под ногами хрустнуло стекло. Нина остановилась.

Какие-то битые бутылки с обрывками ярких этикеток... Консервная банка с оливками, сплюснутая в лепешку... Темно-красные, с пегими подпалинами, спелые ядра гранатов рассыпаны по асфальту...

Нина подняла глаза. Разудалая вывеска «Усилада» над дверями мини-маркета. Димина машина, врезавшись в витрину, пробив ее насквозь, замерла, наполовину въехав в недра гастрономического рая.

А где Дима?

Нина шла к машине, наступая на битое стекло. Дима жив, жив, жив. Где он?

Вон Владик. Он там, в разгромленном Димой магазине, за разбитой витриной. Наклонился, исчез. Снова появился, поднимает кого-то невидимого отсюда.

Нина подошла к разбитой витрине вплотную.

— Там мобильный в машине! — крикнул Владик, поднимая хозяина с пола.

Голова у Димы свесилась безжизненно, лицо было залито кровью.

— Мобильный! — отчаянно кричал Владик. — Попробуйте достать! И — в «скорую», срочно!

— Уже позвонили, — откликнулись за Нининой спиной. — Ну надо же! Он через лобовое вылетел... Живой, да? Ты пульс пощупай, парень.

— Хоть кому-то повезло, что кризис, — желчно заметил кто-то из зевак. — Они с утра закрылись ценники менять... А то бы скольких он передавил, скотина пьяная.

Повезло, подумала Нина. И потеряла сознание.

«Куда меня несет? — думал стойкий оловянный солдатик. — Да, это все шулки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица — по мне, будь хоть вдвое темнее!»

Петр Петрович Солдатов улыбнулся и осторожно, стараясь не разбудить спящего сына, убрал его маленькую теплую ладонь с раскрытого томика андерсеновских сказок. Выключил фонарик, переложил его вместе с книжкой на табурет, стоявший рядом с кроватью.

Андрюшка, хитрован, пристрастился к тайному ночному чтению. Рецепт известен. Никаких Америк. Укрыться стеганым одеялом с головой, зажечь фонарик, извлеченный с антресолей, из отцовского походного рюкзака — и читай хоть до утра. Дед спит в соседней комнате, храпит, как дюжина извозчиков.

Со старшим братцем всегда можно договориться. Отец пашет на ночной разгрузке...

Ладно, Дрюня, я тебя застукал. Петр укрыв сына одеялом. Не удержался, коснулся губами мягкой сыновней щеки со свежей вмятинкой от скомканного края подушки.

Дрюня был его слабостью. Младшенький. Чушь! Старшего, Лешку, Петр любил не меньше.

Его пацаны. Солдатовы. Смуглокожие, темно-русые, и с каждым днем их густые жесткие вихры становились темнее, чернее — в цыганскую отцовскую смоль. Его порода.

Петр выпрямился. Старший сын Лешка дрых на верхней «полке» двухъярусных полатей, лежал на левом боку, свернувшись калачиком, уткнувшись щекой в подушку. На подушке, на полотняной наволочке был вышит оловянный солдатик. Величиной с детский мизинец. Крестиком.

Зато теперь у каждого из сыновей на подушке нес бессменную бессонную вахту собственный оловянный солдатик. Наволочки Петр стирал сам, вручную, не доверяя свое раритетное рукоделие ни жадно урчащему чреву стиральной машины, ни тем паче бабам из соседней прачечной. Бабы знали его тысячу лет, помнили Люсю, лезли теперь со своими сердобольно-настырными причитаниями, кликушескими, приводившими его в тихую ярость: «Петр Петрович, вот вам ваши четыре комплекта... И полотенца еще... Господи, ну когда ж вы женитесь? Че ж бобылем третий год ходить, два мальчика на горбу и старик в придачу...»

Петр провел ладонью по подушке сына, разгладил Лешиного солдата. Оловянные солдатики — это было что-то вроде эмблемы рода. Семейный герб. Придумал все Леша, старший. Как-

то перечитывали Андерсена, втроем, зимним вечером. Со времени Люсиной... Петр до сих пор не мог выговорить «смерти», даже про себя говорил: «уход». Со времени ее ухода миновало месяца четыре, пацаны еще не отошли толком, говорят: дети быстро забывают, нет, это смотря какие, его мальчишки ждали возвращения матери ежеминутно, упорно, с неослабевающей, негаснущей надеждой. Потом подустали, притихли, перестали задавать отцу вопросы, на которые Петру так трудно было отвечать...

А он все придумывал, как их растормошить, отвлечь, успокоить, — семейные чтения, лыжи, театр, каток... Так вот, читали Андерсена, горел ночник, дед задремывал в своем кресле-качалке. Леша сказал: «Пап, он на тебя похож!» — «Кто?» — «Ну, вот, оловянный солдатик. Вот, на картинке. В анфас, точно!» — «Леша, запомни: просто анфас. Может, и похож. Он — солдатик, я — Солдатов. Вы, между прочим, тоже Солдатовы». — «Па, давай мы их нарисуем! Давай это будет наш герб? Их двадцать пять, а нас... если с дедом... Дед, ты играешь?.. Если с дедом, то четверо. Дед, ты ведь тоже Солдатов!»

«Увольте», — возразил дед, на минуту проснувшись, и что-то проскрипел: мол, здоровые лбы, старшему — восемь, младшему — семь, самому младшенькому — сорок, а всё в бирюльки играют.

«Ну, не хочешь — не надо, нас будет трое оловянных солдат».

И заварились дело. Из куска плотного золотистого сатина был выкроен флаг. Три дня, проведенных в словесных баталиях, сочинялся герб. Еще день решали, кто будет главным оловянным солдатом, тем самым, которого отливали послед-

ним и которому олова не хватило на одну ногу. Кинули жребий — бумажка с крестом досталась Петру. Герб был придуман и утвержден на семейном совете: три оловянных солдатики в ряд: одноногий — повыше, два прочих — поменьше; две маленькие буквы «А» в большом «П», и полукружье перевернутой буквы «С» над ними — подковой. На счастье. Дед завистничал, позволял себе язвительные выпады, наконец не выдержал, сдался, униженно просил если не включить его в герб («Поздно, дед! Поздно!»), то хотя бы принять в компанию. Был найден компромиссный вариант. Деду отмерили испытательный срок, в течение которого ему предлагалось поразмыслить над проектом конституции, а также придумать гимн и разработать национальную валюту.

— Конституционная монархия, «Славься!», олово, — отчеканил дед не задумываясь, он был убежденным монархистом, даром что сорок лет оттрубил при ВЦСПС.

С тех пор мальчишки повеселели. Флаг с гербом каждое утро торжественно поднимался на флагштоке, стоявшем возле их двухъярусной кровати, смастеренной Петром. В дом возвращалась жизнь.

Петр закрыл входную дверь на все сорок четыре надежнейших замка. Раньше, давным-давно, в те времена, когда Люся еще была с ними, когда она еще была жива, Петр частенько забывал закрыть дверь вообще, случалось, всю ночь — нараспашку... Он был молод, весел, беспечен. Он никого и ничего не боялся.

Он и теперь никого не боялся. Но с момента Люсиного ухода, с той самой минуты, когда ее не стало, Петр узнал, почувствовал, что такое неотвязный, выматывающий, почти ма-

никальный страх за тех, кто у него остался. Его мальчики и старик. С ними ничего не должно случиться. Петр должен окружить их жизни незримой, неколебимой крепостной стеной. Стеной своей защиты. Ежеминутной защиты и заботы. Только она, эта забота, не должна быть назойливой. Не должна стать им в тягость.

Петр пересек темный двор. Правая рука его была опущена в карман, пальцы сжимали рукоять немецкого складного ножа. На всякий случай. Время — к двенадцати, мало ли с кем столкнешься здесь в этот глухой полночный час. Петр о собственной безопасности заботился теперь обдуманно. Берег свою жизнь не ради себя — ради старика и мальчишек.

Петр подошел к парадному соседнего дома, набрал код, толкнул дверь. Здесь, на восьмом этаже, жил один из его работодателей, бывший школьный дружок, ныне хозяин преуспевающего рекламного агентства, которое специализировалось на размещении дорожных рекламных щитов. Бывший школьный кореш Витя иногда подкидывал Петру работенку. Петр сочинял для него рекламные слоганы. Лихие, изобретательные, с выдумкой, точно попадающие в цель.

Витя платил Петру сто баксов за понравившуюся «фишку». О том, сколько Витя наварила на этой «фишке» сам, Петр старался не думать. В десятки раз больше, может быть, в сотни... Хрен с ним, с Витей, Витя с молодых ногтей (вечно нестриженных, кстати) был жлобом, каких мало. Хрен с ним. Таковы условия игры.

Лифт, как всегда, не работал. Петр рванул наверх пехом.

Таковы условия. Витя — жлоб, но Петру нужны деньги. Петру нужны деньги и работа, оставляющая его день свободным. День отдан сыновьям. Ночь и вечер — работе. Вечером Петр подрабатывал грузчиком в соседнем магазине, потом колесил по городу на своем раздолбанном «жигуле» — частный извоз, основная статья дохода... Сочинял на ходу, на лету, «на колене» свои слоганы, статейки... Внештатный заработок, где угодно, как угодно. Только чтобы не трубить каждый день от звонка до звонка в присутственном месте. Чтобы день был свободным. День — это святое. День — это мальчишки и дед.

Разве может он, Петр, на глазах у которого жена... Ладно. Всё. Он не может, как раньше, торчать на планерке, ругаться с завлабом в то время, когда его пацаны переходят Садовое. Да, они дождутся зеленого. Но при нынешнем дорожном беспределе, когда эти стервецы в иномарках совсем оборзели...

И Петр уволился. Он ушел с работы через месяц после смерти жены. Теперь он, со своими двумя высшими, с научной степенью и дюжиной вполне пристойных публикаций был разнорабочим. Наседка-сиделка-домохозяйка-кормящий отец и сын. И что? Замечательно. Душа — на месте.

Петр поднялся на восьмой этаж. Нажал на кнопку звонка.

Витя долго, дотошно выпытывал из-за двери:

— Кто?... Да?... Ты?... Пригнись мордой к глазку, я тебя не вижу!

Петр нагнулся, приблизил лицо к глазку и скорчил зверскую рожу. Витя открыл наконец, оправдываясь:

— А что ты хочешь? И голоса меняют... Ты чего так поздно?

— Я тебе восемь вариантов принес. — Петр достал из-за пазухи пластиковую папочку с рекламными слоганами. — На эти сигареты финские. Вроде ничего.

Витя высунул голову на лестничную площадку, огляделся и вышел. Скорбно вздохнул.

— Все, Петя, — произнес он траурно. — Каюк. Мы сворачиваем бизнес. Ты же видишь, какая хрень? Заказчики уходят пачками.

— То есть я тебе больше не нужен? — поинтересовался Петр как можно бесстрастнее.

Черт подери! Это были нелишние деньги. Петр знал, что его покупают за гроши, но и эти гроши были ощутимым довеском в семейную казну. Отдельной статьей дохода. Фрукты мальчикам, лекарства для отца...

— Петь, увы. — Витя зевнул, почесал пузо. — Бизнес хиреет. Сам на распутье, веришь? Заказов нет. Кранты.

— Ладно, — кивнул Петр. — Тогда отдай долг. Ты мне триста баксов должен.

— Какой долг, о чем ты? — Витя сделал осторожный шаг назад, к двери квартиры. — Сам на нулях. Ты б знал, какие несем убытки! Разор! Скоро по миру пойдём.

— Не отдашь? — Петр сузил глаза.

— Не, — ответил Витя нагло. — Извини. Форс-мажор.

Хорек.. Он пятился назад, отступая к своей норе. Петр сграбастал его за шиворот, тряхнул пару раз, шарахнул рыхлой спиной о выщербленную стену.

— Ты чего-о?! — завопил Витя, вырываясь. — Зоя, сюда! Это что это?

— Это — форс-минор, — пояснил Петр ненавидяще.

— Козел! — Витя принялся отряхивать плечи от известки.

— Тебе мало? — процедил Петр. — Форс-ми бемоль-минор хочешь?

— Козел! — не унимался Витя. — Я тебе пятьдесят баксов собирался кинуть. Чисто из жалости. Полгода тебя кормил! Ты бы не лапы распустил, а в ножки кланялся!

Петр, повернувшись к лестнице, оглянулся. Лицо его побелело от унижения и ярости.

Витя пулей влетел в прихожую, где лихорадочно давила на кнопки телефонной трубки его перепуганная половина. Захлопнул дверь, загремел засовами.

Петр перевел дыхание, сбежал вниз, ударом ноги распахнул дверь и вышел в теплую сентябрьскую ночь.

Успокойся. Забудь. Форс-мажор. Форс-минор.

Форс, ворс... Жесткий короткий ворс. Лоснящиеся шкурки хорьков. Время хорьков.

Он — Хорьков, ты — Солдатов. Еще повоюем. Прорвемся.

Перелом бедренной кости. Сотрясение мозга. Но он в сознании. Он в сознании?!

— Да, да, да, да, — отвечали Нине в сотый раз. — Состояние средней тяжести. И зачем вы опять приехали?

— А когда к нему можно будет?..

— Вот когда можно будет, тогда мы вам тут же и сообщим.

— Хоть бы в окошечко какое-нибудь на него посмотреть! Хоть в щелочку какую-нибудь, на секунду!

— Какие щели, — раздраженно отвечали ей, — здесь щелей нет, здесь не хижина дяди

Тома, а Институт хирургии. И вообще, женщина, успокойтесь.

Заискивающе улыбаясь теткам в белых халатах, Нина кивнула. Она, конечно, всем тут уже осточертела. Их можно понять.

— А эта кость, она срастется? И если нога на вытяжке, то...

— Женщина! Вам же лечащий врач два часа объяснял все в деталях!

— Но, может быть, какие-то еще лекарства нужны, какие-то препараты...

— Женщина! — Гарпии в белом, страдальчески морщась, вели Нину к лифту. — Ну что вы об одном и том же? Поезжайте домой, примите снотворное — и спать!

У лифта Нину поджидал Лева. Обнял за плечи, ввел в кабину. Она увидела свое отражение в зеркале — серое, осунувшееся лицо... Какое лицо? Нет лица, одни ввалившиеся глаза остались. Волосы выбились из-под платка, повязанного вкривь и вкось, наспех. Лева молча снял с нее платок, пригладил волосы, собрал их в пучок на затылке, заново скрепил заколкой. Как родственник. Как брат.

Он давно был как брат. Свой. Сколько вместе пережито! Сколько раз они вдвоем вытаскивали Диму, их общее непутевое любимое чадо, из загулов, из запоев, из похмельной тяжелой хмари...

— Околоточные приходили? — спросил Лева уже в машине.

Нина молча покачала головой.

— Повестку прислали? Нет? Странно. — Он вздохнул — Плохо. Ты мне звони. Если что — звони сразу же. Помнишь номер мобильного?

Нина с трудом разлепила губы:

— Помню.

Номер его мобильного... Разбуди ее среди ночи — отчеканит, как таблицу умножения. Номер Левкиного мобильного — это как при пожаре вызывайте 01. С той, впрочем, разницей, что пожарные поспеют к пепелищу, а Левка примчится тотчас. Где бы ни был.

Вытащит Диму из пьяной драки, заплатит за разбитое Димой зеркало в ресторации, схлопочет от Димы по физиономии и сам врежет ему от души. Левка с Димой давно уже не церемонится. Он с ним больше не работает. Ушел, не вынес. Кто ж его осудит?

Спасибо, хоть не забыл. «При пожаре вызывайте» — придет. «Только ради тебя». Это он частенько Нине говаривал. И еще последние месяцы настойчиво твердил ей: «Уходи от него, слышишь? Сколько можно этот ад терпеть, Нина? Ты уйдешь — это ему же на пользу! Он опомнится. По башке получит — очухается, я ж его знаю».

— Приехали, — сказал Лева. — Твой дом. Эй! — Он развернул Нину к себе, взгляделся в ее запавшие глаза. — Ты где? Слышишь меня? Твой подъезд. Сын дома?

— Я еще вчера его к маме отвезла, — пробормотала Нина.

— Умница. — Лева достал из кармана плоскую розовую коробочку. — Держи. Замечательное успокоительное. Сейчас проглотишь таблетку — и спать. Телефон отключи. Я вечером заеду.

Нина кивнула молча — говорить она не могла.

Лева притянул ее к себе, обнял:

— Может, все и к лучшему... Ты уж прости меня за крамолу. С ментами разберемся. А на этом все заживет как на собаке, зато опомнится, скотина! Полежит с месяцок на выгядке, будет вре-

меня поразмыслить о том, как дошел до жизни такой.

Нина так и не заснула. Просто лежала на неразобранной постели лицом вниз, в подушку. Дважды звонила в больницу: как он? что с ним? Унижено прося извинить ее за надоедливость, придиричиво выпытывала все до мелочей. В конце концов тетка из справочной бросила трубку.

Нина заставила себя раздеться, проглотила вторую таблетку снотворного и легла.

Вот, оказывается, что самое страшное. НЕ БЫТЬ с ним рядом. Не видеть его, не слышать, не знать, что с ним.

Еще неделю назад ей казалось: самое страшное — это когда он пьян, когда в накате хмельной безрассудной злобы может закричать на нее, ударить... Да бей, кричи, круши все вокруг, только будь рядом, будь со мной, я хочу тебя видеть, знать, что тебе ничего сейчас не угрожает, что ты не лежишь невесть где, в белой больничной одиночке, с разбитым, распухшим лицом, залепленным пластырями... Я же люблю тебя! Я умираю от страха за тебя, изнываю от тоскливого бессилия, я люблю тебя таким, какой ты есть, — пьянь, бузотер, истерик, тридцать три несчастья... Я же знаю — это не может продолжаться вечно. Рано или поздно ты опомнишься. Возьмешься за ум. Да, Дима?..

Зазвонил телефон. Вздрогнув, Нина подняла зареванное лицо от мокрой подушки. На ощупь нашла трубку — за окнами уже стемнело, сгустились осенние сумерки...

— Да, — произнесла она, надеясь услышать Левкин голос. — Алло!

— Нина Николаевна? — Незнакомый мужской басок. — Добрый вечер. Вы не могли бы

сейчас спуститься вниз? Мы ждем вас возле подъезда.

— Кто это — мы? — спросила Нина устало.

В голове шумело, вязкая слабость, обморочная пустота усиливались с каждой минутой. Три бессонных ночи, две таблетки снотворного...

— Мы хотим поговорить с вами, Нина Николаевна. — Голос учтивый, сдержанный, внушающий доверие. — Это касается Дмитрия Андреевича.

— Димы? — Нина присела на постели. — Вы были в больнице?

Она плохо соображала сейчас. Кто этот человек, почему он предлагает ей спуститься вниз — все это было неважно. Значение имело только одно: Дима.

— Я сейчас спущусь.

Нина встала и метнулась к креслу, но пошатнулась, едва не упав. Движения ее были заторможенны и бестолковы. Дима!.. Нина потянулась к блузке... Этот человек что-то знает о Диме. Может быть, он отвезет ее в больницу?

Она выбежала из парадного, на ходу запахивая вязаный жакетик. Невысокий широкоплечий мужчина шагнул навстречу.

— Нина Николаевна? Добрый вечер. Вот сюда. — Он открыл дверцу микроавтобуса «Мицубиси» и протянул Нине руку.

Нина не без труда забралась в салон. В голове по-прежнему шумело, каменная усталость сковывала движения. Эти чертовы таблетки, кажется, начинали действовать только сейчас.

Незнакомец пристроился на соседнем сиденье и дружелюбно, почти по-свойски заметил:

— Вы жакетик-то изнанкой наружу надели. Плохая примета. Точно не помню: то ли побьют, то ли денег не будет.

— Их и так нет, — пробормотала Нина.

— Ну как же нет? — удивился незнакомец и едва заметно кивнул шоферу. — А дом загородный вы продали только что... Ведь продали?

— Продали, — согласилась Нина. — И все деньги отдать пришлось. Почти все. Мы потому его и продали, чтобы с долгами рассчитаться. За одну аренду — сорок тысяч, Дима два этажа арендо... А вы кто? — спросила она, перебив саму себя. Только теперь смутная тревога проснулась в ней, переборов сонную одурь. — Вы кто? — повторила Нина, вглядываясь в лицо незнакомца. — Куда мы... Мы что, едем куда-то? Куда?!

— Жа-аль, — протянул незнакомец почти сочувственно. — Я-то думал, у вас полтинник в наличии, как минимум. Что, совсем денег не осталось?

— Тысяч восемь, — автоматически ответила Нина, напряженно вглядываясь в окно: микроавтобус отъехал от ее дома и остановился в безлюдном углу двора, возле цепочки гаражей. — А в чем дело? Вы можете мне наконец...

— Нина Николаевна, я представляю интересы владельцев мини-маркета «Улада». Вернее, того, что от него осталось. — Незнакомец говорил по-прежнему спокойно, негромко, доброжелательно.

— Да... — пробормотала Нина. — Да, это ужасно. Нам пока не звонили... Из... из милиции.

— А они и не позвонят, — усмехнулся незнакомец. — Зачем нам с вами лишняя головная боль, правда? Суды, повестки, то-се... Мороки — на полгода. Так?

Обморочная слабость не проходила. Нина тупо кивнула, пытаясь сосредоточиться. Она ста-

рательно вслушивалась в то, что говорил незнакомец, но смысл слов ускользал от ее сознания. Одно она поняла, трудно было не понять: эти люди хотят, чтобы им заплатили за ущерб. Без всяких судебных разбирательств. Как можно скорее. Господи, сделай так, чтобы они запросили не больше пяти! Чтобы три тысячи остались на жизнь, на первое время...

— Здесь акты. — Незнакомец взял с сиденья большую кожаную папку. — Акты, описи. Все как полагается. Можете ознакомиться. Магазин разрушен, выбиты витринные стекла. Товару побито-попорчено на круглую сумму. Ну а то, что не попало под колеса вашей машины, растащили под шумок, пока суд да дело, наши славные москвичи и гости столицы. Во кому повезло-то! Подсустились, доложу я вам. За десять минут каких-то, пока хозяева не подъехали с гаишниками, все, что можно было разворовать, — смели! Подчистую!

— Сколько вы хотите? — глухо спросила Нина.

— Подчистую-ую, — повторил незнакомец, будто и не слыша ее. — Люди кушать хотят. А уж на халяву...

— Сколько?! — Нина повысила голос.

— Ну, об этом имеет смысл с вашим супругом говорить. — Незнакомец накрыл папку короткопалой лапой. — Да только к нему пока никакого доступа, а время не ждет. Сами видите, что творится: цены растут каждый день, ситуация меняется ежеминутно.

Говорить с Димой? Они будут наезжать на Диму?! Он этого не перенесет. Это будет последний удар, это добьет его окончательно...

— Нет! — резко сказала Нина. — Нет, он об этом не должен знать, слышите? Все переговоры — толь-

ко со мной! Все решаю я. Деньги плачу я. Вы поняли меня? Поняли? Сколько вы хотите?

— Да-а... — задумчиво протянул незнакомец. — В общем, надо признать, ваш супруг выбрал не самое удачное время для ДТП с наездом на торговую точку. Отнюдь не захудалую, кстати. Мы, разумеется, фиксируем сумму убытка в условных единицах. Единственное, что сегодня безусловно, — это условные единицы. Так? Хорошо сказал? — И незнакомец хохотнул, коротко и смачно.

— Единицами, как я понимаю, мне не обойтись, — сухо сказала Нина и замерла в ожидании приговора.

— Правильно понимаете, — согласился незнакомец. — Речь идет о десятках. Тридцать тысяч долларов. И это еще по-божески, уверяю вас.

Теперь он жил, как когда-то в молодости, когда в первый раз ушел от жены и вот так же скитался по друзьям, ночуя в чьих-то пропахших скипидаром, сухой ветошью и масляной краской мастерских, кочуя по чужим дачам и уж совсем каким-то странным обиталищам, вроде той комнатенки в Бибиреве, про которую ему сказано было при выдаче ключа: «Олежек, это комната матери любовника моей жены. Они тут встречаются». — «Кто? Мать с женой?» — «Жена с любовником. Ничего, перетерпят недельку-другую. Да, милый, я в курсе. И что? Чем мы не французы?..»

Но теперь все было сложнее. Да, Олега, как и прежде, принимали радушно или с показным радушием — один черт... Стелили ему на кухне или в детской, пили с ним водку, материли, сидя за столом, этого вылизанного, упитанного мальчика в круглых очках, по вине которого все ста-

ли банкротами. «Да киндер-то в чем виноват? Шестерка, стрелочник.. Его призвали, подтащили к рампе, он спел свою арию Нижегородского гостя...» — «Недолго музыка играла, Олежек! Ндолго фраер мухлевал...»

И все же Олег чувствовал себя стесненно, неуютно. Нашел время для приживальства! Он сам себе напоминал незваного дальнего родственника, который явился в чужой дом, когда только что объявили войну: вероломное нападение, всеобщая мобилизация, хозяин вот-вот отправится на призывной пункт, хозяйка, рыдая, собирает ему вещмешок, и до Олега ли сейчас? Кому он здесь нужен?

И все же каждое утро он поднимался по звонку будильника, сползал, зевая, с чужой постели, с продавленной раскладушки, поставленной для него на кухне какого-нибудь бывшего помрежа Коли, владеющего теперь бензозаправкой, и отправлялся в свое отделение «Альфа-банка».

Олег входил под его негостеприимные своды, уже опустевшие, уже пережившие давку августовских дней, столпотворение, хриплые вопли и глухие стенания обманутых вкладчиков.

Вкладчики больше не бились телами о неодолимую преграду, воздвигнутую между ними и курвами-операционистками, не тянули к ним белы руки, моля о пощаде, о снисхождении, крича о поправленных правах и голодных детях, вторую неделю сидящих на геркулесовом отваре.

Теперь здесь было пусто. Ласковые дикторыши ОРТ и сумрачный дядя с бородой лопатой, хозяин наших денег, вершитель наших жизней, объяснили вкладчикам, что бабок своих те не увидят долго. Может статься — не увидят никогда. Слово «никогда» вкупе с загадочным словом

«дефолт» и аббревиатурами типа ГКО и МВФ оказали на сердца и души вкладчиков почти магическое действие.

Вкладчики притихли. Скорбный покой разгладил их лица. Дрожащею рукой нацарапали они на фирменных бланках: «Не замай!», в просторечии — заявку на выдачу вклада. В последний раз, с сиротскою униженной полуулыбкой, взглянули они на операционисток, застывших за оконцами стеклянных перегородок наподобие скифских баб. Взглянули — и потянулись к выходу безмолвной чередой, не ропща, ссутулясь, сжимая в вялых ладонях свежие номера московских газет, которые теперь прочитывались с жадным любопытством и затаенным ужасом от корки до корки. Как последние сводки с театра военных действий. Только вместо перечня захваченных противником городов — траурный список низвергнутых банков...

— А вы у нас самый стойкий, да? — улыбнулась Олегу молоденькая операционистка. Это была странная улыбка — смесь сочувствия, раздражения и тщательно скрываемого обывательского интереса. — Все написали заявки и ушли...

— Куда? — перебил ее Олег, положив на стойку локти скрещенных рук. — На фронт? Как там... «Обком...» Нет, «Обмен закрыт. Все ушли на фронт». Ты записался добровольцем?

Последняя фраза адресовалась охраннику, сидевшему в закутке за деревянной выгородкой. Охранник хмыкнул и зарделся. Он был юн и смешлив.

— Все ушли домой, — терпеливо пояснила операционистка. — Написали заявки на выдачу вклада, теперь сидят дома и ждут, когда им позвонят. Вы вроде тоже написали.

— Написал, — с веселой злостью согласился Олег. — Но у меня дома нет. Мне негде сидеть и ждать. Я бомж. Ночую на вокзалах.

Операционистка вздохнула и страдальчески округлила тщательно подмалеванные глазки — дескать, как ты нас всех тут достал, вторую неделю ходишь, давишь на жалость! Глазки она теперь подрисовывала с особым тщанием, готовясь к бесплатному ежедневному спектаклю. Еще бы! Бывший супер, властитель дум (Интересно, сколько ему? К полтиннику, должно быть.), любимый актер ее мамочки, да и сама она млела классе в восьмом, когда на Новый год показывали «коронку» его в двух сериях... И мамочка, разомлев после второго бокала «Советского шампанского», всегда говорила, шепотом, как только отец выползал на кухню проверять свою индейку: «Нет, ты глянь! Вот мужик! Ни кожи ни рожи, тощий, как спица, а млею!»

Теперь этот тощий стоял возле окошечка, глядел просительно.

— Девушка, отдайте мне мои тугрики! Во как нужны! — Удар ребром ладони по острому кадыку. — Зарез! У вас наверняка где-нибудь есть заначка.

— Во-первых, никакой заначки нет, — возразила операционистка. (Кайф! Острейший кайф. Видела бы мамочка!) — А во-вторых, почему мы должны делать для вас исключение?

— Я — актер, — выдавил Олег, медленно заводясь. — И между прочим, не последний.

— Да-а? — Операционистка нарочито недоверчиво, изучающе его оглядела, как бы ставя под сомнение и первое утверждение, и второе.

— А что, не похоже? — Олег сузил от злобы светлые свои, узкие, раскосые глаза — где-то там, в степной вековой мгле, прапрапрабабку его до-

гнал, верно, быстрый татарин. — Не похоже, детка?! Что, спеть тебе? Стишок рассказать? Чечетку сбавать?

Банковские стервозы прилипли к своим оконцам. Нате вам, курвы!

Олег вышел на середину зальчика и рванул свой коронный перепляс, короткий, яростный, с дробным топотом ног, со звонкими частыми ударами ладоней по острым коленям — хоп! хоп! По пяткам, теперь — по ушам, оп-па!..

— Гражданин! — Охранник выбрался из своего загончика. — Гражданин, давайте выйдем!

Олег на него и не взглянул.

— Чего еще? — спросил он у зачарованно взирающих на представление баб. — Спеть вам? — Перевел дыхание. — Стишок рассказать? — Волна бессильной отчаянной дури гнала его, подхлестывала. — Рассказать? Извольте!

— Гражданин, давайте потише все же! — Охранник смотрел на Олега растерянно, не зная, что предпринять, — актер как-никак. Фамилии он не помнил, но уважать — уважал.

— Сентябрь уж наступил! — торжественно объявил Олег. Подумал, добавил: — Уж роща отряхает...

Операционистки истерически захихикали.

— ...Наш уцененный рубль! С нагих своих ветвей! — И Олег поклонился в пояс.

— Гражданин, соблюдайте... — Охранник, наконец решившись, осторожно дотронулся до руки Олега.

— Это кто гражданин? Я — гражданин?! — Олег резко повернулся к нему. — Гражданин чего, служивый?

— Как чего?! — Охранник вспыхнул. — Федерации... Российской федерации... Давайте все же будем соблюдать...

— Ах, Федерации! — Олег огляделся напоследок. Больше он сюда не придет. Порезвились — и хватит. — Федерации. Соблюдать. А она — соблюдает? А?! Тебя как зовут?

— Гена, — растерянно ответил охранник.

— Вот ты мне скажи, Гена... — Олег приобнял его, направляясь вместе с ним к выходу. — Ты мне ответь. Вот эта самая Федерация, мать ее, по отношению ко мне хоть что-нибудь соблюдает? Нет? Так какого рожна я должен чего-то там соблюдать?! Я ей, Гена, ничего не должен. Мы с ней, Гена, квиты. Понял меня?

Гена ошалело молчал. Бедный Гена.

Олег распахнул дверь ударом ноги, вышел на улицу и, пройдя несколько шагов, остановился. Пошарил в карманах куртки в поисках сигарет. Скоро у него не останется даже на сигареты... Народный артист, блин! Нормально. Будешь бродить по загаженному подземному переходу мимо смуглолицых продавцов и, боязливо касаясь локтей пробегающих мимо совслужащих, униженно канючить: «Мужик, дай закурить! Узнал меня? Нет?.. А вот так, в профиль? Ага, это я, мужик. Ага, нам тоже хреново. Кина не будет. Кинщик спился. Из всех искусств для нас важнейшим является вино».

Олег достал из кармана куртки зажигалку, хлопал по другому... Кто-то вежливо покашлял за спиной. Олег оглянулся: охранник Гена протягивал ему пачку сигарет.

— Хоть все берите, только пачку пустую мне отдайте. С вашим автографом.

— Спасибо. — Олег взял сигарету, достал ручку, размашисто расписался на пачке. — Ты чего выскочил? Ты ж на боевом посту!

— Да ладно, они на обед закрываются. — Гена спрятал пачку в карман. — Я вас узнал. Мучился-мучился — и узнал. Вы в этом фильме про красных-белых свистели классно. Помните? — И он радостно, ликующе, совсем по-детски рассмеялся.

— Досвистелся. — Олег хмуро покосился на окна банка. — Все просвистел.

— Совсем денег нет, да? — сочувственно спросил Гена.

— Видишь ли, Гена... — Олег закурил. Паршивые сигареты, дешевые, резкие. Привыкай. Скоро будешь махрой затягиваться. — Я, Гена, театральную школу решил открыть. Тут, под Москвой, под Боровском. Я оттуда родом. Зданьице нашел, но ему капитальный ремонт надобен. Занял под это дело десять тысяч баксов у друга. Аккурат перед кризисом.

— Это ж надо! — Гена покрутил башкой, присвистнув.

Олег сделал глубокую затяжку, закашлялся, даваясь этой копеечной гадостью. Он сам себе удивлялся. Зачем он рассказал о своей беде чужому человеку? Затем, что тот — чужой. Сейчас Олег хлопнет Гену по плечу на прощание, повернется и уйдет. И не будет никаких распросов, ахов-охов, причитаний. Причитаний нам не нужно. Потому он и жене не сказал ни слова, и друзьям, принимающим его на постой.

— Все потратили уже? — спросил охранник.

— Все. В июле еще.

— А отдавать по новому курсу?

— А как же иначе! — усмехнулся Олег. Докурил, бросил окурочек на пыльный асфальт, хлопнул охранника по плечу. — Бывай, служивый, — повернулся и пошел прочь, не оглядываясь.



— Ну что ты делаешь? Посмотри!

Нина подняла голову и вопросительно взглянула на мать.

— Ты ему только что манную кашу посолила. Нина! Ты вообще сегодня не в себе. Вот сахарница.

Нина кивнула, открыла сахарницу. Сын Вовка придвинул к ней тарелку с манной кашей. Нина взяла ложку, лежавшую рядом с тарелкой, аккуратно, не торопясь, зачерпнула в нее манной каши и опустила ложку с кашей в сахарницу.

— Ни-и-ина! — возмущенно завопила мать. — Ты что? Ты в своем уме?

Вовка закатился радостным хохотом, молотя ладошками по клеенке.

— Мама, — сказала Нина, переждав хохот и вопли. — А что, если мы продадим твою квартиру? У Димки долгов — куча. И на лечение сейчас деньги понадобятся. Продадим твою квартиру, ты переедешь к нам, в конце концов, ты уже немолодой человек, тебе нужна моя...

Дальше Нина могла не продолжать. Все те полчаса, которые ушли на то, чтобы торопливо скормить Вовке сладко-соленую кашу, одеть его, одеться самой, лихорадочно собрать в детский рюкзачок шорты и майки, — все эти полчаса Нина внимала гневному материнскому монологу.

Мать безостановочно и надрывно кричала, следуя по пятам и оглушительно хлопая дверями. Да, вопила мать, продавайте, хоть завтра же, я сама найду маклера, здесь живет один на четвертом этаже, возьмет недорого, продавай! Только дай мне полдня на то, чтобы я включила газ и сунула башку в духовку! Лучше помереть сразу, чем подыхать медленной смертью, погибать-

ся под одной крышей с твоим спивающимся шизоидом!

— Мама, я прошу тебя, не при ребенке, — шептала Нина, запихивая в рюкзак Вовкину пижаму. — И шизоид, между прочим, сам тебе эту квартиру купил. Крылатское, воздух, две комнаты, окна во двор, все, как ты хотела.

Мать мелко кивала, трясущимися руками открывая склянку с валериановыми каплями. Да, соглашалась она, Крылатское, воздух, хорошо продадите, не прогадаете, и травиться я здесь не буду, чтобы покупателей не отпугивать, я пойду завтра на Курский вокзал и лягу на рельсы, под электричку. Деньги на похороны отложены, в правом нижнем ящике стола, так что тратить-ся вам не придется, не бойся!

— Мама, ты меня прости, но боюсь, их не хватит. — Нина истерически, негромко смеялась, открывая входную дверь и выгалкивая Вовку на лестничную клетку. — Они обесценились, мама. Кризис. Ты не торопись под электричку, пожалуйста, мне только этого сейчас не хватало! Муж — в реанимации, мать — в гробу, денег нет, менты вот-вот нагрянут...

— Какие менты? — насторожилась мать, мгновенно успокаиваясь. — Зачем?

Нина только поморщилась, кляня себя за досадный промах. Бросила на ходу:

— Все, успокойся, никто твою квартиру продавать не будет.

Лифт, двор, маршрутное такси.

— Ма, а где наша машина?.. А Владик почему не приехал? — вопрошал Вовка, елозя на жестком сиденье маршрутки.

— Вова, машины больше нет. Забудь.

Вовка скис, скорчил недовольную рожицу, отвернулся к пыльному окну. Машины больше

нет. Все, что от нее осталось, сгреб на широкую свою ладонь, увез невесть куда, в преисподнюю для средств наземного транспорта, эвакуатор с надписью «Ангел» на дверце. Они там тоже шутить научились по-черному...

Вход в метро. Вовка пугливо замер у турникета, не зная, куда опустить пластмассовый жетон. Как дети быстро забывают! Как охотно привыкают они к правилам новой жизни, где нет ни метро, ни автобусной давки, а только авто к подъезду, дверцы распахнуты и улыбчивый Владик заботливо пристегивает Вовку ремнями безопасности...

И Левки нет в Москве, как назло. Он ни о чем не знает. Нина позвонила ему сразу же после того жуткого ночного разговора с незнакомцем вымогателем, и Левкина жена, тоже плача, сказала ей: «Нина, он в Минске. Срочно вылетел. Надолго. У него вся надежда была на Минск, на новых партнеров, а теперь, похоже, труба. Им невыгодно. Кризис».

Левки нет. Посоветоваться не с кем. Как вышло, что Нина совсем одна? Вот так и вышло.

Она тащила сына наверх по эскалатору. Скорее домой, запереть Вовку и — на рынок. Дима попросил меда. Липового меда, светлого, густого, душистого, вдруг ему захотелось меда. Слава богу, аппетит возвращается, возвращаются нормальные человеческие желания, а то сутки лежал лицом к стене — медсестра рассказала Нине, не зря ей Нина пятьдесят долларов сунула и флакончик духов

Теперь бегом по бульвару. Три часа дня. Успеет и на рынок, и в больницу. К Димке еще не пускают. Она ему каждый день писала записки, старалась, чтобы веселые. Неделю он молчал, вчера наконец: «Привези меда».

Тридцать тысяч долларов... Ничего, что-нибудь придумаем.

Вовка закапризничал, выдернул руку. Устал, бедный.

Вот и подъезд.

Что-нибудь придумаем, главное — Димка жив, все живы. Она сказала этому кошмарному типу в микроавтобусе тогда, ночью: «Дайте мне три дня. Я решу, как быть. Три дня. Только мужу, умоляю, ни слова! У нас все решаю я. Слышите?»

Нина нажала на кнопку одного из лифтов.

Вовка стоял рядом. Она поправила лямку детского рюкзака, полусползшую с узкого Вовкиного плеча. Двери лифта открылись.

Нина коротко, хрипло охнула. Кто-то — кто? откуда он взялся? — кто-то невысокий, широкоплечий, втолкнул Вовку в кабину, двери тут же закрылись, и лифт взмыл вверх.

Куда? Где остановится?

Нина завывала в голос, метнулась к окошку консьержки — никого. Она принялась судорожно давить на обе кнопки, замолотила кулаками в сомкнутые створки дверей.

— Помогите! — крикнула она. Кому? День, ни души...

Дверцы соседнего лифта наконец раскрылись. Нина вытолкнула оттуда девчонку лет двенадцати, нажала на кнопку своего, десятого, этажа.

Лифт пополз наверх — медленно, как медленно, это невыносимо! На каком этаже они вышли? Кто это? Что это?! Надо было бежать по лестнице! Господи Боже, Вовочка, сын, помогите же кто-нибудь, прinesi, Господи!

Десятый.

Плохо понимая, что делает, ведомая не разумом — инстинктом, Нина ринулась в узкий ко-

ридор, соединяющий четыре квартиры. Попыталась открыть на бегу сумочку — пальцы не слушались, соскальзывали.

Она подбежала к своей квартире, и дверь распахнулась прежде, чем Нина успела поднять руку. Какой-то человек, вцепившись в ее локоть, втащил Нину в прихожую, бормоча:

— Тих-тих-тих... Тихо! — Продолжая сжимать Нинин локоть, он захлопнул дверь и пробубнил почти весело: — Чего шумим, мадам? Пазана напугаешь.

Нина вырвалась из его лап, ринулась в гостиную, не глядя под ноги, едва не упав, налетела на перевернутую софу, больно ударилась бедром об острый край резной спинки. На полу валялись книги, шмотье, раскрытые шкатулки — Димка, дурень, обожал Палех...

Вовка! Вовка... Он был в спальне, сидел в Димином кресле возле окна и затравленно смотрел на мать.

Рядом с креслом стоял громила лет тридцати, говорил по мобильному, носком ботинка брезгливо потроша содержимое разбросанных по ковру ящиков из туалетного столика.

Нина метнулась к сыну — громила загородил ей дорогу, сунув мобильник в карман.

— Пусти! — Она попыталась обогнуть преграду. — Пусти! Вова!

— Сядь! — велел громила.

Он нажал ладонями ей на плечи, и Нина осела на край постели, устланной пестрым слоем тряпья, вместе с вешалками выдернутого из платяного шкафа.

В спальню вошел первый, тот, что называл ее «мадам». Был он белесый, приземистый, корявый. Он обменялся с напарником быстрыми взглядами, встал между Ниной и Вовкой.

— Вова! — Нина вскочила с постели.

— Не верещи, — приказал белесый. — Сядь, где сидела.

Нина попыталась обогнуть его справа — он толкнул ее обратно, на скомканное покрывало, заваленное шмотьем.

— Вова, они тебе что-нибудь сделали? — выкрикнула Нина.

Сын молчал, вжавшись в кресло.

— Деньги — в гжельской шкатулке, — сказала Нина, стараясь говорить спокойно и четко. Нужно дать понять Вовке, что ей не страшно. — Там восемь тысяч долларов. Все, что у нас есть.

— Да уж отыскали, — хмыкнул тот, что с мобильником, присев на широкий подоконник и положив лапу на спинку кресла, в котором съел Вовка. — А еще двадцать пять?

Двадцать пять. Значит, это люди Михалыча. Михалычем велел называть себя ночной человек из микроавтобуса. Тот, что «выписал» Нине счет на тридцать тысяч баксов. Тот, у которого она попросила три дня на размышление. Значит, их с Вовкой не убьют. Если бы просто воры-домушники — ее бы сейчас... И Вовку...

Вовка молча смотрел на мать. Он казался совсем крохотным в огромном Димином кресле. Нина попыталась улыбнуться. Потом, стараясь говорить как можно тверже, спросила:

— Почему — двадцать пять? Двадцать две. Восемь уже у вас. Всего мы должны вам тридцать.

— А мы что, задарма, что ль, твои лифчики перетряхивали? — хмыкнул белесый. — Три игрушки — нам. По полторы на рыло. Все одно даром работаем. Даром, мадам.

— Я отдам. — Нина встала с постели, сделала несколько осторожных шагов к креслу. — Двадцать пять. Отдам. Хорошо.

— Когда? — Белесый встал на ее пути.

— Это большие деньги. — Нина взглянула ему прямо в глаза — светлые, почти бесцветные, ресницы будто мукой обсыпаны. — Мне нужно время. Занять мне не у кого. Никто сейчас не займет.

— Они ждать не будут! — отрубил белесый. — Никто сейчас ждать не будет. Неделя.

— Две. — Сказала, как отрезала. А где она их возьмет? Где она достанет двадцать пять за две недели? — Только мужу — ни слова. Это мое условие.

— Если сунешься к ментам... — подал голос громила с мобильником, опуская большую тяжелую лапу на Вовкину голову. — Сунешься к ментам...

— Убери руку! — крикнула Нина, не сдержавшись.

— Только сунься. — и, быстро проехав пятерней по Вовкиному лицу, сжал пальцы на его горле.

— Та-ак... — пробормотал Петя Солдатов, ставя тыкву в духовку. — Ну, публика... — Он закрыл духовку, подмигнул своей домашней пастве заговорщически: — Время пошло!

Оба его чада и Солдатов-старший уже сидели за кухонным столом. В одинаковых позах: руки скрещены на груди, нога на ногу. Испытующие взоры обращены на кормильца. Потом все трое перевели глаза на стрелки старинных часов с кукушкой.

Петр наклонился к духовке. Тыква томилась там, в сумраке, в пекле — крутобокая, пузатенькая, тыква по-солдатовски. Фирменное блюдо. Внутри — сладкий рис, изюм, чернослив и прочие вкусные разности.

Еще через несколько минут Петр уже садился в свой раздолбанный «жигуленок», заводил мотор, поглядывая на часы. Кулинарно-автомобильный марафон, излюбленная игра семейства Солдатовых. Какая там к черту коррида, какие там бои гладиаторов! Задача состояла в том, чтобы за час десять, отпущенные тыкве на созревание в духовке, успеть отловить и развезти по адресам не меньше двух пассажиров, вернуться затем домой и, выложив на стол свежезаработанные тугрики, извлечь румяный овощ (а ароматы! а аппетитная корочка — боже!) из духовки.

Высший пилотаж. Все нужно рассчитать: время, отпущенное на оба маршрута, и возможные «пробки».

Мужика, которому в Химки, — отмечаем. Этой парочке, рвущейся в Теплый Стан, — наш теплый привет и твердый отказ. А вам куда, отец? Отцу — на Автозаводскую. Берем. Сидайте.

Пожилой дядечка аккуратно расставил на заднем сиденье четыре сетки, набитые куриными яйцами. Сам сел впереди, перевел дыхание.

— Куда ж так много? — не выдержал Петр. Тормозя у перекрестка, поинтересовался: — Это сколько десятков? Сто? Они ж протухнут у вас!

— Протухнут — пойду на Красную площадь. — Дядечка достал из кармана платок, вытер потный лоб. — Буду ими в Кремлевскую стенку швырять. — Он вздохнул, оглядев свои сетки хозяйским оком. — Ну как не купить? Как не запастись? Везде уже по девять рублей десяток, а эти — по пять. Мне зять позвонил, я приехал, запасаю.

— Значит, они уже тухлые, — осторожно предположил Петр. — Раз везде по девять, а эти по пять, значит, какой-то с ними непорядок.

— Типун тебе! — Дядечка нагнулся к сеткам, приняхался. — Они с грузовика торгуют. Без наценки. Не, все по-честному. У продавщицы лицо такое простое, открытое...

— Так у нас, отец, у всех простые открытые лица, — заметил Петр, глядя на дорогу. — Счастливое свойство нации. Мы все — простые. Мы с этими простыми открытыми лицами и нож к чужому горлу приставим, и в чужой карман залезем — запросто! Открыто.

— Может, правда, тухлое? — Дядечка вынул из сетки яйцо, подбросил его на ладони.

— А банкир этот — видел, отец? — не унимался Петр. — Прост, открыт, добросердечен! Рождественский дед практически! Палку в руки, кафтан, и бороду клеить не надо. — Он достал из кармана складной нож и протянул пассажиру.

Дядька с опаской легонько ударил ножом по яйцу. Повел ноздрями и выругался от души.

— Тормози! — велел он. — Тухлые! Тухлые, мать твою! Тормози! Вот скотская страна! Все скоты — сверху донизу, — забормотал дядька, открывая дверцу и выставляя все четыре сетки с тухлыми яйцами на асфальт. — Значит, мы этого стоим. Понимаешь? Значит, мы этого заслуживаем. Чтобы с нами — как со скотами. Нас всех — мордой об стол. Так? А мы что? Мы встали, утерлись и давай друг друга молотить! Тухлятину друг другу сплавлять... Под шумок. Под панику. Вот такой мы народ, парень. Так нам и надо.

Он взглянул на Петра горько — старый лысый мужик, простецкая неглупая физиономия, дачный неровный загар, узловатые руки. Руки мелко дрожали.

— У меня есть валидол, — сказал Петр. — Дать?

— Нет. — Дядька покачал головой. — Что ж мы за народ? В Люксембурге каком-нибудь сравном случись такое, да все, как один, пойдут к ихнему бундесверу, или чего у них там... Весь госдепартамент ихний — к стенке! А мы дерьмо схавали, спасибо сказали и ну друг другу гадить, тухлятину сбывать... Ладно, я пешком пойду пройду. Может, успокоюсь. Сколько я тебе должен?

— Ничего ты мне, отец, не должен. — Петр взглянул на сетки, стоявшие на асфальте, потом — на часы: похоже, к тыквенной каше ему не поспеть. — А как насчет Кремлевской стены? Хочешь, сейчас подъедем? И тухлым яйцом — по нашему бундесверу. Идет?

— Стену жалко, — вздохнул дядька, выбираясь из машины. — Там хорошие люди лежат. Через одного. Нет, не божеское дело.

Он подхватил сетки и поволок их к мусорному баку, стоявшему невдалеке, в замызганной подворотне, у обшарпанной щербатой стены.

Ирка притащила три огромные клеенчатые сумки, розово-голубые, в полосочку. Как это она их сохранила, не выбросила к чертям? Сумки из Иркиного прошлого, из их общего прошлого, из того недавнего-давнего-предавнего прошлого «до Димы», до Диминого ослепительного и судьбоносного появления в их жизни, серой, скудной, сирой, когда Ирка таскала в этих турецких клеенчатых торбах турецкое же копеечное тряпье на вещевой рынок. А Нина мыла подъезды.

Потом явился Дима. Настало чудное мгновение. Явился — что было, то было... Явился — добился. Добился — спился. Уж не взыщите за неприязнительность рифмосложения, господа, зато это самая русская рифма: у нас между вер-

шиной и пропастью, между победой и поражением — один шаг.

Теперь летели в эти турецкие сумки недорогая короткая Нинина шуба песцовая, подороже — Иркина изнутри. Ирка до последнего упиралась, размазывала слезы по лицу: не отдам! «Ты хочешь, чтобы нас тут всех передушили по одному? — злым шепотом спрашивала Нина. — Тебя, меня, Вовку?» Нет, этого Ирка не хотела. Вот тебе, мама, шуба и вот тебе мое манто, но только это не решит проблемы. Абсолютно!

Через час они уже распахивали по турецким торбам все, что можно было отнести в ломбард. Шубы, Нинины драгоценности (Вовка говорил «долгоценности», Вовка был путаник)... «Вова, ты где? Иди сюда!» И Нина бежала за сыном на балкон. Сын должен быть рядом с ней, перед глазами. Иначе не по себе. Душу сжимает страх, выматывает неотвязная глухая тревога.

Еще через час, выбравшись из такси, они уже спешили к зданию ломбарда, волоча неподъемные сумки и таща за собой Вовку.

— Вова, не отставай! — то и дело повторяла Нина. — Ира, возьми его за руку!

— Мама, как я его возьму? У меня руки сумками заняты.

Они свернули на узкую старомосковскую улочку. Был сентябрьский полдень, еще теплый, тихий, сине-золотой.

— Мама, смотри! — ахнула Ирка, замедлив шаг. — Это же... — и она назвала фамилию знаменитого поп-певца. — Вон, напротив, у машины.

Нина перевела взгляд. Звезда отечественной попсы, субтильный брюнет с потасканной рожей, наполовину скрытой затемненными очками и длинной прядью жидковатых серо-буро-

малиновых волос, стоял, облокотившись на открытую дверцу своего авто, на противоположной стороне улочки и хмуро курил, вполголоса переругиваясь с кем-то, сидевшим в машине.

— Боже, сам! — Ирка застыла на месте, восхищенно рассматривая властителя дум. — Отпад! Неужели он тоже в ломбард? Такой супер — и в скупку... Вот что кризис с людьми делает!

— Ира, пойдем. — Нина потянула дочь за руку.

— Нет, я его щелкну! — Ирка торопливо растегнула «молнию» турецкой сумки. Маленькая фотокамера, дорогая, удобная, легкая, Димин подарок падчерице, лежала там на самом верху. — Это же раз в жизни бывает, мама!

Из машины поп-идола между тем выбралась рослая красивая мулатка, что-то быстро, напористо и гневно втолковывая своему бой-френду.

— Бо-оже... — прошептала Ирка, выбирая оптимальный ракурс. — С любовницей! Умереть! Значит, правду девки говорили: косит под Де Ниро. Только с черными спит.

— Ира! — Нина понизила голос. — Как тебе не стыдно при ребенке! Идем сейчас же, уберем свою...

Дальнейшие события развивались стремительно и шумно. Мулатка там, на противоположной стороне улицы, отвесила поп-звезде щедрую оплеуху. Ирка успела увековечить сей эпохальный миг, издав гортанный ликующий вопль.

Певец обернулся в ее сторону. Держась одной рукой за пылающую щеку и размахивая соскочившими с носа очками, которые едва успел поймать на лету, он разъяренно заорал:

— Отдай камеру, тварь! Я об твою морду ее разобью!

— А ну не смей! — неожиданно для себя выкрикнула Нина, выкрикнула с такой силой ненависти и гнева, загораживая собой своих перепуганных чад, что певец, уже двинувшийся было к Ирке, остановился в замешательстве. — Только попробуй подойди! Давай-давай!

— Ты боишься, что об этом узнают, Се-ерж? — томно протянула мулатка. — Пускай узнают, прекрасно! Ты стал бояться, Серж, да?! — И она, перейдя на английский, добавила что-то насмешливо-презрительное.

Серж уныло посмотрел на нее. Похоже, мулатка вила из него веревки. Он сам был похож на веревку — тощий, узкий, серый какой-то.

— Пошли, — приказала Нина своим, подталкивая их к ломбарду, то и дело оглядываясь на поп-идола, провожавшего троицу недобрым взглядом.

У дверей в ломбард Ирка опустила обе сумки на асфальт и выпалила, победно глядя на Нину:

— Мать, у меня идея. Гениальная. Супер!

— Открой дверь, — вздохнула Нина, сгибаясь под тяжестью своих сумок. — Какая еще идея?

— Мы его продадим, — ликующе пояснила Ирка. — Мы продадим этот кадр. Да? Класс? Между прочим, нехилый заработок, мать. Ты знаешь, что такое папарацци?

— Он в павильоне. — Жена подошла к Олегу. — Помрежка сказала, он уже в павильоне. Там с декорацией какие-то нелады. Пошли.

Олег нехотя двинулся за ней, стараясь не смотреть по сторонам. Он шел студийными коридорами, спускался по одним лестницам, поднимался по другим... Олег не был на киностудии

три года. Три года назад все здесь уже напоминало пепелище, но пепелище, со следами вчерашнего пожара, когда угли еще дымятся и плачущие погорельцы, опасливо косясь на черные остовы обугленных балок, рыщут там и сям в поисках семейных реликвий, чудом уцелевших от языков пламени.

Теперь это было пепелище, поросшее травой и бурьяном. Мертвое. Всеми забытое. Ни следа от былой жизни. Тишина. Безлюдье. Безветрие. Жуть.

— Жуть, — пробормотал Олег, едва поспевая за женой, торопливо сбегаящей вниз по лестнице.

— Ну перестань, — откликнулась та, не оборачиваясь. — Не ной. Вообще встряхнись как-то! У тебя randevu с режиссером. Лелечка, соберись! Голливудский оскал! — И она оглянулась на Олега, открывая тяжелые, обитые листовым железом двери. — Чи-из!

— Вороне как-то Бог послал кусочек чи-за, — усмехнулся Олег.

Все точно. Ворона — вот она, Ленка, его благоверная. Провидение в лице бессмертной, древней, как старуха Изергиль, ассистентки по актерам послал Ленке роль в мыльном детективном сериале «Кровавая пятница». Ленка, существо незлобивое и совестливое, тут же пристроила в «Кровавую» беглого мужа, не испросив, впрочем, на то его согласия. (Хрен знает, где он опшивается, а потом — чего спрашивать-то? Живые бабки, наличкой, «зеленыю»! За счастье почтет! Согласится как миленький.)

Олег согласился. Десять тысяч долгу. «Сколько кинут?» — хмуро спросил он жену, которая отыскала Олега у очередного приятеля, пустившего его на постой. «Ну, птучки две кинут! — кри-

чала Ленка в трубку. — Шесть съемочных дней, Лелик, это по-божески!»

Олег согласился. Он, еще три года назад отказывавшийся от больших ролей, главных, вполне пристойных, — «потому что я это делал уже», «потому что режиссер — дерьмо», «потому что сценарий — аховый», — он согласился на роль (роль! ха!) стареющего сутенера, которого кто-то там за что-то пришел, у которого три слова на восемь серий и из трех слов два — междометия.

А что прикажете делать? Долг. Спасибо еще, что приятель, занявший ему эти деньги, великодушно согласился ждать сколько нужно. Но долг есть долг. Долги надо отдавать. Железное правило уважающего себя мужика. И стройка не ждет...

Олег согласился.

Он вошел в павильон, как входят к дантисту — зажмурившись, собрав волю в кулак. Главное — перетерпеть.

— Женька, ты меня загримируй так, чтобы никто не узнал, ладно? — шепнул он знакомой гримерше, повисшей у него на шее. — Бороденку какую-нибудь, усищи...

— Тебя, Олежек, и так никто не узнает, — безжалостно заметила гримерша. — Ты, рыбка моя, столько лет не снимался, и по ящику тебя не крутят практически.

— Потому что я, Женя, в приличном кино играл, — парировал Олег, отыскивая взглядом жену. — Его теперь если и показывают, то только в половине третьего ночи... Где Палыч, Жень?

Палыч, режиссер, старинный дружок, в вечной кепочке своей козырьком назад (все косит под пацана, седину подкрашивает хной, джинсы вот-вот треснут на пузе), уже шел к Олегу, распах-

нув короткие ручки для объятия. Ленка семенила следом, подмигивая Олегу, гримасничая: мол, выдай «Голливуд», подсуепись, Лелечка!

— Кого я ви-ижу! — забасил Палыч, впечатав в Олегову впалую щеку сочный поцелуй, отдающий виски и «Кэмелом». — Явился! Где ты шлялся-то три года? В народ, что ль, ходил? В селении каком-то прогимназию, говорят, воздвиг? Для Филипков тамошних? Спятил? Тоже мне, Лёв Николаич Толстой! Так как — построил?

— Где там! — ядовито вставила жена. — Он там селянок в основном пользовал. Как Лёв Николаич. С тем же успехом.

Палыч заржал, от избытка чувств молотя Олега кулаком по спине. Олег молчал, зверея. Терпи. Ты у дантиста. Две штуки баксов. Нужно вытерпеть.

— Чего от тебя спиртягой-то несет, Спилберг? — процедил он все же, не выдержав. — Еще снимать не начал, а уже на грудь принял. Хоро-ош!

Ленка сделала большие глаза и покрутила пальцем у виска, негодуяще глядя на Олега. Палыч не обиделся, огрызнулся беззлобно:

— А ты думаешь, на трезвую башку эту хрень снимать можно?

— Че ж тогда снимаешь? — хмуро спросил Олег.

— Че ж тогда снимаешься? — За Палычем не заржавело.

— Олечка, пошли на грим, — зашептала гримерша. — Пошли, пошли, а то поссоритесь.

— Вон она идет. — Палыч оглянулся на двери павильона. — Вон она плывет, курва! Ты глянь!

Его добродушную физиономию исказила гримаса ненависти и тоски. Олег повернулся к дверям.

Дородный бабец, повадкой и обликом напоминающая кассиршу Мосовощторга. Крепкие, с борцовскими икрами ноги обтянуты лосинами цвета электрик. Что-то вроде экзотического пончо скрывает щедрые телеса. Бабец остановилась в дверях павильона, огляделась по-хозяйски. На кустодиевского обхвата бюсте незнакомки висели (нет, лежали) сразу три пары очков на цепочках.

— Это кто? — спросил Олег.

— Это автор, — просипел Палыч. — Это наша Жорж Занд долбаная. Вишь, стоит нараскоряку. Хозяйка. Бандерша. Щас кулачищи в бока упрет. М-да... Пустили Дуньку в Европу.

— Зачем ей столько очков? — спросил Олег, рассматривая авторшу с веселым интересом.

— Это чтобы лучше видеть тебя, Красная Шапочка, — пояснил режиссер, с обреченной покорностью глядя на медленно, вразвалочку приближающуюся к ним доморощенную Жорж Занд. — У нее шесть глаз. И шесть рук. Она четыре под пончо прячет. Что ж ты хочешь, она в неделю печет по три книги.

Жорж Занд между тем плыла к ним неспешно, выпростав из прорезей пончо две из шести своих рук, щедро унизанные перстнями и кольцами. Небольшая свита, состоящая, надо полагать, из пресс-секретаря, охранника и визажиста, следовала за романисткой неотступно, на почтительном расстоянии.

— У нее, между прочим, на одной из шести лап — наколка, — прошептала гримерша, искательно улыбаясь писательнице.

— Да ну? — не поверил Олег.

— Правда-правда, она показывала нам на банкете, в первый съемочный день. Под зечку

работает. Пять лет на зоне за разбойное нападение с отягчающими. Говорит, под амнистию попала. Врет, конечно.

— Если б ты знал, какое я кино снимать начал, — глухо пробормотал режиссер. — Мечта жизни! Тургенев, «Записки охотника». Только на натуру выбрались — вот тебе, дедушка, и Юрьев день. День Киндера, семнадцатое. Хана моему Тургеневу. Пришлось эту зечку лудить. На Тургенева денег нет, на зечку — сколько хочешь. Господа издатели раскошелились.

— Мама родная, кого я вижу! — воскликнула титулованная зечка, не дойдя до Олега шагов десяти, но уже опознав его. — Мама! Любимый актер моего детства!

Олег внимательно всмотрелся в ее немолодое, несвежее, со следами евроремонта от лучших косметических фирм, одутловатое личико и выругался сквозь зубы.

— Вот так приходит старость, мой мальчик, — саркастически прошептал Палыч.

— Ты моя лапочка! — вопила зечка-романистка, приближаясь к Олегу. — Палыч, у него — роль? Ой, обожаю! Я весь восьмой класс прогуляла, в киношке торчала! Тащила от вашего кавалег... каралев...

— Кавалергарда, — подсказала гримерша, льстиво прикладываясь губами к подставленной ей монаршей щечке.

— Маша! Пришла! — Палыч припал к романисткиным пухлым лапкам.

Олег присмотрелся: да, в самом деле, чуть выше широкого, пролетарского запястья литераторши-зечки синела наколка — змея с разверстой пастью обвивает нож.

— Маруся! — гремел режиссер, не щадя луженой глотки. — Пришла! Осчастливила, золотце! Наконец-то!

— Я, Палыч, раньше — никак, — отвечала зечка, глядя на Олега томно, сладко, медвяно. — Мы тусовались во Франкфурте-на-Рейне.

— На-Майне, — прошелестел пресс-секретарь, деликатно откашлявшись.

— Один хрен. Теперь в Голландию, в Нотрдам поедет. — И романистка протянула Олегу лапку для поцелуя.

— В Роттердам. — Олег не спешил лобзать романисткины персты. — Зря вы, Маша, восьмой класс прогуляли. Невосполнимые пробелы в географии.

— Чего во Франкфурте делала, золото мое? — забасил Палыч.

— У меня там, Палыч, пятитомник выходит. — Романистка все еще терпеливо протягивала руку к Олегу. Змея синела на ее запястье, выкинув длинное жало. — И новый роман, я им права продаю на новый. Эсклюзив.

— Эксклюзив, — прошептал пресс-секретарь, опасливо выглядывая из-за широкого плеча Жорж-Дуньки.

— Уволю, — процедила та, вопросительно глядя на Олега.

— Это какой же, Маруся, новый? — заискивающе уточнил Палыч. — «Каленым железом»? «Смерть вертухая»? «Клеймо на затылке»?

— «Толковище для ссученных», — пояснила романистка.

— Я пошел. — Олег брезгливо, двумя пальцами отвел ее руку от своих губ.

— В смысле? — недоумевающе спросил режиссер. — Куда пошел? На грим?

— Вообще пошел. Домой.

— У тебя дома-то нет, — пробормотала жена Ленка с горькой усмешкой.

— Олег! — ахнул режиссер. — Ты спятил?!

— Мне на толковище делать нечего, — сказал Олег спокойно и зло и пошел к дверям пави-

льона, не оглядываясь. Плакали две штучки баксов. Ничего. Не пропадем.

— Олег! — крикнул Палыч ему в спину. — Олег, вернись! Пожалеешь!

Олег рванул на себя тяжелую дверь.

Черта с два он пожалеет. Он никогда ни о чем не жалеет. Ссученные, вертухай, кровавые пятницы...

Нет, ребята. Толкитесь здесь без меня.

— Входи, — сказал Костя.

Нина стояла неподвижно, не решаясь переступить порог. Легко сказать — «входи». Страшно. Она не была здесь год. Почти год.

Ее старый дом. Бывший дом. Бывшая жизнь. Как трудно входить в нее заново!

За Костиной спиной мутновато поблескивало старое зеркало, висевшее косо. Как Костя прибил двадцать лет назад, так до сих пор и висит. Обои старые, в линялый сиротский цветочек. Серые потеки, протянувшиеся от потолка к полу. Это верхние соседи устроили потоп три года назад. Нина еще ходила ругаться, соседи ее обхаживали, собаку спустили, а собаке не хотелось на Нину лаять... Как давно это было! Как давно.

— Входи, — повторил Костя, отступая от открытой двери в глубь прихожей и не сводя с Нины внимательного, изучающего взгляда.

Костю она тоже не видела год. Он не изменился. Он совсем не изменился, слава богу, а то Нина боялась, что войдет и не узнает его, постаревшего, поседевшего, облысевшего.

Она вошла наконец в прихожую, закрыла дверь.

— Ты совсем не изменилась, — сказал Костя. Значит, они думали об одном и том же. — Совсем. Как будто и года не прошло.

— Костя, год — это ведь, в сущности, совсем немного. — Нина вошла в их тесную кухню, села на стул, огляделась.

— Пожалуй. — Костя встал у стены. — Только это был особый год. Год без тебя. Очень долгий. Год за пять. Как на войне.

Нина тупо смотрела на чайник, кипевший на плите. Синий чайник со свистком, она сама его покупала. Как давно это было!

— Костя, — сказала Нина, глядя на чайник. — Костя... Где свисток-то? Потерял?.. Костя, у меня беда. Мне нужна твоя помощь.

— Я знаю, — кивнул Костя. — Ниночка, мне Ирка обо всем рассказала. Конечно, я помогу. Я счастлив, что я могу тебе помочь. Продавай эту квартиру. Я согласен хоть на вокзале жить, мне все равно.

Нина медленно подняла на него глаза. Она была готова к чему угодно, только не к этому спокойному и твердому: «Я согласен жить на вокзале». Надо же! Нина шла сюда, готовя себя к долгому мучительному разговору, к Костиным крикам, упрекам, к мужской истерике. «Сначала жизнь мне сломала, теперь крышу ломаешь над головой?! Давай-давай, забирай последнее!»

— Мы уже вызывали риэлтора. — Костя наконец снял чайник с плиты, полез в шкафчик за чашками и заваркой. — Он тут ходил, ужасался... Рожу кривил. Вынес приговор — двадцать три штуки — максимум. Говорит, кто на нее польстится, если только абреки какие-нибудь, дети гор. Рынок — рядом, купят нашу халупу под сарай для хурмы... Три — фирме, двадцать — нам на руки. Тебе, конечно, не хватит, тебе нужно больше. Но хоть что-то... Нина, — Костя повернулся к бывшей жене. — Ниночка... Ты плачешь?!

Нина плакала беззвучно. Слезы текли по ее лицу, она вытирала их ладонью. Костя уронил чашку на пол, достал еще одну... Милый, нелепый, бестолковый Костя!

Она шла сюда, не слишком надеясь на его помощь. Он ведь ничего ей не простил. Он швырял трубку всякий раз, когда Нина звонила сюда дочери. Он не открыл ей дверь, когда Нина рискнула прийти сюда однажды — в день его рождения. С подарками. Костя спросил из-за закрытой двери: «Кто?», услышал Нинин голос, процедил: «Убирайся!»

Все это было... Теперь он накапал ей в чай валерьянки, сел напротив, мягко сказал:

— Не плачь. Все устроится. Завтра придут покупатели квартиру посмотреть... Ну не плачь, успокойся. — Он потянулся к записной книжке, лежавшей возле телефона. — Вот, у меня записано... Я сейчас здесь все вымою, выскоблю, полы натру, все будет в лучшем виде... Вот, смотри. Они придут в четырнадцать тридцать.

Нина вытерла слезы. Выпила чай с острым старушечьим запахом валерьяны. Взяла записную книжку. Рядом с Костиным, убористым и мелким: «14.30. Покупатели», Иркиной рукой, небрежно и размашисто, было начертано: «Игорь Иванович, таблоид, среда. 12.00». И адрес.

— Какой таблоид? — спросила Нина у бывшего мужа. — Среда — это сегодня. Куда она пошла?

— Таблоид? — Костя пожал плечами. — Это что-то вроде бульварной газеты. Сплетни о знаменитостях. Ну, знаешь, на Западе принято. Теперь и у нас — тоже. Тут Ирка сняла одного певуна с его черной любовницей...

Таблоид. Сплетни. Бульвар. Все на продажу. И ее дочь, торгующая чужим грязным бельем...

Нина сунула записную книжку в карман, поднялась из-за стола.

— Пусть продаст, если у нее купят, — сказал Костя. Она позвонила знающим людям, выясняла расценки... Долларов двести можно срубить. Ты куда?

— Туда, — буркнула Нина.

— Двести долларов! — повторил Костя. — Вам что, деньги сейчас не нужны?!

— Нужны. — Нина открыла входную дверь. — Только не такой ценой, Костя.

Таблоид! Как в замочную скважину, в три погибели согнувшись, за чужой жизнью подглядывать. Да еще продавать потом! Чужие тайны продавать! Мерзость, гадость, пакость...

Нина отпустила такси у перекрестка на Ордынке. Помчалась по шумной дневной улице, ног под собой не чуя. Она знала, где этот переулок: еще три дома, потом направо. Только бы успеть! Половина второго, Ирке на двенадцать назначено. Господи, хоть бы там с ней не случилось ничего! Таблоид... Торговцы сплетнями, сальные взгляды, потные руки... Пригоршня грязи в яркой глянцевой обложке...

Нина подвернула ногу на бегу, остановилась на секунду, морщась от боли. Взгляд ее скользнул по вывеске на дверях магазина: «Сейл».

Сейл. Распродажа. Всеобщая распродажа... Сначала нас всех продали, всех, в который раз, всех, скопом, подлю, исподтишка. Теперь мы продаем. Себя, друг друга, все, что у нас осталось. Распродажа. Назовите вашу цену. Все, на чем можно сделать деньги, продается. Стук молотка, бесконечный аукцион, нон-стоп, без перерыва. Назовите вашу цену! Продается! Продается. Продано.

Нина свернула в переулок. Дом номер восемь — это во двор и налево. Она отыскала нужный подъезд, толкнула дверь. Слава богу, ни охраны, ни вахтера. Какие-то люди тащили по коридору еще не распакованные толком, новенькие столы и стулья... Наверное, они здесь недавно. Дело только начинается. Славное, достойное дело — торговля чужим грязным бельем.

— Где мне найти Игоря Ивановича? — спросила Нина у парня, несущего мимо коробку с принтером.

— Четвертая комната, — бросил тот на ходу. — Он занят! — крикнул Нине вслед.

Занят... Лишь бы успеть! Нина отыскала комнату под номером четыре, торопливо постучала в дверь, открыла ее, не дожидаясь разрешения.

Ирка! Ирка сидела на низеньком учрежденческом топчанчике, среди журнальных кип, перевязанных бечевкой, в комнате, заставленной нераспакованной офисной мебелью.

Полноватый блондин лет сорока пяти развалился за столом у окна, курил, зевал, говорил вяло, нехотя:

— Нет, ну, долларов пятьдесят... Я не знаю...

Господи, они что, полтора часа так торгуются? Вот она, рыночная Иркина закалка!

— Вы кто? — сонно спросил он, увидев Нину. — Я занят.

— Мама! — ахнула Ирка.

Нина ринулась к ней, молча схватила в охапку и поволокла свое беспутное великовозрастное дитя к двери.

— В чем дело? — Блондин сразу проснулся. Взгляд его маленьких круглых глаз стал напряженным и жестким. — Вы кто? Выйдите отсюда немедленно!

— Выйдем, выйдем, — пробормотала Нина, открывая дверь и выгаликая Ирку из этого вертепа. — Только вместе.

Ирка вырвалась, вернулась к столу, за которым сидел блондин, вытянула из-под его ладони конверт с фотографиями и пленкой.

— Куда? — быстро спросил блондин и поднялся из-за стола. — Так, сядьте обе.

— Нет уж! — Нина снова потащила дочь к двери. — Увольте! Сначала сядешь у вас на стул, потом — в другом месте... — она все же вытолкнула Ирку в коридор, — ...на пять лет! — Она захлопнула дверь. — Дура! Тебе двадцать лет скоро, что ж ты дура-то у меня такая?! Ты что, не понимаешь? Это не просто опасно. Это прежде всего не-при-стой-но, Ира!

— Что непристойно? — выкрикнула дочь сквозь злые слезы. — Пусти меня! Нас на счетчик поставили! Пусти, я ему за триста долларов продам, нам долг отдавать надо!

— Не ори. — Нина закрыла ей рот ладонью. — Пойдем отсюда.

Блондин открыл дверь, остановился на пороге и хмуро произнес:

— Сто пятьдесят. Мы больше не платим.

— Триста, — нагло возразила Ирка. — Триста. Это стоит в два раза дороже. Он после Киркорова — второй. Мне в одном журнале пятьсот баксов предлагали.

— Что ж не продала? — насмешливо поинтересовался блондин.

— Потому что у вас таблоид, — тут же нашла Ирка. — Настоящее специализированное издание. Потому что я у вас работать хочу. Возьмете?

Мерзавка! Нина смотрела на дочь во все глаза. Это ей сейчас пришло в голову насчет «ра-

ботать», чистая импровизация, уж Нина-то знала свое чадло. Сейчас Ирка будет нести любую ахинею, врать, вилать, интриговать неумело, по-детски, лишь бы выбить из этого продавца-покупателя слухов вожаденные триста баксов.

— На работу? — хмыкнул блондин. — Нет, не возьму. У меня, детка, железные профи в упряжке. Лавка доверху забита. Сто семьдесят долларов. Давайте сюда! — И он протянул руку.

Ирка прижала конверт с компроматом к груди.

— Я вам его продам, — согласилась она. — Я продам за сто семьдесят. При одном условии: вы меня берете на работу.

Блондин отрывисто, глуховато заржал. Работяги проволокли мимо него очередной шкаф — он посторонился, продолжая смеяться, глядя на Нинину дочь весело, в упор, пожалуй что и с интересом.

Нина опять схватила Ирку в охапку и поволокла к выходу. Дочь, вопреки ее опасениям, не стала вырываться и шипеть.

— Тащи-тащи, — прошептала Ирка, прижимая заветный конверт к груди. — Правильно... Он нас сейчас сам вернет...

— Я тебе дома... устрою... таблоид... — Нина открыла входную дверь и вытолкнула дочь на улицу.

— Дамы! — весело крикнул блондин им в спины. — Вернитесь! Куда спешить-то? Кофейку попьем!

Нина захлопнула дверь и потащила дочь через глухой колодец замоскворецкого двора к воротам. Вот теперь Ирка попыталась вырваться, но Нина держала ее мертвой хваткой.

— Пусти! — завопила дочь. — Пусти меня! Он же позвал! Он на работу возьмет!

Она вырывалась, Нина хватала ее снова, волокла к воротам... На них глазели из раскрытых окон, их провожали любопытствующими взглядами молодухи с колясками... Плевать! Нина молча тащила свое растрепанное, разгневанное, неистово вопящее чадо к спасительным воротам.

Нина и сама была растрепана, словно фурия, лицо — в красных пятнах, полы плаща — в пыли.

Ирка грохнулась на колени, истерически крича:
— Не пойду! Идиотка! Это деньги! Ты знаешь, какие это деньги?! В перспективе?! Я знаю! Я узнавала! Пусти!!!

Нина молчала. Главное — молчать. Молчать и тащить взбесившуюся дочь к воротам. Ирка скоро выдохнется, устанет, Нина свое чадо знает...

Вот и ворота.

— Идиотка... — Ирка уже не кричала, а ныла. Очень хорошо. Значит, устала. Скоро замолчит. — Идиотка, нас на счетчик поставили... Я здесь за неделю восемь штук заработаю...

Нина дотащила до кромки тротуара, цепко держа дочь за руку, ведя ее за собой. Нина тоже устала смертельно. Держись, Нина! Тебе уставать нельзя. И она подняла руку, голосуя проезжающим мимо машинам.

— Нам же долг отдавать, мама. — Ирка плакала, стиснув в руке порядком измятый конверт с фотографиями. — Дай бог квартиру папину за двадцатку продать. А где ты возьмешь еще пять? Ну ладно, за барахло наше нам в ломбарде штуку кинули. А остальное? Ты думаешь, они будут ждать? Они нас поубивают всех. Мама, давай в милицию наконец заявим!

— Вот тогда точно поубивают, — пробормотала Нина. Наклонилась к окошку притормозив-

шей рядом машины: — Крылатское. Сколько?.. Садись.

— А ты? — спросила Ирка, послушно забираясь в машину.

Нинин прогноз был верен: Ирка уже выдохлась, притихла. Примирилась с материнским решением. Костин характер. Мгновенно завестись — и мгновенно остыть. Вспыхнула — погасла.

Нина молча забрала у дочери конверт — Ирка покорно отдала свое сокровище.

— У меня дела. — Нина затолкала конверт в сумочку. — Я на трамвай. Мне здесь.. Мне здесь рядом.

Она расплатилась с шофером, вернулась во двор-колодец и медленно побрела к дому номер восемь.

Блондин стоял у дверей своего подлого офиса. Курил, привалившись плотной спиной к стене, и смотрел на приближавшуюся Нину. Такое впечатление, что он ее ждал. Знал, что она вернется.

Нина шла не спеша. «Нас всех поставили на счетчик», «Я здесь за неделю восемь штук зарабатую»...

Таблоид. Все продается, все покупается. Сейл. Распродажа. Что делать, такая теперь жизнь. Ах, Нина, Нина... Ты еще вспомни, что ты — Шереметева.

Она подошла к крыльцу.

— Принесли? — Блондин пристально смотрел на нее, сбивая сигаретный пепел на ступени крыльца. — Давайте сюда. Я вам заплачу двести, шут с вами. Вы мне понравились. Две крэйзи. Я сам такой.. — Он коротко хохотнул. — В принципе.

— Возьмите меня на работу, — хрипло сказала Нина, слабея от отчаянного стыда. От страха, что откажет. От ужаса, что возьмет.

— Вас? — переспросил блондин, и светлые, совиные, совсем не глупые и уж совсем не сонные глаза его еще больше округлились. — Вас?! Ну-у дамы... Вы действительно крэйзи. С вами не соскучишься!

— Я действительно крэйзи, — согласилась Нина. — Значит, я вам пригожусь. У вас тут работенка для авантюристов и сумасшедших. Я вам пригожусь. Если надо ночь просидеть на крыше — я буду сидеть.

— А если придется потом с этой крыши прыгать? — спросил блондин, затапывая окурок.

— Я прыгну, — сказала Нина.

— В огонь? — уточнил он.

— В огонь так в огонь, — вздохнула Нина. — Мне терять нечего. Мне деньги нужны.

— А как у вас с физической формой? — И он окинул Нину безжалостным жестким взглядом. — Вы выдержите эти нагрузки? Вам сколько лет, простите?

— Сорок, — ответила Нина. — Мне сорок лет. Самое время для того, чтобы прыгать в огонь. Уж вы мне поверьте.

• • •

Дима шел чуть впереди нее, опираясь на трость — роскошную, ручной работы, с массивным, из красного дерева, набалдашником в виде головы льва. Спящего льва, положившего морду на лапы. Нина сама ее выбирала, объездила с десятков магазинов, выкроила для этого целый день, потом пришлось отрабатывать сверхурочно — две ночи подряд щелкать пья-

неньких «винов» на бессонных тусовках в «Голден Пэлас».

Дима остановился и повернулся к жене. Еще неделю назад он ковылял по дорожке больничного сада, опираясь на костыль. Теперь его ладонь покоилась на набалдашнике трости. Дела идут на поправку. Наконец-то! Дима и так задержался здесь на месяц — сложный множественный перелом, кость стала срастаться неправильно, Диме опять ломали его многострадальную ногу. Столько пережито, страшно вспоминать. Мог остаться хромым на всю жизнь. Благодарение Богу, поклон костоправам — обошлось.

Нина подошла к мужу, поправила ему шарф, подняла воротник плаща. Взяла под руку, сказала:

- Пойдем к корпусу. Ты устал.
- Я не устал, — возразил Дима.
- Пойдем, пойдем. Через полчаса ужин.

Она повела его к больничному корпусу, поглядывая искоса, снизу вверх. Господи, как она его сейчас любила! Как он изменился за этот месяц! Похудел, черты лица заострились, стали резче, суше, выразительней.

Нет, прежде всего Дима переменялся внутренне. Он успокоился. Он стал немногословным. Несуетным.

Он много читал теперь, составлял Нине списки, странные дикие списки, где Чехов и Фолкнер соседствовали с Майн Ридом и «Чуком и Геком»... Сначала он врал Нине, что собирается читать «Чука» сыну, навещавшему его иногда вместе со своей матерью, первой Диминой женой. Потом признался, что перечел этого «Чука» сам.

Просто как-то ночью вспоминалось детство, мама с потрепанным томиком Гайдара на коле-

нях, дачный вечер, старенький гамак, мама читает с выражением, «на голоса», мерно толкая гамак загорелой сильной рукой, пахнувшей садовой земляникой, детским мылом и просто маминым запахом, запахом ее теплой смугловатой кожи, запахом дома, детства.

«И я заплакал, — признался Дима. — Лежу в палате, ночь, двое моих архаровцев храпят, как извозчики... А я реву. Здоровенный колченогий мужик, реву белугой! Стыдобища».

Нина только обняла его молча. Она принесла ему «Ёка», и «Голубую чашку», и старый толстенный альбом с Димиными семейными фотографиями, хоть он и не просил ее об этом.

Диминая мама умерла в апреле этого года. Нина так и не успела с ней познакомиться. Какой страшный был год, хоть бы он кончился поскорее! Она умерла — Дима вернулся с похорон черный. Эта потеря и потеря нерожденного сына... В Диме что-то надломилось. Вот его и понесло. Немудрено.

Теперь они шли по дорожке больничного сада, мимо темных голых кустов акации, и Нина держала Диму под руку, прижавшись щекой к его плечу.

— А эти... наши вороги... Больше не проявлялись? — напряженно спросил Дима. — Все в порядке?

— Кто? Эти? — Нина подняла на него глаза, стараясь говорить как можно беспечней. — Нет, бог с тобой, зачем? Зачем им проявляться? Мы же отдали им деньги, заплатили за все. Они рады-радехоньки. Разошлись полюбовно.

Легенда для Димы была составлена Ниной еще месяц назад. Все выглядело вполне правдоподобно: владельцы разрушенного магазина по-

требовали двадцать тысяч баксов в счет возмещения ущерба, урона и разора. Квартира в Черемушках продана — долг возмещен.

Бывший муж Костя («Благородный человек, Димка, ты его недооценивал, согласишься!») и великовозрастная Нинина дочь перебрались в Крылатское, воссоединились с Александрой Федоровной. «Я потом всем по квартире куплю», — пробормотал Дима растроганно. «С каких таких барышей, радость моя? — вздохнула Нина в ответ. — Ладно, что-нибудь придумаем. Разменяем нашу. Зачем нам четыре комнаты? Провернем тройной обмен. Главное — мы никому ничего не должны».

И Дима поверил. Он ничего никому не должен. Через две недели он выйдет отсюда на волю и начнет новую жизнь.

— Знаешь, — сказал он Нине, уже подходя к своей палате, — правду говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. Надо было вмазаться в этот кошмар, рожу расквасить и ногу сломать, чтобы... Ну, как тебе объяснить? Ногу вывихнул — зато мозги на место встали. Нина... — Он остановился у двери в палату, прислонился к белой больничной стене и посмотрел на жену с покаянной печальной нежностью. — Нина, я должен тебе сказать...

— Не нужно, Дима.

— Нет, нужно. Необходимо. Я же все понимаю... Последние полгода я вел себя, как скот. Как последний скот!

— Димочка, пойдем в палату, ты устал, ты ляжешь. — Нина гладила его руку, его плечи, божь мой, как он похудел! Этот пуловер был ему впритык всего два месяца назад — теперь висит мешком.

— Я виноват перед тобой, — сказал Дима. — Виноват. По всем статьям. Нина... Теперь все будет иначе. Веришь?

Она спускалась вниз на лифте, стояла, прикрыв глаза, припоминая, перебирая в памяти его прощальные слова, неуклюжие, произнесенные скомканной смущенной скороговоркой.

Он не умел просить прощения. Терпеть не мог все эти выяснения-объяснения. Тем они дороже.

Милый, милый Дима... Нина вышла из лифта, пересекла полупустой больничный холл, направляясь к выходу.

У нас теперь все наладится, все будет хорошо. Я выплачу этот чертов долг, я сделаю это тайно, я что-нибудь придумаю, чтобы оправдать свои ночные исчезновения, я...

— Нина Николаевна!

Нина оглянулась: знакомая медсестра из отделения, в котором лежал Дима, спешила к ней, тяжело переваливаясь с боку на бок, словно пожилая раскормленная утка.

— Пойдемте со мной, — шепнула медсестра, крепко взяв Нину под руку, ведя ее вправо, — там был коридор, соединяющий два корпуса больничного здания, сквозной коридор с окнами, выходящими во внутренний дворик.

— Если б вы знали, чего мне это стоит, — бормотала медсестра, поглядывая на Нину с волнением и опаской. — Я, Ниночка, давно хотела сказать. Все никак решиться не могла.

Нина послушно шла за ней, не понимая, куда ее ведут. Зачем? И что это за смущенные недомолвки? Денег будет просить? Но Нина и так отстегивала ей по-царски.

— Вам нужны деньги? — спросила Нина, открывая сумочку. — Ради бога. Вы только скажите сколько.

— Ну что вы! — Медсестра вспыхнула, нахмурилась. — Вы уж меня не обижайте. Я не хапуга какая, у меня, милая, и совесть имеется, и меру я знаю. У меня потому и сердце-то за вас болит, такая вы хорошая, так о нем заботитесь, последнее готовы отдать, а он... О-ой, девонька! — Медсестра вздохнула и выдохнула истонное, горестное, заветное, бабье: — Все мужики — сволочи. Все. Как ни крути.

— Вы о чем? — спросила Нина, совсем сбивтая с толку.

— Вот, смотрите. — Медсестра подтолкнула Нину к окну, выходящему во внутренний дворик.

Нина огляделась. Дворик был пуст, только на низкой широкой скамье, у противоположной стены больничного корпуса, сидела молодая женщина, вытянув вперед и скрестив красивые длинные ноги. Темная косая челка падала ей на глаза. Женщина курила, явно томясь и нервничая, и нетерпеливо постукивала носком сапога о сапог.

Большой пестрый пакет стоял у ее ног, темно-лиловые копыа еще нераспустившихся ирисов выглядывали из пакета. Чернильно-лиловые бутоны, зеленые стебли...

— Дай я тебя прикрою, за меня встань, — шепнула медсестра, отодвигая Нину от окна. — Не приведи бог, увидит. Она тебя знает. Она тут сидит, дожидается, когда ты уйдешь, — говорила медсестра, безошибочно, уверенно, по-свойски переходя на «ты». — Ты уйдешь — она к нему поднимется. К мужику твоему. Мы ж все видим, все понимаем, весь персонал... Они даже не таятся,

сволочи, стоят у окна, целуются. Мы все, Нина, за тебя переживаем, и говорить неохота, и молчать — грех.

— Я не верю, — сказала Нина.

Ирисы. Она смотрела на эту женщину за окном. Ирисы. Дима их любит. Дачное детство. Он теперь все время вспоминает дачу, маму, Чука-Гека, клубнику, ирисы на клумбе...

Ирисы стояли у него на тумбочке и неделю назад, и две. Нина спросила: «Кто принес?» Дима назвал старого приятеля.

Ирисы. Значит, она, Нина, таскает ему Чука с Геком, а эта красотка долгоногая — ирисы. Хорошо устроился. Замечательно устроился. Как больно! Вот как это больно бывает, оказывается.

— Нет. — Нина покачала головой. — Я не верю.

— Дура ты, дура! — вздохнула медсестра. — Зачем же мне тебе врать, доченька? Ты думаешь, мне легко тебе сказать было? Я три ночи не спала, пока решилась.

Незнакомка там, за окном, поднялась с лавки. Резким движением руки откинула челку назад. И Нина ее узнала. Вот это движение и холодноватый пристальный взгляд темных, чуть раскосых глаз. Девочка из Диминого магазина. Как это теперь называется? Эскорт-сервис? Назойливо-учтивое за плечом покупателя: «Я могу быть вам полезной? Могу вам помочь?»

— Спасибо. — Нина нашла в себе силы и на это сдавленное «спасибо», и на вымученную полуулыбку для медсестры, для этой пожилой сердобольной утки.

Утка... Больничная утка. Смешно. Как больно, как смешно, прочь отсюда, бегом, опрометью — к выходу. Сколько же можно, Господи, удар

за ударом, сколько можно меня испытывать, на мне уже места живого нет...

Улица. Больничные ворота. Какая-то тетка шарахнулась в сторону, я же бегу прямо на нее, я ее едва с ног не сбила!

Эскорт-сервис... Красивая. Как давно это у них? Неужели давно? Целовались у окна... Как больно!

Нина шла вперед, не разбирая дороги, давно миновав остановку маршрутки, обычно довозившей ее до метро.

Но как же он мог? Он, который сегодня смотрел на нее, Нину, покаянно и нежно и говорил, что все у них теперь будет хорошо, все пойдет по-новому... Обнял на прощание, уже зная, что через полчаса будет обнимать свою эскорт-подругу, и целоваться с ней у окна, и ставить свежие ирисы в воду, и тоже будет говорить ей про маму, про дачу, про детство, про то, что все-у-нас-с-тобой-будет-хорошо.

Как это можно, Господи? Как они это умеют? Как ты им это спускаешь? Мужская солидарность, не иначе.

Удар. Боль. Это Нина, налетев на ствол старой липы, врезалась лбом. Стоп. Нина огляделась.

Нужно прийти в себя. Прийти в себя. Это бульвар. Осенний московский бульвар, ты его видела сотню раз из окна маршрутки. Значит, ты уже дважды могла попасть под колеса, дура, безумная дура, ты пересекла проезжую часть дважды, иначе ты не стояла бы здесь. Опомнись. Возьми себя в руки.

Не хватало еще угодить в состоянии полубеспамятства под какой-нибудь КамАЗ. Не имеешь права. У тебя — дети, мать и долг. И хромой муж, наставляющий тебе рога даже в лазарете.

Нина рассмеялась — негромко, сипло, сквозь слезы.

— Сядьте, — предложил ей кто-то. — Сядьте-ка сюда. Вам нужно успокоиться.

Недалеко от Нины на бульварной скамейке сидел старик, смотрел сочувственно, похлопывал ладонью по краю сиденья. Возле его ног лежала борзая.

Нина подошла и села, не переставая плакать. Старик опустил руку в карман долгополого светлого пыльника, достал оттуда скляночку с крошечными разноцветными облатками, протянул:

— Белая, розовая, сиреневая. Разом.

— Что это? — Нина вытерла слезы.

— Гомеопатия. — Он улыбнулся — глаза блистали весело и молодо.

Нина послушно взяла три разноцветные таблетки, проглотила и поглядела на старика. Старик был особенный, антикварный. Светлый пыльник, фетровая шляпа, круглые очки с золотистыми тонкими дужками, седая борода клинышком, старинная трость.

— Успокойтесь, Нина, — мягко сказал он.

— Нина? — пораженно переспросила она. — Откуда вы знаете, как меня зовут?

Старик ответил не сразу. Перевел взгляд на борзую, пояснил, легонько похлопав собаку по поджарым бокам:

— Это я ей. Она нервничает.

— Ее что, Нина зовут? — Нина достала платок из сумочки, вытерла заплаканные глаза. — Странное имя для собаки... Это борзая? Что ж... — Она усмехнулась невесело. — Я тоже борзая. Бегу, бегу... Как загнанная. Можно ее погладить? Тезка все-таки.

Старик кивнул, не проронив ни слова. Нина осторожно погладила борзую, чуть слышно сказала:

— Тебе, наверное, больше повезло, тетка. У тебя хозяин добрый. А у меня — злой.

— Вы сами себе хозяйка, — возразил старик. — И себе, и своей жизни.

— Себе — да. А жизни своей — нет. Нет, не хозяйка. — Нина покачала головой. Слезы снова прихлынули к глазам. — Я уже давно живу не так, как я хочу, а так, как вынуждают обстоятельства.

— Мы теперь, Нина, все — заложники обстоятельств. — Старик взял со скамьи какой-то тонкий журнальчик, раскрытый на середине. — Мы теперь все — заложники... Ничего. Это не вечно. Вот, почитайте.

И старик, отчеркнув ногтем заголовок какой-то заметки, положил журнал Нине на колени.

Она скользнула взглядом по строчкам. Она уже успокоилась, в мгновение ока, сразу. Нет, она ни одного слова еще не успела прочесть — это, верно, бело-розово-сиреневая порция гомеопатии оказала вдруг на нее такое целительное, волшебное действие.

— Нора! — окликнул старик собаку, отбежавшую от скамьи. — Нора!

Он встал и, приподняв на прощание шляпу над седой головой, зашагал прочь. Нина опустила глаза на колени. Женский журнальчик средней руки, теперь таких много. Странно, что старый седой человек читает эту милую дамскую дребедень.

Нора! Нину словно ударило. Он ведь окликнул собаку Нора. Нина бросила журнал на скамейку и огляделась. Пустынный осенний бульвар. Ни старика, ни собаки. Собаку зовут Нора. Значит, говоря: «Успокойтесь, Нина», старик и в самом деле имел в виду ее, Нину. Откуда он знает ее имя? Мистика какая-то... И где он? Ми-

мо прогрохотал трамвай. Ну да, он мог уехать на трамвае... Странно. Как все странно!

Нина снова взяла в руки журнал. Колонка постоянного обозревателя Людмилы Солдатовой. Фотографии не было. Статейка называлась «Завтра все и начнется».

Интригуете, госпожа Солдатова. Что может начаться завтра, когда все кончилось еще позавчера?

— Ну, Олег Ильич? — Режиссер повернулся к Олегу. — Ты понял задачу?

Олег кивнул. Чего ж тут не понять? Проще пареной. Все снимают одним куском, на общем плане.

Олег входит в двери как бы родильного отделения, медленно, с выражением крайней сосредоточенности и глубокой скорби на роже, тщательно выбеленной, с накладными пижонскими усиками (зачем эти усики? Он же не ресторанный фат — он высокий чин из Минздрава...) Итак, он входит, идет вдоль стен, мимо каталки, на которой корчится в предродовых схватках как бы роженица, предусмотрительно заслоняемая от камеры спинами как бы акушеров (никакого натурализма, два продюсера торчат за камервагеном, не спуская с режиссера угрюмых, заплывших после вчерашней пьянки глаз)...

Олег между тем идет мимо каталки, глядя в камеру с немим укором. Роженица вопит. «Тужься, милая, тужься!» — стенают как бы акушерки, толкая друг друга локтями.

Олег идет. Скорбь на его челе неподдельна и безмерна. Он подходит к столику с медицинским инструментарием, берет какие-то щипцы, напоминающие орудие средневековой пытки...

«Тужься, милая, тужься!» — взразнойбой вопят статистики.

Олег идет дальше. Открывает кран умывальника...

Зачем здесь умывальник? Разве здесь бывают умывальники? Значит, бывают, тебе-то какое дело, сейчас отбарабанишь три дубля, и тысяча баксов в кармане. Они обещали наличкой и сразу, потерпи.

Олег открывает кран, с минуту-другую бесплодно ожидая, когда из крана хлынет струя воды. И, так и не дождавшись, — на камеру, торжественно, зловеще, погребально:

— В наших роддомах нет горячей воды-ы-ы...

Пауза. Скорбь во взоре. Черт, как они стянули ему кожу над губой этими сутенерскими усами! Пауза длится. Скорбь растет. «Тужься, милая...» Старательный вой роженицы. И Олег — вкрадчиво, с нежной угрозой:

— Пожалуйста... — Пауза. Сурово, горестно, со слезой: — Заплатите налоги!

— Стоп! — Режиссер похлопал в ладоши. — Олег, все хорошо, но как-то помягче. Да? Можешь? Не нагнетай! Интимней, Олежек! Это не Хичкок, это социальная реклама. Позитивней, да? Ты еще их, сук, просишь по-хорошему. Еще разочек! Ласкай это жулье, но чтобы сквозь ласку наручники гремели!

— «Жулье», — процедил продюсер Гера. — Я те дам — «жулье»! Ты сам-то заплатил?

— Голуби мои. — Продюсер Веня жадно отхлебнул «Эвиана» из литровой бутылки, гася похмельную дрожь. — Голуби, у нас пленки на два дубля осталось.

Олег двинулся к исходной позиции. Роженица подмигнула ему с каталки, жалостно протянув:

— Господа, у меня брюхо набок съехало, поправьте.

— Лиза, Валя! — истерически завопил режиссер. — Живо!

— Сколько можно еще, пятый дубль! — взмолилась роженица, садясь на каталке. Ассистентки уже затягивали какие-то ремешки на ее бесформенной талии. — Господа, сделайте мне кесарево, заклинаю! У меня через час эфир на «Радио Максимум».

Олег стоял у дверей. Гримерша поправляла ему усы.

— Потерпите, Олег Ильич, — шепнула помрежка, старая знакомая, эта все понимала. — Потерпите. Все-таки социальная реклама. Не средство от запоров. Вон Женя Иванцов вчера антизапорное рекламировал, а ведь тоже — народный, какие роли играл, его когда-то Козинцев на Лира пробовал, ему в Каннах овацию устроили в пятьдесят восьмом... А теперь — запоры.

— Олег, готов? — хищно заорал режиссер. — Поехали! Камера! Мотор!

Олег шел, как по углям. Нормально. По углям так по углям. У нас пятки привычные, антипригарные, не впервой. Нам не привыкать. Тысяча баксов. Они обещали наличкой. Он сможет заплатить шабашникам, работягам из Боровска...

«Тужься, милая, тужься!» Скорбь на лице. Инструменты. Кран. «В наших роддомах нет горячей воды...» Скорбь. Интим. Пауза. Проникновенно, с надрывом: «...Заплатите налоги!»

— Стоп! — ликующе крикнул режиссер. — Снято! Олежек, гений! Веня, Гера, да?

Олег вышел из кадра. Его мутило. Да, его мутило, комок подкатил к горлу, лоб покрылся холодной испариной.

— Олег Ильич, дорогой, вы вот здесь забыли расписаться, вот здесь, пожалуйста. — Какая-то тетка совала ему в лицо стопку ведомостей.

Олег расписался не глядя. Вязкая дурнота не отступала — усиливалась. Он почти выбежал из павильона, сжимая горло ладонью.

— Где здесь сортир? — хрипло спросил он у кого-то. — Есть где-нибудь? — Успеть бы! Вот дьявол, что же это такое с ним?

Олег рванул на себя дверь, нагнулся над унитазом. «Тужься, милая, тужься...»

Тысяча баксов наличкой.

Олег подошел к умывальнику, пустил воду. Холодная вода хлестала из крана, ледяная вода с привкусом хлорки и ржавчины. Олег прополоскал горло и долго мыл руки.

Выпрямившись, поднял глаза и увидел себя в мутном, давно не мытом зеркале — бледного, помятого, с мокрыми накладными усами, в белом халате, забрызганном водой. Вот так выглядит человек, только что переживший унижение. Это — ты. Сейчас тебе выплатят твои деньги, ты отдашь долг. А все остальное — очень просто. Ящик можно не включать вообще. Не включай его — и ты не увидишь себя, старого, мятого, в сутенерских усах, заклинающего с фальшивым пафосом: «Пажалста!.. Заплатите!..»

Не включай телевизор. Это несложно — у тебя его нет. У тебя нет дома. Нет дела. Ничего. Никого. Вот так-то.

Нина читала статью весь вечер. Читала и перечитывала, плакала, слоняясь по пустой квартире, снова открывала тоненький дамский журнальчик и, забившись с ногами в угол широкой Диминой тахты, читала вслух и про себя,

сквозь хмельные слезы. Она не любила пить, не умела, а тут решила, что это поможет притупить боль. Достала бутылку мартини из Диминых запасов, выпила рюмки три или четыре... Зачем? Ни черта это не помогало!

Нина уже знала статью наизусть. Статья как статья, ничего особенного, никаких открытий.

Она плеснула себе мартини, пролив его мимо рюмки, на клетчатый пушистый Димин плед, пропахший Диминым табаком, Дима любил тут валяться, раскуривая сигару, с ленцой раскладывая пасьянс... Тоже мне барин! Шереметев... Пупков! Пупков, скотина, сволочь, обалдуй, пьяная гадина, бабник, свою жизнь сломал, а теперь — мою. Ну нет! Мою — нет.

Как же ты мог, Дима?! Я влезла ради тебя в эту мясорубку, выплачиваю твой долг — и какой ценой! Седая стала за месяц. Если бы ты знал... Нет, дело не в этом. Дело совсем не в этом.

Нина пила и не пьянела. Голова раскалывалась, глаза распухли от слез. Плед пропах Диминым табаком, он просил купить ему этих сигар, кстати, принести в больницу. Пускай теперь тебе твоя эскорт-сервис их покупает. Се-ервис... «Я могу быть вам полезна? Чем я могу вам помочь?» Известно — чем.

Наверное, Дима всегда изменял ей, Нине, с самого начала. Зачем тогда было огород городить? Добиваться ее взаимности так упорно? Ему была нужна ее фамилия? Но он же не взял Нинину фамилию, он же остался Пупковым...

Нина снова придвинула к себе журналчик. Постоянный обозреватель, некто Людмила Солдатова, писала о том, что нужно жить несмотря ни на что, жить ради самой жизни, бог с нами, с кризисами, все поправимо, все пройдет.

Останется жизнь, ее никто не отменял, никто не отменял нашу московскую осень, наши дожди и хляби, короткие синие московские сумерки, свет в твоём окне, тебя там ждут, да к бесу все эти семнадцатые числа, когда тебя там ждут!

У нас есть наши числа, наши даты, наша жизнь. Скоро — ноябрь, первые заморозки, первый снег. Или — сорок первый, если тебе сорок. Это меты твоей жизни, только твоей, она идет, она проходит, цени ее! Да, это — общее место. Но, пожалуйста, — слышишь? — цени ее.

Нина вытерла мокрые глаза и взяла телефонную трубку.

У Игоря, хозяина таблоида, судя по всему, шло очередное совещание — кто-то на том конце провода бушевал и вопил.

Ничего, у Нины был прямой доступ к хозяину. Всего за месяц Нина умудрилась стать «парацци номер раз». Ценой бессонных ночей, проведенных в тревожных бдениях с фотокамерой наперевес. В местах весьма экзотических и труднодоступных. И на дереве ночевали-с...

— Игорь, это я, — сказала Нина и торопливо, дабы не вызвать начальственного гнева, принялась объяснять: — Есть такой журнальчик... женский... «Он и она» называется...

— Дерьмо, — перебил Игорь. — Сопли в шоколаде. Слушай, ты мне нужна на завтрашний вечер. Надо отследить одного...

— Я отслежу, — пообещала Нина. — Но у меня к тебе просьба. Ты там знаешь кого-нибудь, в этом «Он и она»?

— Всех, — вздохнул Игорь. — В рекламном отделе — три пожилых нимфоманки и бывший гэбист из АПН. В службе маркетинга — мой кореш старый, сто лет ему не звонил, квасили мы с ним когда-то знатно... Тебе кто нужен-то?

— Игорь, там у них есть такой автор — Людмила Солдатова, ведет колонку. Я тебя прошу, ты узнай для меня ее телефон, лучше — домашний. Я тебя очень прошу! Ты меня знаешь, я работаю.

Игорь узнал и телефон, и адрес.

Нина ахнула:

— Подсосенский?! Совсем рядом с моим домом, полбульвара пройти... Игорь, это — судьба. Все, я твоя должница.

— Ловлю на слове. Завтра тебе — в ночную. В ночное. Нужно будет...

— Вот завтра и расскажешь.

Нина тут же, не раздумывая, набрала номер этой самой Солдатовой. Занято. Наглухо занято.

Нина вскочила с тахты и мельком глянула в зеркало. Нетрезвая зареванная фурия. Ну, и куда ты собралась? К Солдатовой. Подсосенский — это десять минут ходьбы.

Так. Распухшую рожу — под кран, под струю холодной воды. Растрепанные космы — под шелковую косынку. Где зонт? Там ведь дождь опять... Сапоги. Плащ.

Подожди, сядь. Нина опустилась на низкий топчанчик в прихожей. Посиди. Опомнись. Очухайся. Куда ты идешь? Зачем?! Сейчас нагрянешь без звонка к незнакомой бабе, ее, может, и дома нет...

Нина снова набрала номер — занято. Ну хорошо, ты придешь к ней, что ты ей скажешь? Что тебе плохо? Что так по-дурацки сложилась жизнь и нет у тебя ни подруг, ни близкого человека, нет конфиденнта, вот этой самой пресловутой «жилетки», в которую можно выплакаться? Что ты скажешь ей, Нина? «Я прочла вашу заметку, многоуважаемая, драгоценная госпожа Солдатова, мне стало чуть легче, мерси

вам, поговорите со мной, не гоните меня, мы — соседки, это судьба, не правда ли? Просто мне очень плохо, совсем плохо, мне даже помолчать не с кем, можно мне с вами помолчать?...»

Вот так и скажу. Да, так и скажу. На порог не пустит? Ну, и ладно. Не пустит — побреду домой. Мне терять нечего.

И Нина решительно поднялась с тоггчанчика.

Был вечер, дождь. В кулинарии на Покровке продавали теперь цветы — очень кстати. Два немногословных и сумрачных московских горца в широченных адидасовских портках с лампасами, в одинаковых вязаных шапочках, надвинутых низко на разбойничьи черкесские глаза, долго выбирали для Нины розы.

В магазине напротив Нина купила хорошие дорогие духи. А может быть, они ей не нужны, этой Солдатовой? Может быть, она ветхая бабушка уже, лет под сто? Солдатова... Такая строй-плац-шинельно-кирзово-военно-полевая фамилия. Ладно, не кирзовые же сапоги ей покупать с портянками! И Нина еще купила зачем-то толстенный французский журнал мод. Зачем? Она и сама не знала.

Она пребывала в истерически-лихорадочном состоянии, когда все — трын-трава, когда понятно самой, что совершается глупость за глупостью, когда каждый новый шаг — блажь, авантюра, нелепица. А! Гори все огнем.

Подсосенский. Старый дом в глубине старинного глухого двора. Подъезд. Лифт. Дверь. У таблички с номером квартиры — маленькая фигурка оловянного солдатика, вырезанная из жести, ярко раскрашенная. Смешно. Оловянный солдатик из сказки Андерсена на двери квартиры

Солдатовых. Занятно... И Нина нажала на кнопку звонка.

Пока там, за дверью, кто-то возился с замком, Нина слышала ликующие детские вопли:

— Ага! Опоздал, опоздал, продулся!

Ей открыли двое мальчишек — лет девяти и двенадцати. Увидев Нину, притихли, застыв с открытыми ртами.

— Здравсьте, дети, — нерешительно сказала Нина. — А... А мама дома? Или... бабушка? Можно войти?

Мальчишки молчали, растерянно глядя на незваную гостью.

Из прихожей пахло горело сдобой.

— У вас горит что-то. — Нина вошла в прихожую и положила цветы и сумку на подзеркальник — Вы одни дома, что ли? Где кухня? Что у вас там дымится?

Она пошла на запах по длинному узкому коридору старой московской квартиры.

В кухне, за столом, накрытым к вечернему чаю, сидел, скрестив руки на груди, старик лет семидесяти. Он был абсолютно невозмутим.

— У вас горит что-то в духовке! — Нина кинулась к плите.

— Не трогайте, — приказал старик — Он уже идет. Мы видели в окно — он уже подъехал. Сядьте.

Радостные мальчишеские вопли огласили дом, и Нина опустилась на стул возле стены. В кухню быстрым шагом вошел мужчина и сразу бросился к плите. Нина сначала видела только его спину — широкоплечую, сутуловатую. Он был в куртке, такой подвытертой на локтях шоферской кожанке, блестевшей от дождя.

— Мерзавцы! — беззлобно ворчал мужчина, открывая духовку. — Дайте полотенце! — Он

схватил полотенце и вытащил из раскаленного зева противень с дымящимся угольнобоким пирогом. — Изуверы! Спалите тут все без меня...

— Проиграл! Па, ты продулся! — кричали мальчишки, прыгая и хлопая в ладоши.

В кухне повисло облако дыма. Мужчина распахнул форточку, снял пирог с противня, быстро и умело срезал кухонным ножом обугленную верхушку и черные бока пирога, не переставая ворчать вполголоса:

— Нет, все, в последний раз! Иначе это кончится пожаром... Папа! — Он взглянул на старика с укоризной. — Ну, с этой шпаной все ясно. А ты? Не совестно?

Он оглянулся на сыновей — и увидел Нину, сидевшую у самой стены.

— Вечер добрый, — поздоровался с ней мужчина, ничуть не удивившись. — А вы-то куда смотрели? Петр. — И он протянул Нине руку. — Вы все-таки пришли?

— Да, — выдавила Нина, вконец растерявшись. — Пришла, да.

Она сидела на краешке стула, прислонившись спиной к стене. Сидела, изнывая от неловкости, отчаянно труся. Хмельной истерический раж дано прошел. Нина смотрела на незнакомого мужика в шоферской куртке, на его мальчишек и отца, лихорадочно соображая, что бы такое сказать, как бы выкрутиться поудачнее и поскорее отсюда слинять.

Большая семья, какие-то свои домашние причуды. Сейчас явится жена и мать, эта самая Солдатова, они сядут ужинать... На кой черт им зареванная Нина с ее бедой и болью?

— Напрасно пришли. — Мужчина снял куртку, бросил ее на руки одному из сыновей. Мальчишки тут же умчались в прихожую. — Я же

сказал участковому — не нужно никакой медсестры. Я сам буду делать отцу эти уколы, я умею.

— Он умеет, — подтвердил старик, отрезая кусок пирога.

— Съедобно? — спросил у него Петр, моя руки под краном. — Пойдемте, я помогу вам раздеться. — Он смотрел на Нину с доброжелательным интересом. У него был хороший взгляд — спокойный, прямой, приятный, излучающий ровное тепло. — Пришли, значит, будем чай пить. Пойдемте.

Нина послушно встала и вышла в коридор. В полумраке на нее налетели мальчишки. Они тащили на кухню тяжеленный громоздкий стул с высокой резной спинкой.

— Молодцы! — одобрил их хозяин дома. — Это — особое кресло, — шепнул он Нине, ведя ее в прихожую. — Готовьтесь! — И он весело, заговорщически подмигнул ей. — Там есть кое-какие секреты...

— Горошина в сиденье? Под обивкой зашита, да? — Как это у Нины вырвалось, почему? Вот, вырвалось помимо воли. Нина сама себе удивилась. Поспешно добавила: — Просто я смотрю: у вас оловянный солдатик к двери прибит. Где одна сказка, там и вторая...

Петр усмехнулся, ничего не ответив. Он стоял рядом с Ниной и ждал, когда она расстегнет пуговицы на плаще. Теперь Нина его рассмотрела наконец.

Высокий и смуглый, лет сорок... Ну, может быть, сорок пять. Острые скулы, крупный резкий нос. Не славянских кровей, нет, — то ли казачье что-то, то ли цыганское, южное, вольное, похож на Мелихова из старого кино. Узкие темные глаза, низкие брови.

Нина, опомнись, тебе давно пора идти!

— Мне пора, — поспешно сказала она. — Я раздеваться не буду, я пойду, извините.

— Пора? — переспросил Петр, внимательно глядя на Нину. Он ведь тоже ее рассматривал. — Жаль. А что так? У вас еще вызовы?

— Какие вызовы? — Нина не сразу поняла, о чем он. — А... Нет. Я не из поликлиники. Я...

Стоит ли говорить? Нина посмотрела на свои цветы и сумку, лежавшие на подзеркальнике. Петр невольно проследил за ее взглядом, она заметила. Теперь вот не отвертишься.

— Видите ли, я пришла... — Нина с трудом подбирала нужные слова. — Это глупость, конечно... Бестактность... Вы уж меня простите великодушно... Я пришла к вашей... — Нина запнулась. Помедлив, закончила: — Надо полагать, к вашей жене. Она дома?

Даже в полумраке неосвещенной прихожей было заметно, как он побледнел. Кровь отлила от кожи, и смуглое лицо стало серым.

— Людмила Солдатова — это ваша жена? — уточнила Нина. — Я прочла ее статью в журнале, и мне захоте...

— А, — глухо выдохнул Петр. — Статью...

— ...Мне захотелось с ней увидеться. Поговорить. Я понимаю, что это абсолютная бестактность...

— Нет, почему же, — пробормотал он сквозь зубы.

— Петя! — крикнул старик из кухни. — Чай остывает. Мы ждем.

— Я пойду. — Нина открыла сумку, достала оттуда коробку с духами, журнал мод и торопливо пристроила свои презенты рядом с букетом. — Это ей. Передайте ей спасибо. Она меня очень поддержала. Такие простые слова, но как-то легло на душу... Так бывает.

— Бывает, — эхом откликнулся Петр. Он был теперь как-то странно подавлен, погружен в себя.

— У меня очень тяжелая полоса, — сбивчиво говорила Нина, понимая, что надо оборвать себя на полуслове, попрощаться, уйти. — Очень тяжелая. Сейчас всем тяжело, а у меня — через край...

— Петр! — снова позвал его старик.

— Папа, ну где вы? — Это мальчишки.

— Мы сейчас! — откликнулся Петр.

— ...И так как-то вышло, что не с кем поговорить... — Нина нервно теребила ремень сумки, стоя рядом с вешалкой, рядом с детскими куртками — надо же, и на них вышито по солдатику! — Жила бы Штатах — пошла бы к психоаналитку. А у нас с этим — проблема...

— С аналитиками — швах, — согласился Петр. — У нас вместо аналитиков — анальгетики.

— И вот мне попалась на глаза статья вашей жены, и я решила...

— Это моя статья.

— Ваша?! — изумилась Нина. — А почему она подписана женским именем?

Петр помолчал. Потом ответил, и было видно, что каждое слово дается ему с трудом:

— Моя жена вела эту рубрику. Три года назад она... Ее не стало. Ну, и я... Я продолжаю. Мне предложили — я это делаю. В память о ней.

Теперь они молчали оба. Слышно было, как в кухне звенят чашки и блюда, как возбужденно и весело переговариваются младшие Солдатовы.

— Папа! — крикнул один из сыновей. — Вкуснотища! Горелый даже лучше!

— У нас такая игра дурацкая, — как можно будничней произнес Петр. — Я ставлю пирог в духовку на час. За час я должен сделать два рейса

и вернуться, чтобы успеть вынуть пирог. Дурацкая забава, опасная. Надо с этим завязывать.

— Вы таксист? — тихо спросила Нина.

— Я много чего, — усмехнулся Петр. — Кормящий отец. И сын.

— А я вам — парфюм. — Нина пристыженно взглянула на свои бесполезные, нелепые дары. — Журнал мод зачем-то купила...

— Вот этот? — спросил Петр с деловитым интересом. — Замечательно! В масть. — Он взял журнал, раскрыл его, принялся быстро и сосредоточенно перелистывать, словно опасаясь того, что Нина опять неосторожным словом коснется его боли, его утраты. — Спасибо. Я за этим номером неделю охочусь. Здесь должны быть кое-какие рекомендации...

Петр нашел наконец нужный раздел и стал читать с каким-то почти женским интересом, который так не вязался с его стопроцентно мужской фактурой. Наконец он поднял глаза — встретился с Нининым недоумевающим взглядом, все понял и, хмыкнув, бросил журнал на коробку с парфюмом:

— Нет, все в порядке, я... Я не из бирюзовой гвардии.

— Кто бы сомневался, — усмехнулась Нина. — Вы — стойкий оловянный гвардеец. Солдатов. А я вам — «Шанель»...

— А мне бы — шинель, — весело подхватил он. Тут же помрачнел, быстро добавил: — Ну, так ведь вы не знали...

Нина наконец шагнула к двери. — Мне пора. — Она вышла на площадку раньше, чем Петр успел что-нибудь сказать. — Спасибо вам за все. — Лифт был занят, и Нина направилась к лестнице, повторив напоследок — Спасибо вам за все. Простите меня, пожалуйста.

— Подождите. — Петр подошел к перилам. — А... А как вас зовут?

— Нина. — Она уже спустилась на несколько ступеней и теперь остановилась, глядя на него снизу вверх.

— Нина, — запоминаяще повторил Петр. — Нина, у вас есть мой телефон?

Нина кивнула.

— Вы звоните, — сказал Петр, помолчав. — Будет желание — звоните. Договорились?

Сегодня Нина работала. Нормальный график папарацци: от полуночи и до первых петухов.

Петухов здесь было предостаточно. Крикливая, пестрая, пьяная шваль, горластое петушье племя, завсегдатаи ночных халяв, беспробудно-бессонных тусовок.

Они бродили по ресторанному залу, погруженному в полумрак, то и дело прошиваемый болезненно пульсирующей, слепящей глаза подсветкой. Натыкались во тьме на чужие столики, подсаживались к местным курицам, изъяснялись с ними в основном при помощи жестов — так грохотала музыка... Это — музыка? Этот вой у нас песней зовется... Мелодии и ритмы полночного курятника.

Нина работала. Изводила пленку на это непотребство. Кроме песен и плясок была обещана также дегустация шоколадного мусса «Девушка Ноября».

Отец русского издания знаменитого порножурнала выгуливал свою ноябрьскую плеимейт, водил прелестницу от столика к столику, почему-то держа ее двумя пальцами за детский цыплячий (курятник, курятник!) затылок.

— Она из Абакана! — гордо кричал кому-то отец русского порно, пытаясь переорать весь

этот джаз. — Из Абакана! Ты понял? Могущество России Сибирью прирастать будет!

Плеймейт, бессловесное затюканное создание, затравленно озиралась по сторонам, втягивая в узкие плечи маленькую головку.

— Не сутулься! — весело вопил отец русского порно, от души молотя плеймейт ладонью по острым лопаткам. — Подровняй хребет! Санек, ну, как тебе наша Ноябрьрина? Кейт Мосс на пенсию пора!

— Бедняга! — громко произнес кто-то рядом с Ниной. — Это ж со сколькими ей пришлось переспать в октябре, чтобы стать мамзель Навэмбе!

Нина оглянулась и даже охнула беззвучно: вот уж кому здесь не место, с чего бы это, какими судьбами? За соседним столиком сидела знаменитая актриса, звезда советского кино, обломок империи. Прямая спина, идеальная осанка, меховая горжетка на плечах. Волосы взбиты и уложены раз и навсегда полвека назад избранным способом: высоченное, кривоватое, слегка покосившееся, но все же неколебимое сооружение. Привет Пизанской башне.

— Давай щелкни меня тоже, — насмешиливо предложила актриса Нине. — Она — девушка Ноября, а я — бабушка Ноября. Прабабушка. Щелкни.

— Судовольствием. — Нина сделала несколько снимков.

— Боже, кто нас посетил! — Из полутьмы на мгновение выскочили два пьяных петуха. — На-адо же, сама!.. Дозвольте ручку! Как вы?

— Посиди со мной, — предложила актриса Нине, дождавшись, когда петухи отбегут в сторону. — Выпьем по рюмочке. Я одна не люблю, а с этой шпаной — не хочется.

— Мне нельзя. — Нина села рядом. — Я на работе. Разве что соку...

Актриса молча подняла свою стопочку, кивнула Нине. Та искоса, осторожно ее рассматривала.

— Что смотришь? — Актриса подцепила вилкой ломоть балыка. — Подтяжки считаешь? Отродясь не делала. Гляди, мусс несут! — Она рассмеялась, добавила: — Мисс и мусс.

Четверо громил в поварских колпаках и крахмальных белых передниках внесли в зал гигантских размеров серебряное блюдо. Несчастная плеймейт сидела в центре блюда, по-турецки скрестив тонкие ножки. Почти голая, похоже, озябшая, в шоколадном бикини, с этой своей жалкой цыплячьей шейкой, она сидела там, среди серебряных мисок с горячим муссом, и старательно, вымученно улыбалась.

— Блядь на блюде, — резюмировала старая актриса, глядя на плеймейт с сочувственной усмешкой.

Пьяная толпа между тем, подлетев к блюду со всех сторон, расхватывала миски с муссом, растаскивала их по углам, выдирая друг у друга из рук, расплескивая густое сладкое варево. Петушиное племя боролось за свою порцию ресторанного халявного комбикорма с таким ожесточением и неистовым азартом, будто его держали впроголодь не меньше недели.

— Час назад выхожу я из дому, — негромко сказала актриса, — а мимо меня, к соседнему зданию, у нас там магазин дорогой, для этих... знаешь, которые с кредитными картами... Вот. А мимо бредет супружеская пара. Старики, я их знаю. Когда-то был и достаток, и чины. Теперь — пшик совершеннейший. И вот они ковыляют мимо этой нэпманской лавки шикарной, прилично

одетая пара, он — с тросточкой... И вдруг он осторожно так, неловко, самого себя стыдясь, — к двери магазина, к урне мусорной. И тростью в урне — раз, раз... Вдруг чего отыщется... Господи! Меня машина ждет, а я стою, смотрю и плачу.

— А эти муссом обжираются, — пробормотала Нина.

— Чего ж ты хочешь! — Актриса налила себе еще водочки и поправила бетонной крепости башню из тщательно взбитых волос. — Чего ж ты хочешь: кому — шоколад, кому — слезы. Нэп. Новый русский нэп. Видела. Помню. Все это было уже. По кругу ходим... Как заговоренные.

— Зачем же вы... — начала Нина, решившись. — Простите, но зачем же вы сюда пришли?

— Как — зачем? — Актриса повернулась к Нине. — Мне деньги обещаны. У меня пенсия — семьсот рублей новыми, а на мне — две тетки, брат да племянник-бестолочь. Всех ташу. Надрываюсь. То-то.

— Господа! Господа, поверните выи! — заорал отец русского порно с ресторанной эстрады. — Хватит какаву хавать! Сейчас наша славная Мисс Мусс исполнит для вас... Только для вас, эксклюзивно... Господа! Презентуем ремикс суперхита двадцатых годов!

— Тридцатых, балда, — усмехнулась актриса. — Мне не сто лет пока еще. Как он сказал? — Она повернулась к Нине, снова поправив свою бетонную башню. — Миксер?

— Ремикс. — Нина встала из-за стола. Пора работать. — Ремикс. Это теперь модно.

— Здесь, среди нас, — первая исполнительница знаменитого сингла! — вопил порно-папа. — Господа, поприветствуем!

Актриса поднялась из-за своего столика и раскланялась — церемонно, с достоинством, с видимым удовольствием. Тройной поклон, отшлифованный, выверенный десятилетиями «ее жизни в искусстве». Маленький спектакль, все, что осталось в репертуаре. Шикарный, отточенный до мелочей спектакль на полторы минуты. Зал взвыл от восторга.

Нина смотрела на старую актрису, на пьяненьких пожирателей мусса, которые повскакивали со своих мест и рьяно, с чрезмерным хмельным пылом отбивали потные ладоши, перепачканные шоколадом. Они, похоже, все выпачкались в этом шоколаде — полутьма, толчея, пьяный угар.

Испорченные пьяненькие детки и бабушка русского кино, насмешливо, снисходительно отвешивающая им поясные поклоны. Дичь! Конец света.

Нина делала кадр за кадром, повторяя про себя: «Конец света. А ты работай. Это твоя работа. Ты увековечиваешь конец света».

Актриса села, ликующая тусовка подгрребла к ней поближе. Самые смелые, самые пьяные подползали приложиться к царственной ручке, усыпанной темными старческими пятнами. Они, конечно, и знать не знали, кто эта старуха — величественная и простецкая одновременно (две несовместимые, казалось бы, составляющие ее фирменного шарма).

Они ее не знали. Не помнили. Где им! Просто древняя диковинная птица, помесь жар-птицы с птеродактилем, невесть как залетела в резвящийся курятник, тяжело опустилась на загаженный шаткий насест, сложила драгоценные свои, ветхие крылья...

На эстрадке уже прыгала, приплясывая, чуть оживившаяся девушка Ноябрь, разевала ротик «под фанеру». Слова старой песенки, раздробленные нервным скачущим ритмом чертова ремикса, тонули в грохоте и визге бесноватой музыки.

— Это ваша песенка, — сказала Нина, стоя за спиной актрисы.

— Вроде моя, — усмехнулась та. — Только они ее, бедную, изнасиловали всем скопом. Групповуха. Подсудное дело.

— Что ж она полкуплета съела? — возмутилась Нина, глядя на шоколадную плеймейт. — Дунаевский бы в гробу перевернулся. Это же Дунаевский?

— Нет, — рассмеялась актриса. — Ему бы понравилось. С чувством юмора у него всегда все было в порядке. С самоиронией — тем паче.

— Конец света, — подвела неутешительный итог сему действу Нина, зачехляя объектив.

— Конец века, — поправила ее старая актриса. Подумав, добавила: — Один черт, как ни крути.

Редакционный шофер Валера довез ее до дома. Нине почти всегда давали машину — Нину ценили. Она была ас-универсал, стала асом-универсалом, это за месяц-то! Ну, за полтора месяца испытательного срока.

— Валера, ты во двор не въезжай, — сонно сказала Нина. — Я тут пулей проскочу, а ты полчаса будешь разворачиваться.

Она чмокнула в щеку добрейшего, своего в доску увальня Валеру. Нина все уже про него знала, про его детей, про его двух жен и трех тещ (у второй Валериной жены было две мамоч-

ки — родная и благоприобретенная, обе Валеру жрали поедом).

— Не, я тебя к подъезду доставлю, — возразил Валера для приличия.

— Говорю — не нужно.

И Нина выскочила из машины, перекинув ремень зачехленной фотокамеры через плечо. Помахала Валере рукой, он развернулся, выезжая на Бульварное кольцо.

Нина помчалась к спящему своему дому, оглябая лужи, уже прихваченные ледком, — ноябрь, четыре часа утра, холодно...

До дверей подъезда оставалось шагов двадцать, когда кто-то невидимый сжал Нинины плечи, сдавил их, вывернул руки...

Нина охнула, но закричать не успела — чья-то лапа в шершавой, пахнущей мазутом перчатке зажала ей рот. Ее поволокли куда-то в сторону, к гаражам... Кто? Она не разглядела. Какие-то тени, мелькание темных фигур, хриплое мужское дыхание, чужие запахи, резкая боль — это они выкрутили Нине руки до хруста в костях.

Ее ударили о рифленую жесть гаража-«ракушки» спиной и затылком. Больно. Теперь Нина их видела. Двое. Черные полумаски на рожах, как в плохом кино, черные полумаски с прорезями... Но ей не было страшно.

Удар в лицо — и дикая, слепящая боль. Нина упала на землю. Какая боль! Правый глаз ничего не видит. Кровь течет по разбитой скуле, по щеке, испачканный грязью. Рывком подняли на ноги. Сейчас убьют. Страха нет, только горькое, тоскливое — дети. Вовка...

— Я плачу вам каждую неделю, — прохрипела Нина, глядя в эти жуткие прорези. — Я неделю назад отдала ему шестьсот баксов. Ваше-

му... Михалычу... Вы что?! — Кровь заливала ей глаза. — Я все выплачиваю...

— Ты зубы не заговаривай, сука, — прошипел один.

Нину снова куда-то потащили, теперь уже от гаражей, туда, где темнели старые тополя.

— Че ты лепишь? Ты, тварь, у деда в Кратове на стреме повисла? Ты? Твоя работа?! Твои фотки, паскуда?!

Кратово. Вот оно что... Это цепные псы попсово-роковой звездной пары явились по Нинину душу.

Один из них держал теперь Нину мертвой хваткой, другой топтал Нинин «Кэнон», разминая объектив в мелкое крошево.

Дети. Вовка. Не страшно, если сейчас убьют. Нине давно уже ничего не страшно. Но сын! Но Вовка...

Почему она не кричала? Знала, что, кричи не кричи, не выйдет никто и окна не откроет?

Она молчала, пока эти двое привязывали ее ремнями к стволу старого тополя. Зачем они это делают? Разбитая окровавленная скула нещадно саднила, ресницы склеились от крови. Нина почти ничего не видела — только рожи, обезображенные черными полумасками с прорезями для глаз. Что-то в этом было комическое... Нет, не страшно. Фантомас разбушевался... Комикс для малолеток...

Полосы ремней больно впились в плечи, Нина впечаталась спиной и затылком в холодный, бугристый, сырой от осенних дождей ствол старого дворового тополя.

— Постоишь тут, сука! — Порция вялого бесвязного мата. — До утра не околеешь — вперед будет те, мразь, наука.

Они отступали от Нины, от дерева, пятясь, оглядываясь по сторонам... Не убьют? Жива. Жива, Господи!

— Еще раз полезешь выслеживать, сука, кого не надо, сука, мы те не камеру — кочан твой в брызги разнесем!

Они еще раз прошлись ножищами в тяжеленных ботинках по останкам Нининой фотокамеры и рысью понеслись в глубь двора, растворились во тьме сырой осенней ночи.

Нина перевела дыхание. Пошевелила затекшими плечами — прикручена накрепко. Намертво. Но — жива.

Она обвела взглядом темные окна спящего дома. Сейчас, должно быть, начало пятого. В начале седьмого собачники выведут своих мопсов-такс, кто-нибудь Нину, надо думать, отвяжет. Два часа. Нужно потерпеть два часа. Два часа на ночном промозглом ветру, вжавшись спиной в сырой ствол. Ничего, нам не привыкать. Главное — жива.

А если эти двое вернутся? Не вернутся. И все же? Или еще какой лихой ночной человек объявится, мало ли их теперь, в эту смутную осень? Занесет его сюда нелегкая, и вот она — Нина, вот она — сумка... А в сумке — мобильный.

Мобильный. Нина скосила глаза на сумку, лежащую в стороне, метрах в пяти, эти двое ее не тронули, не польстились.

Так, мобильный. Нина, ведь проще крикнуть — громко, что есть мочи, в полный голос: «Помогите!» И кричать, пока не услышат. Кто-нибудь да услышит, проснется, распахнет форточку, спустится вниз. Консьержка — той и во все положено бодрствовать, хотя нет, наверняка дрыхнет себе в своей будке... Надо кричать, Нина, надо кричать безостановочно!

Нет, не могу. Стыдно. Что тебе стыдно, дура?! Ну стой, околевай на ветру!

Мобильный. Руки свободны до локтей. Так. Рядом — голая черная ветка тополя. Нина изловчилась, дотянулась до ветки затекшей, полупарализованной, свободной лишь до локтя рукой... Принялась остервенело выламывать, выкручивать, гнуть эту ветку. Минуты две — на отдых, на то, чтобы, прислонясь затылком к стволу, отдышаться, восстановить силы. И — снова, снова, снова! Ломайся, чертова ветка, старая толстая ветка! Ты повисла уже, ты надломлена мною, моей спеленутой ремнями, уставшей рукой...

Сильной рукой. Я — сильная, очень сильная, меня били — не убили, черта с два меня убьешь... Ну?! Вот так. Победа. Ветка выломана, большая толстая ветка с рваными хвостами сырой древесной коры.

Отдохнем немного. Нина закрыла глаза, открыла. Теперь нужно подцепить сумку за ремень. Как хорошо, как удачно, что он такой длинный... Та-ак... Отлично.

Еще несколько минут ушло на то, чтобы подтянуть сумку к ногам, поднять ее, подцепив за ремешок. Руки не слушались, суставы болели, как у старого ревматика... Вот она! Откроем аккуратно. Только бы не уронить. Достанем мобильный, бросим сумку обратно на землю...

Нина знала, кому будет звонить. Тому, кто рядом. Кто живет в десяти минутах ходьбы. Какое счастье, что у него такой простой номер: первые три цифры — те же, что у Нины, а последние четыре — как в их старой коммуналке на Сухаревке, четыре цифры из Нининого детства: семь-ноль, семь-один. Семерка — число судьбы.

Он ответил сразу же, голосом бодрым, ясным, будто и не спал.

— Это Нина, — сказала Нина, переведя дыхание. — Я к вам приходила неделю назад. Вы еще решили, что я из поликлиники... Помните?

— Я помню, — спокойно ответил Петр, слово это была норма, обычное дело — будить человека в пятом часу утра. — Что-нибудь случилось, Нина?

— Случилось. — Рука затекла, пальцы не гнулись, аппарат мог в любую минуту выскользнуть из ладони. — Я вас не разбудила? — Более идиотский вопрос трудно себе вообразить!

— Нет, — ответил Петр. — Я еще и лечь не успел. Только что приехал. Работал. Что случилось, Нина?

— Меня к дереву привязали. Они уже ушли, я одна тут... Вы меня не... — Она запнулась. — Не отвяжете меня?

Он появился очень скоро, очень. Выскочил из машины, огляделся, рванул через двор... Остро заточенным ножом с длинным узким лезвием распорол ремни, негромко, сквозь зубы приговаривая:

— Сейчас, сейчас... Готово.

— Не смотрите на меня. — Нина попыталась отвернуться. — Зрелище, наверное, не из приятных.

Петр энергично, с силой растер ей плечи, предплечья, размял их хорошенько. Осторожно развернул Нину к себе, взял лицо в ладони, цепко осмотрел, заверил:

— Ничего, жить будем.

— А глаз? — спросила Нина жалобно.

Петр повел ее к дому, обогнув останки «Кэнона». Какое счастье, что не заметил, а то бы понял многое, догадался о роде ее занятий, Нина этого не хотела. Нет.

— А глаз? Ослепну?

— Ну, на один глаз вы уже ослепли, — сказал Петр. — Камеру вам разбили в пыль.

Значит, все рассмотрел и понял.

— Кто? — отрывисто спросил Петр, открывая перед Ниной дверь ее подъезда. — Вы их знаете? Заявлять будем?

— Нет, — твердо ответила Нина. — Не нужно. Спасибо вам. — Только теперь догадалась сказать. — Спасибо... Господи, сумка! Там, у дерева...

— Я сейчас. Стойте тут, ждите.

Петр помчался за сумкой, поднял ее с земли, потом подошел к машине, запер дверцу.

Странное ощущение защищенности и покоя — вот что Нина чувствовала сейчас. Она была под защитой, надежной мужской защитой. Вот он идет к ней, одна рука — в кармане, в другой зажат ремень Нининой сумки. Он приближается, быстро, зорко оглядывается по сторонам.

— У вас есть кто-нибудь дома? Нет? — спросил Петр. — Ну, пошли, будем спасать ваш глаз, пока не поздно.

— Ничего нет, кроме зеленки.

— Зеленка — это как раз то, что нужно. — Петр взял пузырек из Нининых рук.

— И вот еще йод... и вата...

— Хорошо бы спитым чаем промыть. — Петр оглядел бескрайнюю кухню. — Чай есть у вас? Компрессик бы сделать минут на десять. Очень хорошо снимает воспаление.

— Чай? — переспросила Нина. — Я не знаю. Я пью кофе. Я сейчас живу одна... — полуобморочно, почти на отключке, на автомате говорила она. Теперь, когда напряжение отступило, когда она могла наконец передоверить заботу о себе другому человеку, надежному, защитнику, — только теперь Нина почувствовала, как она

устала, как ей худо. — Я пока одна... Муж в больнице, дети у мамы... Я очень много работаю... И днем, и ночью. И пью кофе — полбанки на чашку. На завтрак, обед и ужин.

Сквозь пелену обморочной слабости она видела, как Петр заваривает чай, потом умело соружает ватные тампоны...

Усадив Нину в спальне в кресло, он осторожно откинул ее голову на свою ладонь. Теплая, твердая, широкая ладонь... Как хорошо... А теперь — спать... Он делает компресс, это — чай, а это — зеленка... Больно!

Нина вскрикнула и застонала сквозь зубы.

— Тихо, тихо, потерпите, — вполголоса попросил Петр. — Вот когда вас к дереву привязывали — молчали небось.

— Молчала, — изумленно призналась Нина. Дрема отступила — это боль и удивление заставили очнуться. — Откуда вы знаете?

— Такая же тонкий знаток женской психологии, — усмехнулся Петр. — Я же пишу для женского журнала.

— Инженер человеческих душ, — пробормотала Нина, морщась от боли. Скула и надбровье горели огнем.

— Какой я инженер! Так, техник-смотритель. — Петр уже расстилал ее постель. — Просто есть такой тип женщин: их будут убивать — они и звука не издадут. Потому что кричать в общественных местах — неприлично, дурной тон... Ложитесь, только сначала бы нужно переодеться.

— Я много чего теперь делаю неприличного. — Нина тяжело поднялась с кресла. — Род занятий, стиль поведения... — Она направилась в ванную, продолжая говорить на ходу: — К вам вот явилась неделю назад,

без звонка, как снег на голову. Пьяная к тому же... Это что, прилично?

— Вот сейчас грамм пятьдесят коньяку вам бы не помешали, — заметил Петр, идя следом.

Она оглянулась — Петр протягивал ей махровый халат, Нинин любимый. Надо же — безошибочно нашел то, что нужно.

— Нет, вы ответьте! Это прилично? — нервно повторила Нина, открывая дверь ванной.

— Все равно вы — леди, — улыбнулся Петр. — Леди, давайте все же позвоним в органы правопорядка.

— Ни в коем случае. — Нина закрыла за собой дверь и вздрогнула, увидев себя в зеркале.

Ужас-то какой! Глаз заплыл, волосы всклокочены, вся в крови... Леди с подбитым глазом. Бомжиха трехвокзальная. Вот такой он тебя видит.

А тебе не все равно, какой он тебя видит? Тебя полчаса назад убить могли, радуйся, что не убили, а ты разглядываешь свой фингал и горюешь по поводу того, что это неэстетично.

Нина стояла под душем, стараясь, чтобы вода не попадала в лицо, аккуратно стирала губкой запекшуюся на шее кровь. А ведь могли и убить! Тюкнули бы камнем по башке... Сдавили бы лапы на горле... Как тот громила тогда, пугая ее и Вовку... Вовка!

Нина быстро натянула халат на мокрое тело и выскочила из ванной.

Петр нес в спальню подносик: чай, коньяк в широкой рюмке... Кровать уже приготовлена ко сну, край одеяла откинут с геометрической точностью, подушка взбита — горничная пятизвездочного отеля могла бы позавидовать, ей-богу.

Нина опустилась на край постели, набрала номер:

— Мама! Я разбудила, прости.. У вас все в порядке? Сидите дома сегодня. Дверь не открывайте никому! Да, все нормально, я потом объясню.. И пусть Костя Вовку в школу сегодня не возит! Ты поняла меня? Все, я спать ложусь..

Нина забралась под одеяло, вытянулась с наслаждением, закрыла глаза, но тут же резко поднялась и села.

С чего она взяла, что этот полужнакомый мужик будет торчать тут возле нее и неусыпно стеречь ее покой? Что он ей, мамка? Нянька? Сиделка?.. Сам виноват. Это на нее так действует гипноз его уверенной, несуетной опеки.

— Петр, простите меня, — пристыженно сказала Нина. — Я совсем ничего не соображаю от усталости. Вам, наверное, идти нужно? Утро уже.

Рядом с кроватью, на столике, на подносе, остывал чай, маслено поблескивал коньяк в широкой низкой рюмке. Чуть сдвинув поднос, Петр положил на столик трубку мобильного, произнес спокойно:

— Вы засыпайте, Нина. Я посижу в соседней комнате. Выспитесь — утром поговорим. У вас что-то стряслось, так? Утром и обсудим.

— Нет, у меня все хорошо, — пробормотала Нина, опуская голову на подушку. — Все в порядке, ничего обсуждать не надо.. — Сон подступил мгновенно. — Все хорошо.. спасибо.. вам..

Она проснулась от пронзительной трели дверного звонка. Вскочила, запахивая халат, затягивая его поясом потуже.

В дверь звонили не переставая.

— Кто? — спросила Нина.

— Это врач, Нина. Я — приятель Петра. Открывайте смело.

Нина открыла дверь. Молодой мужчина в куртке, накинутой на белый халат, вошел в при-

хожую, поздоровался, поставил на пол свой ай-болитов саквояж.

— А где он сам? — растерянно и сонно спросила Нина. — Где Петр?

— Ага... — Врач взглянул на ее лицо, кивнул удовлетворенно. — Ну, могло быть и хуже. Где у вас можно раздеться?.. Петр? Он еще утром от вас ушел. Позвонил мне, велел подлечить ваши очи. Да вот же записочка. — Он показал на круглое настенное зеркало.

Маленький рисунок на листике, выданном из блокнота, был прикреплен к раме. Стойкий оловянный солдатик в мундире и кивере отдавал Нине честь и, казалось, ободряюще ей подмигивал.

Он не пошел к сестре. Заглянул к соседке, бабе Нюре, вечной старухе, ни износу ей, ни убыли. Вручил конверт с пятью двадцатидолларовками:

— Баб Нюр, вечером зайдешь к Наташке — отдашь. От меня.

— А сам че? — спросила вечная Нюра, осторожно вытряхивая заморские деньги из конверта.

— Баб Нюр, мне некогда, — пояснил Олег. — У меня час на все про все, дел по горло, куда я пойду? Бормотуху жрать с шурином? С ним сядешь за стол — через день только поднимешься.

— Куды там подымешься! — Нюра с величайшим трепетом, почти благоговейно раскладывала деньги на высохшей сморщенной ладошке. — Под лавку ухнешь — не подымешься... Олехек, это кто ж такой у них?

— Президент Джексон. — Олег нетерпеливо взглянул на часы.

— Вылитая наша почтальонка из Боровска. — Старуха поднесла купюру к подслеповатым глазам. — Вот так шалкой подвязать — вылитая Зинка... Надо ж, сподобилась, мериканские деньги в руках держу. Олежек, правду говорят, что они не горят, хоть жги — не горят? Вправду?

— В огне не горят, в воде не тонут, — подтвердил Олег, сбегая вниз по ступенькам ветхого, щербатого Нюрино крыльца. — Это только наши, баб Нюр, горят. Синим пламенем. Вечером Наташке отдашь, не забудь, не потеряй! — Он сделал несколько шагов к покосившимся воротам, к низкой калитке. Оглянулся назад, весело крикнул: — Баб Нюр, а ведь ты еще керенки, наверно, помнишь, да?

Старуха стояла на крыльце, приблизив бледно-зеленую купюру к глазам, изучая физиономию президента Джексона с живейшим, отнюдь не старческим интересом.

Олег смотрел на нее. Конечно, помнит керенки — ей сто лет в обед. Помнит. Нюрин век, долгий век, русский век, советский: от семнадцатого года до семнадцатого числа. От керенок до его величества доллара.

Докатались, куда уж дальше.

Олег заглянул к бригадиру шабашников Сене.

Сеня, благодарение небесам, был вполне трезв и вызвался собрать бригаду в горсть.

— Привез? — спросил он у Олега, не выдержав.

— Привез, привез, — кивнул Олег. — Давай собирай всех в школе. И вот тебе на водку. Там и распечатаем.

Сеня умчался, как был — в одном сапоге, зажав другой под мышкой. На скаку обулся, рва-

нул по деревенской осенней хляби, въезжая в жидкую грязь по колено. Понесся высвистывать свою ораву — заказчик приехал! Долг отдаст! Арцис (так они звали Олега меж собой, посмеиваясь), арцис привез бабки!

Олег вышел к своей школе, к заброшенной своей развалюхе, одноэтажному облезлому бараку под прохудившейся крышей, длинному, как кишка.

Во дворе, под навесом, хранилось Олегово богатство: кирпич, черепица, шифер, штабеля досок. Все, что Олег успел купить до злосчастного августовского обвала, купить по хорошей цене, выгодно, толково — деньги он сэкономил, деньги были чужие, те самые десять тысяч баксов, занятые у друга.

Сторож шагнул ему навстречу — Олег поднял руку: потом, потом! Зашел в дом. Вдохнул запахи отсыревшей штукатурки и извести, свежеструганных досок, мешковины, олифы. Олег вдохнул их с наслаждением, полной грудью: родные запахи его стройки, его дела, его дома, не ожившего еще, но уже и не мертвого.

Он шел длинным стылым коридором своей бывшей школы-четырёхлетки, по-хозяйски похлопывая ладонью по мешкам с цементом, составленным в ряд. Шел, проверяя бегло, на глаз, все ли ящики с гвоздями целы, не сперли ли чего из мелкой сантехники, купленной Олегом самолично.

Он всему здесь знал цену, вел счет. Сторож плелся за Олегом по пятам, вполголоса повествуя о том, как непереносимо трудны и смертельно опасны его, сторожа, трудовые будни, его бессонные бдения с шашкой-винтовкой наперевес, ибо чуть сумерки, а уж лезут изо всех углов, вон, из оврага и из лесу, окрестные злодеи-

вороги, точат свои ножи, наступают по всему фронту. Всякий жаждет обчистить Олеговы уголья, креста на них нет, упыри, воровское племя, кому — мешок с цементом, кому — ящик гвоздей...

— Но ты начеку? — перебил его Олег, поглядывая на окна, еще не застекленные заново: где — старые рамы, где — и вовсе сквозной проем, за которым овраг, осенние поля и неровная темная кайма соснового бора.

— Я-то начеку, да мне бы — чек, — съязвил находчивый сторож, местный юродивый, бывший завклубом. — Мне бы чек, а еще лучше — наличкой.

— Будет тебе наличка, погоди. — Олег открыл дверь в актовый зал, осмотрелся.

Запустение, сырость, прогнившие доски. Шаг в сторону ступишь — провалишься вниз, в подвал. Чердак разворочен. Пустые глазницы незастекленных окон. Вместо сцены — гнилой остов.

Но сцена будет, театр — будет, все будет так, как Олег задумал. Вот эта стена сможет подниматься, и тогда вообразите: весна, цветущие яблони, вот здесь, в заброшенном школьном саду, мы поставим ряды для зрителей, мы сколотим удобные широкие лавки... Занавес открывается... Олег ведь купил, успел купить целый тюк, прорву, уйму жатого бархата цвета густого темного меда.

Он покупал этот бархат восемнадцатого августа, в маленьком магазинчике на Лосинке, а хозяин лавки, пожилой еврей, говорил ему, выписывая чек: «Ну, и куда вам столько? Театр свой строите? Вы что, не слышите радио? Лида, сделай для этого глухого громче! О-ой, милый человек, у нас в России вся жизнь — театр. Театр военных действий».

— Ильич! — окликнули Олега.

Он очнулся, оглянулся на зов.

Семь нетрезвых архангелов, точнее архаровцев, семеро мужичков с испитыми плутовскими рожами, бригада шабашников, одинаково крепенькие, коренастые, мелкие, — Олег звал их, коверкая фамилию знаменитого французского зодчего, Ле Кургузье, — семеро кургузых работяг-стройподрядовцев стояли за его спиной тесной группкой, выжидательно, с надеждой глядя на Олега.

— Привез? — решил наконец Сеня, главный, обнимая натруженной дланью висевший на боку рюкзачок. Рюкзачок отозвался веселым стеклянным звоном.

— Я же сказал: привез, — кивнул Олег.

Семеро не проронили ни звука. На хитрованских их рожах разлилось, впрочем, предвкушение неизъяснимого и длительного блаженства, сладостное предчувствие грядущих недельных запоев, шумных, с размахом, загулов, где всему будет место и час: и радостной пьяной драке, и дружному разгрому пристанционного киоска, а бабе своей, чтоб не таякала, можно будет крикнуть с надрывным хмельным негодованием: «Я зар-р-работал?! Зар-р-р-работал, блин?! На те двести, уйди, убью, Валентина!»

— Так — Сеня поставил рюкзачок на пол. Помолчал, сопя. — Так. Значит, как договаривались. По сто пейсят зеленых на брата. Наружку мы тебе осмотрели. — Сеня стал загибать корявые темные пальцы: — Трещины заделали, цоколь восстановили. Плитку поклали, слесарку мы те сделали...

— Наполовину, — уточнил Олег.

— На большую половину, — утрюмо возразил Сеня.

— Половина, Сеня, на то и половина, что — пополам. — Олег достал из-за пазухи тысячу баксов, все, что заработал за два эти месяца, плату за стыд, за позор, за «тужься, милая, тужься».

— Мусор мы тебе разгребли, стекло убрали, — продолжал Сеня, глядя на стопку долларов остановившимся немигающим взглядом, взглядом такой силы, что сила, скажем, земного притяжения была по сравнению с ним — пшик, ничто, напрасное колебание воздуха. Еще минута, казалось, — и зеленые бумажки, выпорхнув из руки Олега, устремятся в Сенину трудовую ладонь стройным косяком перелетных птиц, спешащих к родимому югу.

— На. — Олег вручил Сене деньги, добавил: — Пятьдесят я вам должен.

— Пятьдесят мы тебе прощаем, — великодушно молвил Сеня, неторопливо и задумчиво пересчитывая деньги.

— Что так? — насторожился Олег.

Сеня молчал, занимаясь подсчетом. Ле Кургузье придвинулись поближе к атаману, напряженно и недоверчиво следя за равномерными движениями Сениного большого пальца, обильно смоченного слюной.

— Как это — прощаете? — допытывался Олег. Его тревога росла, и он заговорил почти заискивающе: — Я отдам! Скоро банк мой распечатают, деньги будут. Мужики, у меня деньги есть, подождите еще немного. Только давайте уж начинать, мужики! Зима на носу, попаузили, и хватит... Долг я вам отдам, давайте продолжать работу-то! В счет будущих денег.

Сеня спрятал доллары в нагрудный карман и хмуро сказал:

— Ильич, мы уходим. Не взыщи, Ильич.

Олег обмер.

— Куда уходите? — спросил он хрипло.

— В Хотьково едем, — пояснил Сеня. — На подряд. Там один чмур три коттеджа строит. Хорошие деньги дает, живые деньги, Ильич, сразу в руки нам даст, живые, не из банки твоей запечатанной. Их пощупать можно.

— Ая?! — Олег слышал свой голос, он что-то еще говорил, пытаясь убедить их, остановить, образумить. Он сам себе напоминал петуха, которому уже отсеки башку, а петух еще бегаёт по двору, заливая траву тёплой кровью... — А я, а школа? Мужики! Да вы что?! Будьте людьми, она ж не достоинт до весны-то! С дырявой кровлей! Сгниет, совсем развалится! Мужики, да вы что?! Не губите!

— Давай выпьем, — сочувственно предложил Сеня. — Давай сядем, выпьем. Мы ж купили! Давай на посошок.

— На какой посошок, мать твою?! — заорал Олег с яростью. — Охренели совсем? Где я сейчас новую бригаду найду? А это все?.. — Олег пнул в сердцах ящик, где лежали, одна к одной, электрические лампочки, купленные им ещё в июле. — А это куда? Кирпич, стройматериалы... В это, знаешь, сколько бабок вбухано?

— Знаешь, — кивнул Сеня. — Ты потише с лампочкой-то, Ильич.

— Лампочка Ильича, — вставил сторож, и семеро Кургузы негромко заржали.

— Ты заткнулся бы! — Олег перевел на сторожа загнанный взгляд. — Что? Также с ними уходишь?

— Ухожу, — подтвердил сторож. — Вы мне, Олег Ильич, двести баксов должны, вы меня месяц завтраками кормите, а я жрать хочу! И в обед и в ужин. И семейство моё жрать хочет, очень

даже хочет. Цены скакнули, второй месяц на своей картошке сидим, свиным салом заправляем.

— Ты продай это все, Ильич, — предложил Сеня. — Мы те покупателя найдем, эти и купят, хотьковские. Продай, забудь ты про свой тياتр, не время сейчас. И ребятня твоя разбежалась, ты был у их-то? Нет? Разбредились. Кто в Балабаново подался, кто — в Москву. Каждый выживает, как может. Глухие времена.

— Мужики... — Олег задохнулся. Больше он ничего не мог сказать.

Он встал перед ними на колени. Он рухнул, и в одно колено тут же больно впился какой-то гвоздь или осколок стекла.

Олег стоял перед ними на коленях, на этих шатких гнилых половицах, усеянных битым стеклом (чего было врать-то, что вычистили все, убрали? Халтура, Кургузь!). Он стоял, смотрел на них, притихших, и не было в этом жесте ни актерской экзальтации, ни наигрыша, ни фальши — одно только исступленное отчаяние. Чистое отчаяние, абсолютное, предельное отчаяние. И мольба.

— Мужики... — выдохнул Олег наконец. — Если не будет этой школы моей, мне тогда... Мне тогда и жить незачем. Нечем. Мне и так нечем. Давно.

Сеня шагнул к Олегу и поднял его на ноги, легко поднял, без усилия. Потом молча отряхнул его колени и полы куртки, сбил с них древесную труху и битое стекло.

— Ильич... — Сеня похлопал Олега по безвольно поникшим плечам. — Ильич, давай выпьем. Не бери ты нам душу, зараза! Все одно — уйдем. А куда денешься? И ты бы ушел на нашем-то месте. Такие времена, Ильич. Каждый выживает, как может.

Олег все же надрался с ними. Напился с горя. Доковылял по грязи, по вязкой деревенской распутице до бабы Нюры, забрал у нее сто долларов, предназначенных для сестры. Пробубнил, отводя глаза: «Нюр, ты не говори ничего Наташке. Я потом... Деньги будут — привезу... Потом, Нюра!»

Сто долларов Олег всучил сторожу, уломал его, умолил, умастил пьяненького, на все согласного: «Вот тебе сто, это знаешь сейчас какие деньги? Это целое состояние! Месяц еще походи тут с колотушкой, поохраняй, потом я денег достану, новых работяг найду...»

Теперь он, трясясь в электричке, возвращался в Москву.

Голова раскалывалась, похмельная муть застилала глаза. Что делать? Что делать, с чего начать, господа Добролюбовы-Чернышевские, я вас спрашиваю, господа революционеры-разночинцы-шаромыжники-сволочи?! Вот он я, мне полтинник с гаком, вот он я, сижу, ссутулясь, скрючась на холодной и жесткой лавке, и бьет меня похмельный озноб, и хреново мне, господа Чернышевские...

Что я делать умел? Я умел быть актером, хорошим, заметьте. Ладно, там кончилось, там — труба. Там — кончилось, а я начал заново, нашел и силы, и деньги, я начал свое дело, а мне р-раз — и руки отрубили. По локоть.

Куда теперь? Милостыню просить, вот здесь, по грязным, по стылым вагонам? «Граждане, подайте кто сколько может бывшему народному артисту бывшей народной страны! Вы же тоже — бывший народ, граждане. Сами мы не местные, у нас с вами мест не осталось, все места у нас, граждане, отняли».

Олег вышел на Ярославском, побрел к метро. Холодно. Мутит. Ноябрь на исходе.

Олег поднял воротник, взглянул на уличные часы. Одиннадцать вечера. Он перевел усталый взгляд — и замер.

Недалеко от входа в метро торчал рекламный щит, теперь такие на каждом шагу. Белым по алому, крупно, наотмашь: «Помни! (О, это безличное совковое “Помни!”, “Знай!”, “Соблюдай!”) Уклонение от уплаты налогов есть преступление перед государством!»

И все. Белым по алому. Крупно. Олег коротко и хрипло рассмеялся. Он сразу вспомнил все унижения трех последних месяцев, всю муку, весь свой позор, бессильные блуждания по замкнутому кругу. Банк, в котором замурованы намертво его деньги, бездомность, бесплодные попытки заработать, худую кровлю над погибающей школой и это «тужься, милая, тужься»...

Как они смеют, а?! Они, укравшие его деньги, втоптавшие его в грязь, его и еще тысячи таких же, как он, как они смеют белым по алому, ярко, крупно, нагло, бесстыдно: «Преступление!», «Государство!»

Это вы — государство?! Вы, воры, скоты, шпана, отребье, вы — государство?

Олег огляделся. Пьяная злоба ударила ему в голову. Урна, а рядом — пустая пивная бутылка. Тут бы бульжник стоял. Бульжник, орудие пролетариата. Обманутого вами пролетариата. Чем я не пролетариат? Пролетариат, пролетающий над гнездом кукушки. Все мы здесь кукушкины дети, в сущности.

«Преступление перед государством». Какой восхитительный, первобытный цинизм! Цинизм убийцы, который вас душит, но при этом сурово и требовательно приговаривает: «Ты поче-

му не расстегнул воротник? Ты что, не видишь, что мне тебя душить неудобно? Давай расстегивай, я должен добраться до твоего горла, расстегивай, это твоя обязанность, помни!»

Помни... И Олег запустил пивной бутылкой в это самое «Помни!». Не попал, бутылка упала к его ногам, не разбившись. Он поднял ее с земли и снова запустил, целясь теперь в восклицательный знак.

Он стоял, покачиваясь, и расстреливал этот скотский плакат с тупым пьяным упорством до тех самых пор, пока рядом с ним не остановился, резко тормознув, ментовский «уазик», пока не повыскакивали из него, вполголоса матерясь, brave служители правопорядка.

— Я тебе в сотый раз объясняю: вечер, я подхожу к дому. Ударили, вырвали сумочку — и наутек. Все.

— А я тебе в сотый раз говорю: не шлейся одна по ночам! — Дима повысил голос. Он кружил по своей двухместной палате, опираясь на трость, еще заметно прихрамывая. — Вечер... Знаю я этот «вечер»! Наверняка за полночь возвращалась. Откуда, кстати?

— Я уж и не помню, — пробормотала Нина.

Она сидела в креслице у стены. Дочь Ирка стояла рядом, нервно грызла ногти.

— А ты куда смотришь? — Дима перевел гневный взор на падчерицу. Он распекал обеих с видимым удовольствием. Еще бы! Хоть какой-то выход энергии, скопившейся за два с половиной месяца вынужденного затянувшегося безделья. — Если мать возвращается поздно — выйди, встретить. Ты где живешь сейчас — у нас или в Крылатском?

— Мы все, Дима, в Крылатском живем. — Ирка нерешительно покосилась на Нину. — Мама сейчас должна быть одна. Она теперь очень устает, потому что... — Ирка запнулась. — Она же теперь работает.

— Ира! — гневно крикнула Нина.

— Как — работает? — изумился Дима. — Где?

— Ира... — прошептала Нина. Все, это — конец.

— Что — Ира? Что?! — заорала Ирка, тут же перейдя в наступление. — Мама, почему ты скрываешь это от Димы? Почему он не должен знать?

Это конец. Нина сжала ладонями виски. Очки тут же съехали к переносице, огромные стрекозьи очки с затемненными стеклами, призванные если не скрыть синяк под глазом, то хоть как-то смягчить общее впечатление.

Да, это конец. Зачем она взяла сюда Ирку? Понятно зачем. Чтобы отвлечь Димино внимание от собственной персоны, от своего обезображенного личика, от этого синяка, залепленного пластырями, наконец, от собственного горького, казнящего взгляда, обращенного на мужа, потому что теперь Нина знала. Знала про эскорт-сервис с ирисами. Вон они, кстати, новые, свежие, на столике у окна.

— Почему надо скрывать от него, что ты устроилась на работу? — кричала между тем ее дочь-предательница. — Он твой муж. Глава семьи. Правда, Дима? — И Ирка подобострастно уставилась на Диму. Она всегда перед ним юлила, виляла хвостом, хитрюга, всегда выторговывала у него копеечной лестью все, чего бы ей ни захотелось. — Почему нужно молчать-то, Дима будет только рад. Дима, мама теперь пресс-атташе в одной крупной фирме. Все очень удач-

но. Хорошие деньги. Правда, там иногда и ночью пахать приходится...

— Давно? — спросил Дима, утрюмо взглянув на жену.

Нина подавленно молчала. Конец. Благодарение Богу, Нина не раскрыла всей правды ни матери, ни Косте, ни своей распрекрасной дочери-болтушке, все, больше Ирке веры нет ни на грош. Для семьи Нина придумала сказочку-легенду про большую солидную фирму и пресс-атташе.

— Так это тебя там приложили? — И Дима указал перстом на Нинин синяк. — Там, да?

— Господи, да как тебе в голову только... — растерянно начала Нина.

— Работать захотелось? — перебил ее Дима. — Эмансипэ драная! — заорал он. — Знаю я эти фирмы! Карьеры ей возжелалось! На пятом десятке! Ира, выйди. Жажда деятельности у нас прорезалась! На старости лет!

— Что ты несешь? — ахнула Нина. — Ира, выйди!

Подлая дочь не двигалась с места, словно приклеилась к стене. Грызя ноготь, она наблюдала за родительской разборкой с жадным любопытством.

— Что у нас, денег нет совсем? — орал Дима, остановившись посреди палаты и опираясь обеими руками на трость. Как стивенсоновский Сильвер-злодей — хромой и разъяренный. — Ты же сказала — квартиру продали, долг этим ларечникам отдали и на жизнь осталось. Меня выпустят через неделю, что я, денег в семью не добуду, что ли?

— Добудешь, добудешь. — Нина подошла к нему, обняла за плечи. — Успокойся. Тебе нельзя волноваться.

— Знаешь, откуда у тебя этот синяк? — прохрипел Дима. — Это к тебе там приставал кто-то, в этой долбаной фирме твоей.

Нина истерически рассмеялась. Ничего более нелепого, более немыслимого...

— ...А ты по рукам ему дала, а он тебе — по морде! Я знаю! Я зна-аю!..

...более смехотворного он не мог бы придумать. Бедный Дима, дурачок ты мой колченогий, ничего ты не знаешь про мою теперешнюю жизнь, и не нужно тебе знать...

Нина все еще смеялась, не в силах остановиться, и Ирка-мерзавка тоже захихикала, выдавив сквозь смех:

— Сказать, на кого вы похожи? Только не обижайтесь, ладно?

— Пара калек, — уже беззлобно буркнул Дима. — Отчим на костыле и мать с подбитым глазом. Сладкая парочка. Повезло тебе с предками, Ирэн.

— На лису Алису и кота Базилио!

— Во-во, — кивнул Дима. — Только Страны дураков не хватает.

— Почему ж не хватает? — возразила Нина, отсмеявшись. — Ты взгляни за окно.

Нина сидела в микроавтобусе.

Михалыч пересчитывал деньги — пятьсот долларов полтинниками. Нина возвращала долг частями, почти еженедельно. Михалыч и его хозяева пошли ей навстречу — святые люди, дай Бог здоровья, если бы вы знали, как я вас ненавижу, до конца дней моих, в самых страшных снах, в ночных кошмарах будет мне сниться этот душный тесный фургон, Михалыч в неизменном сером пиджаке в «рубчик», его корявые уз-

ловатые пальцы, ловко пересчитывающие деньги, заработанные такой кровью!

Михалыч и его хозяева пошли Нине навстречу — позволили ей платить в рассрочку. Деньги, вырученные на продаже черемушкинской Костиной халупы, Нина отдала сразу, еще в сентябре.

Нина отдавала и все свои таблоидные гонорары, когда — двести, когда — триста. Михалыч приезжал, считал деньги, складывал их в карманчик потертого старенького портфеля из кожзаменителя. Этот портфель, наверное, тоже будет сниться Нине до окончания дней — копеечный облезлый портфельчик, бездонная прорва, с неизменной жадностью заглатывающая Нинины деньги, Нинины силы, Нинино время, Нинину жизнь...

Михалыч щелкал замками, ставил какую-то закорючку в своей тайной ведомости, в толстой амбарной книге. Дурацкая нелепая проформа, филькина грамота, чушь собачья, вот завтра он, к примеру, возьмет и скажет Нине: «А где еще три штуки? Ты нам еще три должна!» Не дай бог, конечно. Но вдруг возьмет, скажет — и что тогда?

Ей уже казалось временами: она на вечном оброке у этого немногословного, корявенького, себе на уме мужичка. Никогда этому не будет конца. Крепостная. Как там Аладдин-то? Раб лампы? Тогда она, Нина, — раб портфеля. Ветхого портфеля из кожзаменителя, со сломанной ручкой, прикрученной к крышке проволокой, с оглушительно, алчно щелкающими железными замками.

Про себя она называла Михалыча Счетчик. Счетчик, считающий ее деньги. «Счетчик», на который Нину поставили. Ее, Диму, детей... Нина

посмотрела в окно — Вовка с лентой расхаживал по детской площадке, подошел к качелям, присел на краешек. Сегодня он был с Ниной, она забрала его у матери на сутки — соскучилась.

— Так — Михалыч щелкнул замками портфельчика. — Ну, ладно. Две с полтиной остаешься должна, Нина Николаевна, и давай-ка поторопись.

Нина отвернулась от окна и напряженно взглянула на Михалыча.

— Поторопись, — жестко повторил тот. — И так на целую осень все растянула.

— Я вам основную сумму почти сразу отдала, — возразила Нина. — Мы же договорились — оставшееся я возвращаю, как смогу.

— Договорились, — согласился Михалыч. — Только у хозяев моих обстоятельства поменялись, Нина Николаевна. И так скажи спасибо, что навстречу пошли, а теперь у них новое дело наклеывается, туда большие вложения нужны. Две недели тебе на две с полтиной. Добывай как хочешь. Когда мужик твой вернется? — спросил он без паузы, сразу.

— Зачем это вам? — У Нины сжалось сердце. — Я же вас просила... Прошу! Не трогайте его, он ни о чем не должен знать, — моляще произнесла она. — Я найду эти деньги. Две недели — значит, две недели. Я сама вам позвоню, сама.

— Ладно. — Счетчик зевнул. — Звони.

Нина выбралась из машины, перекинула сумку через плечо, зябко повела плечами, пытаясь унять нервную дрожь.

Микроавтобус тронулся с места, шурша шинами по листовенному насту. Нина зашагала к детской площадке, к качелям.

Сына там не было — ни у качелей, ни у турника.

Нина загнанно огляделась. «Мицубиси» Михалыча мелькнул у поворота и пропал. Где Вовка?!

Одурев от панического страха, Нина заметалась по двору. Гаражи, скамейки у подъезда, консьержка... «Вовка заходил? Нет?.. Вы не видели моего сына?.. А вы?..»

Задыхаясь от ужаса, она носилась по двору, кричала в голос, теперь-то было не стыдно кричать, теперь, когда исчез ее мальчик... Господи, а если эти, из микроавтобуса, увезли его невесть куда?

Что же делать? Нина не отдавала себе отчета — рука сама потянулась к сумке за мобильным. Спасение и помощь — это семь цифр, последние — семь-ноль, семь-один.

Петр приехал минут через десять. Нина ринулась к нему через двор:

— Петя! Вовки нет! Он был вот здесь, у качелей...

— Так. Друзья его. Адреса, — отрывисто сказал Петр, закрывая машину.

— Какие друзья, какие адреса, ему восемь всего, я его никуда не пускаю! — прорыдала Нина на бегу, вцепившись в руку своего оловянного Солдатова, уже рванувшего через двор, к дому.

— Куда он мог пойти? Магазины? Бульвар, метро, куда?

Он завернул за угол, выбежал на шумную дневную улицу, оглянулся на плачущую Нину.

— Нет, так не пойдет. Давай-ка поделим зону поиска на секторы, что ли... — Он говорил ей «ты». — Как он одет? Какой он? Опиши!

— Шапочка синяя вязаная, — всхлипнула Нина. — Курточка стеганая, восемь лет...

— Кому восемь лет? Чему? Курточке? — Петр озибался по сторонам. — Ни-

на! — крикнул он, сжав ее руку. — Это не твой? Вон, на крыше стоит!

Вовка стоял на широком козырьке крыши универсама, занимавшего первый этаж Нинино дома. Дом напоминал перевернутую букву «Т», и крыша магазина располагалась на уровне второго этажа. Вовка стоял там и плакал.

— Он, — кивнула Нина, слабея от радости, от облегчения.

Она поплелась за Петром, еле переставляя ноги. Послушно зашла в подъезд, поднялась на второй этаж. Петру пришлось вылезти в узкое окно, чтобы выйти на эту чертову крышу за Вовкой, который боялся сам идти, боялся крыши, боялся материнского гнева.

— Как ты сюда залез? Когда ты успел-то, Вова? Совести у тебя нет! — выкрикнула Нина, как только сын оказался рядом.

— Меня Коля привел из второго подъезда, а сам убежал, — дрожащими губами вымолвил Вовка.

И они оба заплакали.

Петр гремел решеткой, закрывая окно на замок ключом, взятым у консьержки. Наконец он повернулся к Нине. Широкие его плечи и обшлага куртки были испачканы известкой и пылью, на пальцах осталась ржавчина. Куртка была расстегнута, только теперь Нина заметила, что на нем фартук, обычный кухонный фартук в крупную клетку.

— А почему вы в фартуке? — Она вытерла слезы, свои и Вовкины.

— Потому что я не успел его снять. — Петр отряхнул плечи от известки. — Вы позвонили, когда я обед готовил. — Теперь он снова говорил ей «вы». — Я не стал его развязывать, помчался... Слышали бы вы свой голос в трубке!.. Ну, отрок,

давай знакомиться. — Петр присел перед Вовкой на корточки, протянул ему руку: — Петр.

— Простите меня, пожалуйста, — пробормотала Нина. — Я... Я совершенно обнаглела. Я не должна была просить вас... Но... Но я боялась, что его забрали эти люди... — Она проговорила, выдавая себя. Непростительно.

— Какие люди? — быстро спросил Петр. Пожал Вовкину ладошку, поднялся на ноги, взглянул на Нину пристально. — Что это за люди, Нина? Может быть, вы все же расскажете мне, наконец?

— Я не могу. — Она покачала головой. — Простите.

— Глупо, — сказал он чуть слышно. — Ну, дело ваше.

— Все хорошо, — прошептала Нина, прижимая к себе сына. — Все обойдется. Просто я очень занята сейчас. А Вовка — у мамы. Она старенькая, бестолковая... У меня все время душа не на месте.

— Хотите, я возьму парня к себе? — спросил вдруг Петр. — Хотите? У меня — двое, его сверстники, чуть старше. Где двое, там и третий. Пойдешь ко мне? — спросил он у Вовки и ободряюще ему улыбнулся. — Он в какую школу ходит?

— В нашу, — растерянно ответила Нина. — На Яузском...

— Ну, так и мои туда же. Я их каждый день отвожу-встречаю. Давайте так. На месяц, на два, на три... на сколько понадобится, я парня беру к себе. Пока у вас суета, пока вы решаете ваши проблемы... Они ведь не вечны, правда?

Нина молчала. Ну что тут скажешь? В ноги ему бухнуться? Руки целовать? Нина молчала, благодарно и растерянно глядя на Петра, подыскивая нужные слова и не находя их. Все слова — тщета, что ни скажешь — будет мало.

— Так не бывает, — сказала она наконец, прижимая к себе притихшего сына.

— Бывает. — Петр подмигнул Вовке, легонько сбил ему шапку назад, к макушке.

— Не бывает, чтобы чужой человек так помогал.

— Ну, так, значит, я уже не чужой, — весело произнес Петр. — Верно?

— Та-ак... Так, ладно, это понятно. — Игорь растер ладонью припухшие от вечного недосыпа глаза, усталые, с красноватыми белками. Игорь вкалывал здесь, как зверь, пахал за четверых, тащил свой таблоид в гору. Пахал сам, но и волам своим не давал спуска. — Это понятно. Что там еще?

— Ну, что там еще... — Александр Евгеньевич повернулся к бессонному оку своего компьютера. — Сейчас глянем, что там еще.

Волы волами, но уж коли о фауне, то вся агентурная сеть таблоида была поделена Игорем на два неравных подвида. Треть сборщиков информации трудились здесь, в стенах его офиса, считывая все, что могло заинтересовать шефа, с интернетовских сайтов, перелопачивая груды журнально-газетного свежака, выуживая оттуда самое острое, самое скандальное, еще лучше — потенциально скандальное.

«Вы, детки мои, должны уметь просчитывать ситуацию на десять шагов вперед, — учил Игорь свою паству. — Копайте там, где тротил уже подложен, но часовой механизм еще не заведен. Все просчитать, предусмотреть — и первыми успеть к месту взрыва. Вот, чада, первая заповедь уважающего себя папарацци».

Великовозрастные детки благоговейно внимали Игорю. Этих он называл пчелами. Они клу-

бились в его офисе, в его улье, собирали мед, то бишь извлекали, выцеживали из журнально-интернетовских соцветий драгоценный нектар свежайших сплетен, новейших слухов.

Метафора, конечно, хромала на обе ноги. Хорошо медок! Кому он — сладок, кому — зловоноен. Ну, пчелы и пчелы, улей так улей, кто ж будет спорить с Игорем, кто будет ему перечить? Игорь — хозяин, царь, бог, работодатель, благодетель, кормилец, всему голова.

— Вот еще, может быть, — пробормотал Александр Евгеньевич. Он был пчелой, хотя, впрочем, больше смахивал на шмеля: маленький, шустрый, в мохнатом пуловере, вечно растрепанный, с рыжеватой взлохмаченной гривкой, с пушистой щеточкой усов. — Вот еще что... Помнишь, был такой актер — Проскурин Олег? Свалил куда-то в леса года три назад, отпартизанил, вернулся теперь в Белокаменную. Ну, с тормозов сорвался мужик, скандал за скандалом, я второй месяц его отслеживаю. Обхамил перпетуум-мобиле нашу детективную, я об этом тиснул в третьем номере пару строк.

— Проскурин... — Игорь прищурился, припоминая. — Ага, помню.

— Замечательный был актер, — кивнула Нина. — Умный, точный. Из первой десятки.

— Последний его прикол, — добавил Александр Евгеньевич. — Швырял бутылкой в рекламный щит у Ярославского вокзала. Свезли нашего Мочалова в участок. Отсидел двое суток как миленький.

— Класс! — восхитился Игорь. — Максим Горький, пьеса «На дне». Там Актер, кстати, есть. Нина, есть? Ты у нас самая начитанная.

— Есть, — вздохнула Нина. — Бедный Проскурин! «Человек — это звучит горько»...

— Бери его, детка, — постановил хозяин улья. — Чует мое многоопытное сердце: следующая бутылка полетит в Спасские ворота. Пошли, нас еще Зина ждет.

Зина — это из стаи шакалей. Если славный, интеллигентный, с инязом, журфаком и двадцатилетним репортерским прошлым в анамнезе Александр Евгеньевич причислен был к элитному пчелиному рою, то крепкая, сухопарая тетка по имени Зина служила у Игоря внештатно. Внештатники составляли две трети Игорева полка. Хозяин величал их шакалами.

О-о, это были вдохновенные асы своего дела! Следопыты со стажем, по призванию. Виртуозы соглядатаи, гении конспирации, мастера слежки. Тетки за пятьдесят, дядечки на пенсии, неистребимый, слегка постаревший, но все еще не сдающийся, бодрый «совок», завсегдатаи очередей и лавочек у подъездов... Если в этом подъезде живет знаменитость, звезда, горящая ярко или погасшая, то соседка означенной «стар» уже завербована ушлым Игорем. Соседка, сосед, дальний родственник звезды, ее бывший или шапочный знакомый — все они работают на Игоря.

Ну, не все, разумеется.

Вы никогда не расскажете Игорю о знаменитом в прошлом поэте, который живет в вашем подъезде? Который ныне, прозябая в нищете и забвении, подворовывает иногда, крадет продукты в соседнем супермаркете? Так, самое необходимое, чтобы с голоду не помереть? Пакетик супа концентратного, банку шпрот...

А его ловят — и отпускают. Там интеллигентные девочки на контроле, они его помнят, в школе проходили, параграф тридцатый, «Советская любовная лирика шестидесятых—семидесятых

годов», потом, он же каждой подарил по тоненькому потрепанному сборнику, издательство «Советский писатель», шестьдесят седьмой год...

Девочки его ловят, сокрушенно ему выговаривают: «Сергей Сергеич, не воруйте вы, ради бога! Мы вам раз в месяц будем дарить набор продуктов из трех наименований, благотворительный, не воруйте, стыдно!» Он кивает, просит у них прощения, плачет, рассказывает им, как он с Симоновым выпивал в «Арагви», и Костя ему сказал после третьей рюмки: «Ты, Сережка, гений, чистое сливочное масло, а я середняк, на ремесле выезжаю. На ремесле и на карьере».

Он все это им впаривает про «Арагви», клянется, что больше ни-ни! Через неделю является, и снова — банку паштета в карман. Ну, он тронулся слегка. Шиза на почве тоски и безденежья.

Вы об этом расскажете Игорю?

Вы — нет.

А Зина расскажет.

— Ну, Зина, какие сводки с фронтов? — спросил Игорь, вместе с Ниной входя в свой кабинет. — Что наш пиит? Клептоманит?

— Позавчера опять его поймали, — охотно отвечала Зина, она сидела на стуле прямо, сложив на коленях натруженные жилистые руки мотальщицы четвертого разряда с сорокалетним стажем. Зина уже получила в кассе свои ежемесячные пятьдесят четыре доллара восемь центов, в переводе с англо-американского на русско-деревянный, поэтому Зина была весела и говорлива. — Опять словили его, стырил триста граммов сыра чеддер, я его не ем, он как глиняный, а этот жрет. Его поймали, он плакал, клялся, бухнулся на колени перед завсекцией, читал им наизусть поему свою в стихах. Вот, я даже

записала... — Зина извлекла из кармана старенькой цигейковой шубы блокнотик, полистала, прочла саркастически: — Поема... «Июльские холода». Вот. Девки даже прослезились. Но сыр отобрали. Отпустили старика с миром. Говорят: все, в последний самый раз. Еще раз чего у нас свистнешь — мы тоже свистим. Охране. Никакие «холода» тебе не помогут, ты нас достал, разговор будет короткий.

— Зина, ты гений, — подвел краткий итог хозяин таблоида. — Ты, Зина, гений русского сыска. Охранка по тебе плачет, абвер рыдает навзрыд. Вот тебе десять баксов за усердие.

Зина чинно встала со стула, не спеша, с достоинством взяла протянутую ей купюру, зорко, недоверчиво ее осмотрела.

— Ты еще на зуб ее попробуй, — посоветовал Игорь. — Детка, — он повернулся к Нине, — давай-ка сделай мне фотосессию нашего классика-клептомана. Работайте с Зиной парно. Зина, ты его паси. Как только старичок отправится делать бесплатный шопинг — звони Нине.

— Ты что, с ума сошел? — вырвалось у Нины.

Игорь нахмурился. Лицо его стало непроницаемо-жестким. Панибратство в присутствии работника низового звена?

— Зина, выйди, — процедил Игорь. — Свободна.

Зину словно ветром сдуло.

— Ты что себе позволяешь? — спросил Игорь, не глядя на Нину, рассматривая свои холеные руки, поправляя дорогую запонку на белоснежной манжете рубашки от Кевина Кляйна.

— Я этого делать не буду, — тихо сказала Нина.

— Что ты себе позволяешь, я спрашиваю?! — заорал Игорь, побагровев. — Я тебя вышвырну отсюда в два счета! Будешь амикошонствовать, «тыкать» мне в присутствии этого быдла — вылетишь из конторы через пару минут!

Нина молча смотрела в стену. Сердце стучало так, что, ей казалось, не только Игорю — в соседней комнате слышно, как бьется, колотится ее бедное сердце.

Графиня. Графиня Шереметева. Графиня изменившимся лицом бежит пруду. Бедная Лиза. Бедная Нина. Терпи! Надо все это выдержать, на тебе долг висит, эти люди торопят, Димка через три дня выписывается, теперь все будет сложнее...

— Да, ты умеешь вкалывать, — продолжал между тем Игорь, успокаиваясь. — Да, у тебя башка на плечах. Да, я тебя ценю. Выделяю. Но если ты еще хоть раз позволишь себе подобное...

— Я не позволю, — ответила Нина. — Но я отказываюсь от этого задания. Дай мне четыре других взамен, я сделаю. Я не буду, Игорь, охотиться за полубезумным нищим стариком, воруящим консервы. Я на его стихах выросла. Извини за пафос. Ты, полагаю, — тоже.

— А в чем проблема? — поинтересовался Игорь, снова закипая. — Что тебя здесь ломает? Дедушку жалко? Стыдно перед ним?!

— Стыдно, — подтвердила Нина.

— Черт тебя дери, да почему тебе-то стыдно, тебе, а не тем, кто его до этого скотства довел?! — опять заорал Игорь, привстав из-за стола. — Это им должно быть стыдно! Тем, кто ему выплачивает вспомоществование в полторы копейки, и то через раз! Вот ты сбациаешь репортажик, мы его — в номер, пусть тогда Литфонд какой-нибудь сраный, Союз писателей от стыда

сгорят. Да они-то как раз не сгорят, им на этого деда положить двадцать раз с прицепом... — Игорь выдохся. Опустился в свое кресло и устало добавил: — Это ты у нас совестливая. Нина, детка! Совестьливый папарацци — все равно что шлюха-девственница: нонсенс, абсурд. Ферштейн меня, Нина?

Они помолчали, успокаиваясь.

— Тебе что, деньги не нужны? — наконец спросил Игорь.

— Если бы они мне не были нужны, ты бы меня здесь не увидел, — глухо ответила Нина.

— Тогда иди и работай. Иди, отщелкай мне нашего Тютчева сирого-голодного... Ты знаешь, почему на нас такой спрос, почему с руками рвут, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить? — спросил он. — Я вовремя дело начал. Не прогадал. Я давно смастерил лодчонку-то, я давно все придумал, но я дождался паводка, разлива реки, самой мутной воды, самой грязной пены... А?! — Он хохотнул. — Чем я тебе не поэт? Чем не «Июльские холода»? Я, Нин, дождался этой мути и — бух туда свою плоскодонку, свой таблоид, плыви! Не потонешь... Знаешь почему?

Он выдержал паузу. Нина молча смотрела на него. Она знала. Сейл. Распродажа.

— Потому что, когда людям так хреново, как им хреново теперь, — сказал Игорь, — их греет сознание того, что кому-то еще паршивей. А если этот кто-то — бывший первач, что ж, это еще слаще. Знать, что вот он был на самом верху, зато теперь в дерьме полном. А я, Иван Иванович Иванов, простой расейский слесарь-сантехник, наверху никогда не бывал, зато и в дерьмо, Бог даст, не ухну. Я живу себе тихонько-ровненько, кризис не кризис, а вот я еду к себе домой на метро, ползу в Коньково, и на

единый у меня покамест бабки находятся, и на пиво, и на ветчинно-рубленную...

— Что ж ты, Игорь, так людей не любишь? — тихо спросила Нина.

— А зачем мне их любить? — удивился Игорь. — За что? Я их — знаю. А любить — увольте. Иди работай.

Младшие Солдатовы открыли ей дверь, помогли раздеться, возбужденно, радостно тарахтя, перебивая друг друга. Пока Нина снимала сапоги, торопливо причесывалась, она уже знала обо всем: в детской — куча перестановок, отец разобрал их двухъярусную кровать, теперь там три, Вовка выбрал ту, которая у окна, флагшток — на месте, Вовка, похоже, будет принят в оловянное войнство, а у Лешки сегодня — день рождения. Вы разве не знали?

— Я не знала, я без подарка, жалко как... Ну, вот здесь кое-что все-таки, в этом пакете, держите... Конфеты, фрукты...

Спасибо, отвечали младшие Солдатовы, ага, ага, нас, это на десерт, у нас десерт подкачал, папа делал зальцруб... зарбуль... Леха, погоди, я сам выговорю... зальцбург-ский пирог и пересыпал соды.

— А как вы тут с Вовкой? — с тайной опаской спросила Нина. — Вы с ним не церемоньтесь, ладно? Он у меня балованный, та еще штучка.

Солдатовы благовоспитанно возразили: да ну, чего там «балованный», нормальный, мы вчера гоняли в футбол с отцом, до упора, до половины десятого, так ваш забил два раза... Нет, вот сюда, мы — в гостиной, ага, темно, свечи, так мы давно уже сидим.

— Папа! Дед! Гости!

В гостиной — полумрак, горят свечи в старинном медном подсвечнике, стол выдвинут на середину комнаты.

Вовка сидел рядом с Петром. Нина не видела сына два дня, соскучилась, но приставать к нему с поцелуями и расспросами не решилась. Здесь свой устав, мужской жесткий уклад, солдатский, без бабьего сюсюканья, без телячьих нежностей.

Нину усадили за стол рядом со стариками — отцом Петра и еще одним — седым, горбоносым. Она улыбнулась сыну, кивнула хозяину дома.

Вовке здесь хорошо. Это Нина поняла сразу. Здесь вообще хорошо. Здесь — дом.

Старик Солдатов ухаживал за Ниной со старомодной, подчеркнутой, трогательной галантностью. Шампанское... Штрафная... Это — Петин салат, фирменный... Лобио... Он замечательно его делает, попробуйте... Его мать, моя жена покойная, царствие ей небесное, она ведь родом из Тбилиси... Нет, русская. Наполовину, впрочем, — тифлисская цыганка.

— Так вы цыган, — сказала Нина, смеясь, глядя на Петра через стол. — Вот он что. Да, это многое объясняет. А где серьга в ухе?

Петр взял со стола зажим для салфетки, попытался прихватить им мочку уха. Мальчишки тотчас принялись обезьянничать, Вовка им вторил.

— Ну, ромалэ! — Нина подняла свою рюмку. — За именинника. За вас. За ваш замечательный дом!

— Мы — цыгане оседлые, — усмехнулся Петр. — Цивилизованные. Кочевой образ жизни нам чужд.

— А как насчет конокрадства?

— Конокрадством не промышляем, — заверил ее Петр.

— А как насчет спеть? — не отставала Нина.

— Ему медведь на ухо наступил, — вставил старик

— Это какой? Которого он на цепи водить должен? — засмеялась Нина. Она несла веселую чушь, чуть-чуть захмелев после первого же бокала шампанского.

Вовка поглядывал на мать удивленно, он ее не видел такой очень давно.

Просто ей было здесь хорошо. Так хорошо, так легко, впервые за все эти долгие месяцы потрясений и бед, напряжения, тяжелой усталости, страха. Полумрак, свечи, белая скатерть... Ага, и здесь солдатик вышит, с ума сойти! Мальчишки смеются... Куда-то умчались — вернулись... Нарезают на дольки ананас.

И Вовке здесь хорошо. И Петр с ним не сюсюкает, никак его не выделяет, говорит с ним спокойно и ровно, как со своими.

Нина взглянула на Петра. Он сидел за столом, откинувшись назад, на спинку стула, скрестив руки на груди, слушая, как поют его отец и дядька, брат покойной матери Петра, седой горбоносый старик. Петр был на него похож больше, чем на отца. Старики пели по-грузински какую-то дивную, долгую, протяжную застольную песню, на два голоса, негромко, с чувством.

— Завидую, — признался Петр, взглянув на Нину. — Отец, русак совершеннейший, умеет, мама его научила, а я — нет. Медведь на ухо. Как поют, да?

Нина кивала молча. Как хорошо! Как ей хорошо, как ей спокойно. Отдохновение души — старомодная выпренная фраза. А вот

же — лучше не скажешь, точнее не придумаешь. Отдохновение.

Там, за этими окнами, — суетная, нервная, страшная, предательская, опасная жизнь. Они ее сюда не пускают. На порог не пускают. Как им это удается?

Здесь — покой и тепло, оплывают свечи в медных рожках подсвечника, поблескивают в полумраке старинные, высокие, узорного синего стекла рюмки, здесь еще не вынуты из именинного пирога свечки, заблаговременно задутые младшими Солдатовыми и Вовкой.

Здесь сидит, откинувшись на спинку стула, скрестив сильные руки на груди, хозяин дома. Глава. Петр Петрович Солдатов.

Петр Петрович смотрел на поющих, Нина — на него. Резкий горбоносый профиль. Шрам над бровью. Ворот белой сорочки растегнут, очень ему идет белый цвет, он темноволосяй и смуглый...

Нина, белый цвет идет всем, у тебя голова плывет от бокала шампанского, позор! Ничего не позор, просто я очень устала. Я очень устала, послезавтра возвращается Дима, его выпишут со штырем в ноге, потом штырь вынут, потом, не сразу... Он возвращается, его уже ждут два билета в Феодосию. Он отправится в Феодосию, а ты будешь деньги добывать, Михалыч звонил сегодня утром, вкрадчиво, с затаенной угрозой, спрашивал: «Когда? Тянешь, Нина, тянешь!»

Не нужно сейчас об этом вспоминать. Здесь так хорошо. Такое счастье, что Вовка — здесь! Петр обнял его, притянул к себе, сказал ему что-то на ухо. Отвел глаза — и столкнулся с Нининым взглядом.

Старики все еще пели. Теперь — «Тбилисо».

— Вон он бродит, — шепнула Нине Зина-наводчица. — Вон, видишь, где секция чайно-кофейная. Кофею ему захотелось, ворюге!

— Ладно, Зина, вы идите. — И Нина кивнула ей, преодолевая брезгливую неприязнь. — Дальше я сама.

— Не, я погляжу, мне интересно, — запротестовала Зина, повесив себе на локоть супермаркетовскую корзинку для продуктов. Вторую корзинку она вручила Нине. — На, это для камуфляжа. Правильно говорю — камуфляж?

— Правильно. — Нина приспустила «молнию» на куртке. Фотокамера висела у нее на груди. Не бог весть что — «Олимпик», выданный Нине в конторе взамен разбитого «Кэнона». — Вам, Зина, в разведшколе курс вести пора. Идите, вы мне только мешать будете.

Нина толкнула вертушку турникета, вошла в сады гастрономического Эдема и, пройдя с десятков шагов, остановилась у полок с чаем-кофе.

Старый поэт стоял к Нине спиной. Руки в карманах ветхого пальто, седая голова чуть откинута назад.

Был ранний вечер, часов шесть, народу — предостаточно. Благополучный мидл-класс огибал недвижно стоящего старика справа и слева, никому не было до него дела... Если присмотрелись бы повнимательней, может, и задержали бы взгляд. Знакомое лицо, смутно напоминающее — кого?.. Так, полузабытые воспоминания детства, гладкие блестящие страницы старых «Огоньков», параграфы учебника по литературе, вот этот надо вызубрить к понедельнику, поэт такой-то, система образов, лирический герой, особенности стиля...

Господи! Тьма веков. Кто здесь будет присматриваться к старческому морщинистому лицу, заросшему сивой щетиной? Здесь если и будут к чему-то приглядываться, то только к этикеткам на банках-бутылках: мейд ин — где?

Нина осторожно обогнула старого поэта, прошла немного вперед, остановилась у полки с крекерами, делая вид, что изучает их с страстием. Она перебирала коробки и пачки, искоса поглядывая на старика.

Он стоял на прежнем месте, прикрыв глаза и блаженно улыбаясь. Ноздри его крупного породистого носа раздувались. Он вдыхал... Ага, вот оно в чем дело — он вдыхал кофейные ароматы, драгоценные запахи умело поджаренных кофейных зерен, здесь был отменный кофе, лучших отборных сортов, — старик в этом знал толк, а как же?

Нина смотрела на него, забыв о своей камере, о том, зачем она здесь. Она не сводила глаз со старого поэта, бесцельно, автоматически перебирая упаковки с печеньем... Тоска и горечь переполняли ее, поднимаясь со дна души. Такая горечь наша жизнь, наша новая жизнь, наша сладкая жизнь! Наша развеселая жизнь — такая тоска!

Старик качнулся, сделал несколько неуверенных шагов вперед, потом — вправо, к полке. Не открывая глаз — он даже не видел, что берет, вор-неумеха, незадачливый злоумышленник, — ребром мелко трясущейся ладони придвинул к краю полки пакетик молотого кофе, сжал, смял его в руке, сунул в карман пальто.

Он действовал с закрытыми глазами. Как старый страус. Тот прячет голову от страха, этот — от стыда.

Старик запихнул пакетик в карман и тут же открыл глаза. И сразу увидел Нину. Все понял, замер, сжался.

Помедлив, Нина подошла к нему.

— Не говорите им, — быстро сказал старик — Я верну на место. Не скажете?

— Не скажу. Ни за что не скажу. Только вы за него заплатите. — Нина достала бумажник, вынула из него несколько сторублевок, протянула старику: — Заплатите за этот кофе. Пожалуйста!

— Спасибо. — Старик взял деньги, скомкал их в ладони. У него были совершенно безумные глаза. — Я очень люблю кофе. Я могу работать только после двух чашек. Вы знаете, кто я?

— Знаю. — Нина отвела его в сторону от провокационного кофейного изобилия, мягко приобняв за дрожащие слабые плечи, говоря вполголоса: — Я знаю, кто вы. Я вам больше скажу... Вы только прислушайтесь к тому, что я сейчас скажу, хорошо? Вы меня слышите?

Старик кивнул, комкая деньги в ладони.

— Я должна вас сфотографировать.

— Меня? — Он тут же приободрился и приосанился. — Для журнала?

— Для журнала. Но только это... другой журнал. Может быть, это жестоко... То, что я скажу вам сейчас... — Она путалась в словах, торопливо составляя фразы по деликатней, пообтекаемей. — Но я должна вам это сказать. Я хочу вас предупредить. Мне велено сфотографировать то, как вы берете здесь что-нибудь... без спроса.

— Я больше не буду. — Старик тотчас сник и попытался отдать Нине и деньги, и кофе. Понимал ли он что-нибудь? Безумные глаза, водянистые прозрачные зрачки, дрожащие руки. — Я не буду, не буду. Это стенгазета?

— Возьмите деньги, я вам их дарю, — бормотала Нина, рассовывая бумажки по карманам его старенького пальто. Какой стыд, какая мука, невыносимая мука, дай же мне силы, Господи, перетерпеть этот ужас! — Это ваши деньги. Пойдемте, я вас провожу. Не ходите сюда больше, слышите? У вас дети есть? Дети, внуки? Есть кто-нибудь?

— Так это для стенгазеты? — снова спросил старик, ткнув пальцем в Нинину фотокамеру.

— Для журнала. — Нина осторожно подтолкнула его в спину. — Пойдемте. Видите, к нам уже идут.

— Для журнала? — Старик отвел Нинины руки, расправил узкие плечи, повелительно командовал: — Снимайте! Для журнала. Прекрасно. Они что-нибудь напечатают? Я только что закончил новый цикл. Снимайте же! Ну?

К ним уже бежали продавщицы, дюжий молодец из охраны шел следом...

— Снимайте! — Старый безумец повысил голос.

Будь проклято это ремесло!

Снимай его, Нина. Снимай!

• • •

Как будто два человека — в одном, две женщины — в одной. Одна шепчет: «Уступи!» Да кому уступать-то, что уступать, уступают — чужому, а здесь родное все, родные руки, родные губы, родное дыхание у Нининой щеки. Да, истосковалась, соскучилась, я живой человек, живая, слабая, я слабею, я его очень люблю...

— А ирисы? А «целовались у окна»? — Это уже другая Нина беззвучно кричит той, первой, слабой, обожающей, смятой желанием, все простившей, не помнящей ничего, не желающей по-

мнить. — А эскорт-сервис, ты что, забыла? Ты будешь делать вид, будто ничего не знаешь? И что дальше? «Сервис»! Она ему будет завтрак сервировать, ты — ужин? Еще вопрос, кто достанется Диме на ланч.

И Нина заставила себя разомкнуть Димины руки, вывернувшись, выскользнула.

— Ты что? Куда?

Не пустил, удержал, снова обнял. Нет, не хочу, я помню все, я не беспамятная.

— Пусти! — зло сказала Нина.

Она вырвалась, поднялась с постели, набросила халат. Надо же что-то сейчас объяснить ему, найти повод, придумать спасительную отговорку. Про сервис с ирисами Нина решила молчать.

Нельзя про ирисы. Надо Диму щадить. Он слабый, у него железный штырь в ноге, он намучился, настрадался, належахся в этой костоправке. Нельзя, никаких семейных сцен, никаких разборок, удержишься от них, Нина, соври что-нибудь, это же нетрудно.

И она, прихватив пачку сигарет, села на спинку кресла, привалилась спиной к стене. Вот так, именно на спинку. Запахнула халат на груди.

— Что происходит? — мрачно поинтересовался Дима. — А? В чем дело? — Он сел на постели. — Ты что, куришь теперь?!

— Как видишь. — Нина выудила сигарету из пачки. — Брось мне зажигалку. Вон там, на столике, справа...

Ни черта он ей не бросил, только разглядывал неодобрительно. Сидит на спинке кресла, сигарета в зубах, постриглась как-то по-новому, коротко. Вырвалась, выскользнула из его рук змей. Чужая баба. И ведь сколько времени не были вместе! Змея.

— Но ты объясни, в чем дело. — Он все же бросил Нине зажигалку. — Калека, да? Поэтому? Инвалид приковылял с железкой в ноге? Поэтому?!

— Замолчи! — Нина подавилась дымом, закашлялась.

— Может, ты завела тут кого-нибудь в мое отсутствие?

— Перестань, я тебя прошу.

— В этой фирме своей? Пресс-атташе... Пресс-папье, мать твою! Может, ты там у какого-нибудь папье — под прессом, а?

— Прекрати! — крикнула Нина, гася недокурную сигарету в пепельнице. — Прекрати сейчас же!

— Завтра же иди увольняйся! — заорал Дима. — Завтра же! Если я узнаю, что ты там с кем-то...

— Дима, остановись, тебе потом стыдно будет!

— А эта Феодосия? — Нет, он уже не мог остановиться. — На хрена мне эта Феодосия?!

— Это лучший санаторий в стране по опорно-двигательным делам. Тебе сейчас необходима реабилитация.

— Какие она слова знает...

— Организм нуждается в восстановлении.

— Сплавить меня хочешь? Никуда не поеду, поняла?

— Дима, я уже купила путевки и билеты. Это дорого, Дима. Это не просто было устроить.

— Конечечно, ты из кожи вон лезла, старалась! Меня — в Феодосию, сама — под свой пресс?

— За-мол-чи!!!

— Зачем тогда две путевки, если ты сама не едешь? Кому вторая?

— Сына своего возмешь? Кто-то должен там за тобой присматривать, тебе пока нужна помощь...

— Это Никита, что ли, будет за мной присматривать? Спятила? Ребенка — в няньки? Одурела совсем?

— Тогда красотку свою возьми! С ирисами! Она тебе венки там будет плести из ирисов! Эскорт-сервис!

Вот так-то... Не такая уж я сильная, я совсем не железобетонная, сорвалась, не выдержала. Сейчас начнется склока. Где же начнется — она давным-давно началась, она в разгаре.

— А-а, вот он что, — с облегчением протянул Дима.

— Что «а»? Что «а»?! — Нина запустила в благоверного пачкой «Ротманса».

— Все, радость моя. — Он успел поймать пачку, смять в ладони. — Больше ты курить не будешь. Вот оно что! Наплели тебе медсестренки, курвы стрептоцидные, с три короба. Так бы сразу и сказала, дуреха... Иди сюда.

Как мгновенно он успокоился, тотчас, совершенно, даже некая печать довольства, победительного, насмешливого, снисходительного мужского: «А! Дура баба, приревновала!», отразилась на Диминой небритой роже, он теперь отращивал какую-то особую модную щетину, специальной машинкой ее прореживал.

— Иди ко мне. — Он развалился на смятой постели, похлопал ладонью по Нининой подушке. — Дура. Наслушалась этих сестер милосердия, убогих этих, они тебе наплетут! Кому ты веришь-то?

— Я ее видела, — сказала Нина, не двигаясь с места. — Я ее узнала. Девочка из твоего магазина. Красивая девочка. Дима, не вилай. Не выйдет.

Дима снова сел. Спустил на пол босые лапы. Первый раунд он проиграл, ничего, у него был второй в запасе.

— Не хочешь идти, — пробормотал он, с наигранным, чрезмерным усилием поднимаясь с постели. — Сама не хочешь... Не хочешь помочь калеке... Пособить инвалиду... Злая ты баба, сердца у тебя нет.

Он шел к Нининому креслу, хромая, морщась от боли, постанывая, хватаясь за спинки стульев. Все — игра, перебор, перехлест.

— Вот она-то меня жалеет. — Дима добрался наконец до Нининого кресла, до Нины. — Женька меня жалеет, любит меня... — Он сгреб Нину в охапку, стащил ее с кресла, бубня с веселой злостью: — А тебе меня не жалко. Никогда ты меня не любила.

— Пусти! — взмолилась Нина, упираясь ладонями в его грудь.

— Давай-давай, ударь меня, толкни, я упаду, вторую ходулю сломаю, — задыхаясь, шептал Дима. — Никогда ты меня не любила... Всегда я твою любовь, как милостыню, вымаливал...

— Дима, хватит! — Конечно, можно его оттолкнуть, отшвырнуть. Можно, да нельзя.

— Выклянчивал, выпрашивал... Униженно... Ты — графиня, я — холоп... Осточертевает, знаешь, выпрашивать. Вот у девочки из магазина ничего выпрашивать не нужно.

Можно его отшвырнуть, но ведь у него — нога, надо щадить его ногу. Нельзя причинить ему боль.

А тебя кто пощадит, Нина?

Ну, и куда ты идешь, зачем ты сейчас идешь к ним?

Поздний вечер, тебе нужно Диму собирать в дорогу, в солнечную Феодосию, тебе нужно к Игорю заехать, тебе нужно пленку забросить Кате в провочную... Нет, ты плетешься бульва-

ром, сбиваешься с шага на бег, спешишь, пересекаешь Покровку на красный свет, ты торопишься в Подсосенский.

Зачем ты туда идешь? Как — зачем? Повидаться с Вовкой. Вот, я купила кучу всякой всячины, набью им холодильник. Увижусь с сыном, я его не видела два дня. Соскучилась.

Не ври. Не ври себе, Нина. Ты идешь в Подсосенский, торопливоходишь в старый московский двор, отыскиваешь взглядом Петра и мальчишек — вот они, лепят снежную бабу... Ты идешь сюда не потому, что хочешь увидеть сына. Ты идешь к Петру. Ты хочешь увидеть его. Поговорить с ним, поплакаться, посетовать на невеселую свою жизнь, ничего при этом не открыв, ничего не выдав, не сказав ни слова правды. А что ты ему скажешь? Что тебя час назад любимый муж изнасиловал? Спит теперь, зарывшись мордой, уткнувшись декоративной своей щетиной в подушку.

Он уснул, ты слезы вытерла и, не задумываясь, набрала свой тайный номер, телефон службы спасения: семь-ноль, семь-один. Позвонила, а дед Солдатов тебе в ответ: «Ниночка, они во дворе, они бабу лепят...»

Баба. Снежная баба. Снег. Снег?

Господи, бело же все, белее белого, — двор, дорога, козырьки над подъездами, крыши машин. И он еще падает, он и сейчас опускается на землю, подними ладонь кверху, Нина! Бесшумные легкие частые хлопья, первый снег, ты и не заметила. Как же ты теперь живешь, если только сейчас увидела, что — снег...

Как же ты живешь? Мечешься загнанной, измученной, полумертвой от усталости белкой в колесе твоей нынешней жизни-нежити, ты

проглядела снег, зиму, декабрь. А какое сегодня число?

— Петя, здравствуйте, а какое сегодня число? — спросила она, подходя к Петру. — Вы можете себе представить, я только сейчас поняла, что снег выпал! — И Нина рассмеялась, сама себе удивляясь. — Живу, как в тумане, ужас! Давно он — снег?

— Третий день. — Петр выпрямился, обогнул снежный ком, который успел скатать, второй чуть поодаль лепили мальчишки. — Он выпал, потом растаял. Сегодня с утра опять зарядил. Здравствуйте, Нина.

— А число?

— Третье. — Петр подошел к ней, сбил снег с воротника куртки. Шапки на Петре не было, снег блестел на его темных, густых, тронутых ранней сединой волосах. Он снял перчатку, протянул Нине руку. — Здравствуйте еще раз.

— Папа, женщинам разве жмут? Им целуют! — крикнул младший, Андрюшка.

— Третье декабря... Значит, зима. — Нина осторожно высвободила пальцы из руки Петра.

— Значит, зима.

Нина взглянула на него — и тоже сняла свой беретик. Ей хотелось — дурацкое желание, незрелое, тебе, Нина, сорок лет, ты (как это Димка говорит?), Нина, «неновая», — ей хотелось, чтобы снег припорошил и ее волосы. Пусть падает и тает, бесшумный, легкий, даже, кажется, теплый.

— Мне кажется, что он теплый, — улыбнулась Нина.

Мальчишки пыхтели, возбужденно переговаривались, покрикивали друг на друга, скатывали снежный ком. Снега не хватало, весь первый тонкий слой уже был собран, сбит в кривоватое неуклюжее подобие шара.

— Хорошо, что вы пришли, — сказал Петр. — Мне минут через десять нужно уйти на работу. Я тут в магазине, на разгрузке... Через два дня на третий. Я уйду, вы с ними еще побудете. Хорошо?

— Так вы еще и на разгрузке? — спросила Нина. — Бедный вы, бедный. На пяти работах сразу.

— Я не бедный, — твердо возразил Петр.

— Вы не бедный, — поспешно согласилась Нина. Улыбнулась. — Вы — стойкий. Оловянный... Вы знаете... Мне это только сейчас пришло в голову... — Нина умолкла на миг, поразившись собственной внезапной догадке. — Вы ведь живете, как я жила совсем недавно, еще год назад. Нет, в самом деле! Я жила совершенно так же. Тянула свое бестолковое семейство...

— У меня — толковое.

— Значит, вам больше повезло. Впрочем, я свое бестолковое любила не меньше, чем вы — свое. Любила, жалела. Вкалывала за четверых. Так же, как вы. Правда, есть разница. Существенная.

— Какая же? — спросил Петр, оглянувшись на мальчишек.

Они уже составили один кособокий шар на другой, дело было за третьим.

— Какая? — Нина сбила снег со своих волос, натянула беретик на голову. — Я объясню. Вот вы тянете свою лямку, но у вас это как-то весело получается. Как будто вам и не тяжело вовсе. А я свою тянула уныло.

— И что с тех пор изменилось? — спросил Петр.

— Все, — ответила Нина. Помолчала, возразила самой себе. — И — ничего. Ни-че-го! Послушайте! Ведь ничего же не изменилось!

Нина прижала ладони к озябшим щекам. А ведь правда — она только сейчас это поняла, только сейчас об этом подумала, впервые за три этих безумных месяца, — ничего не изменилось!

Все вернулось на круги своя. Вот тебе, Принцесса на бобах, язвительная и горькая насмешка твоей судьбы: ты снова впряглась в свою лямку, ты снова на бобах, снова вкалываешь за четверых. За пятерых. За пятерых, и вся разница.

Теперь ты тащишь на своем горбу еще и Диму.

Ноша твоя стала еще неподъемней. Мать, Костя, дети... Ну, и Дима туда же, в этот короб, который ты волочешь безропотно на своих стальных плечах, ваша светлость, ваше сиятельство, графиня Шереметева.

Ноша стала еще неподъемней.

Ничего. Своя ноша не тянет.

— Просто я вышла замуж во второй раз, — сказала Нина. — За человека, который казался мне очень сильным. Способным меня защитить. Меня и моих детей.

— И что же? — спросил Петр с какой-то почти бесцеремонной, так несвойственной ему нетерпеливой настойчивостью. — Он оказался слабым?

Нине не хотелось отвечать. Но врать и выкручиваться не хотелось еще больше.

— Да, — кивнула она. — Да. Так вышло. Так повернулась жизнь. Я надеялась, что он меня защитит. А получилось так, что я его защищаю.

— Может быть, в этом есть доля вашей вины? — осторожно спросил Петр.

— Моей вины? — изумилась Нина. — Ну-ка, ну-ка... Да, я совсем забыла, вы у нас знаток женской психологии, вы мне сейчас все объясните.

— Это только предположение, — усмехнулся Петр. — Я ничего не берусь утверждать...

— Папа! — позвал его Лешка. — Пап, что нам делать-то? У нас на голову снега не набирается.

Мальчишки стояли возле своей безголовой снежной бабы, веселые, разгоряченные, мокрые, в ушанках, съехавших набок. Надо завтра Вовке теплую шапку принести и варежки.

— Я ничего не утверждаю, — повторил Петр. — Но, может, вся штука в том, что вы просто не разрешаете себе быть слабой. Себе — быть слабой, своим мужчинам, и первому, и второму, — быть сильными. Вы не позволяете им проявить свою волю. Принять решение. Они просто не успевают это сделать — вы сразу берете все на себя. Весь груз ответственности взваливаете на свои плечи. Такая исконная русская бабья привычка: сначала спеленать мужика по рукам и ногам своей неусыпной заботой, а потом сетовать, что вот, дескать, он у нее и пальцем шевельнуть не хочет. Я вас не обидел?

— Не-ет, — протянула Нина. — Нет.

— Папа! — нетерпеливо окликнули Петра сыновья. — Что нам делать с головой? Снега не хватает.

— Значит, пусть стоит безголовая. — Петр пожал плечами. Двинулся к ним, увлекая Нину за собой, дотронувшись до ее плеча и тут же убрав руку. — Снежная баба времен кризиса. Обычное дело. Кризисная баба. Совсем голову потеряла.

— Это вы про меня? Про меня, про меня... — И Нина вытащила из пакета, набитого презентами для Солдатовых, кочан цветной капусты. — Кризисная баба, крыша съехала, ясное дело... Нет, голова у нее все-таки будет. Вовка, помогай!

И Нина поставила капустный кочан на снежные бабы плечи, вдавила его замерзшей рукой, вмяла в снег поплотнее.

В половине одиннадцатого утра позвонил старый приятель, тот самый, отстегнувший Олегу десять тысяч баксов нынешним летом. В бессрочный долг, на школу, на святое дело — бери, строй, учи, пестуй, рад за тебя, Олежек! Встряхнешься — уже хорошо, рискни, попробуй, вдруг выгорит?

Да, но все это приятель говорил Олегу в июне.

А теперь декабрь.

Олег стоял у окна, сжимал в затекшей от напряжения руке телефонную трубку, молча слушал.

Приятель оправдывался, не позволяя вставить ни слова. Как будто это он должен был Олегу деньги, а не Олег — ему. Редкостный человек. Заповедный экземпляр, ей-богу.

Все рухнуло, Олежка, синим пламенем горим, частил приятель, изнемогая от неловкости, сконфуженно пыхтя и покашливая. Фирма моя на ладан дышит, все, Олег, сворачиваю бизнес, вообще пакую вещи, ты знаешь, у меня их немного, стиль жизни — походный, по морям, по волнам, нынче здесь, завтра — там, короче, Олег, дорогой, я из Совдепии сваливаю на хрен.

— Далеко собрался? — глухо спросил Олег.

Давно уже ясно было, ясно как белый день, чего резать хвост по кускам, скажи сразу, решишь, выпали: Олег, отдай деньги! Прикажи, потребуй, кто ж тебя осудит? Твое право.

— Далеко, в Анкоридж, — вздохнул приятель. — К сестре. Она мне тут рисует радуж-

ные картины моего грядущего процветания на Аляске.

— Я понял, — выдавил Олег. — Ты отваливаешь. Я должен отдать тебе деньги. Я отдам.

Приятель снова принялся оправдываться, жаловаться на жизнь. Что делать, Олег? Я вынужден... Ты б знал, как мне сейчас тошно! У тебя же нет ни гроша, где ты возьмешь-то?

— Ну, это уж моя забота, — отрезал Олег. — Я тебе отзвоню на днях.

Он положил трубку.

Нужно отдать долг. Денег у него нет. Денег нет вообще. Занять не у кого. Все, что удалось выудить из распечатанной «Альфа»-банка, уже у приятеля. Теперь ему нужна вся сумма, он отбывает на Аляску. Будет там водку пить с алеутами, первый тост — за алеутов, второй — за Вторую Катю: прозорливая была государыня, вовремя отдала Аляску-то, спасла аборигенов.

А то сидели бы сейчас алеуты в загибающемся Совке, мерзли бы в выстуженных домах, как камчадалы-сахалинцы. Жгли бы лучину, стучали зубами от холода, с надеждой прикладывали бы ладони к ледяным батареям, проклиная главного электрификатора Всея Руси, рыжего, конопатого, лопата — за пазухой, а дедушка все еще жив...

Денег нет. Денег нет и не будет. Приятель больше не может ждать, он отбывает на Аляску. «Олег, я готов литься отсюда хоть на Шпицберген, хоть на Землю Франца-Иосифа! Всюду жизнь, Олег. Помнишь, картинка такая была? «Всюду — жизнь». Всюду жизнь, даже на Земле Франца! Только у нас тут, Олежка, жизни нет. Одна загибаловка».

Жизни нет... Жизни нет. Олег отошел от окна. Он бродил по пустому дому, это был боль-

шой загородный дом, его хозяин, старый знакомец, пустил сюда Олега на постой неделю назад. Сказал: «Посторожишь, я как раз стража своего рассчитал. Повадился, гад, баб сюда водить. Живи, только не буянь, не спали мне дом, ладно?»

Это он намекал на последнюю Олегову выходку. Он Олега и из ментовки вызволил, кстати. Приехал, «подмазал» служивых, упротил замять Олегов фортель. Отстегнул околоточным по сто баксов на погоны. Щедрый, широкий, денег — куры не клюют, за пять лет сделал сокрушительную карьеру. Надоело в массовке киснуть, плюнул, пошел в челночники. Через пять лет — директор оптового рынка. Жизнь удалась.

А твоя, Олежек? Твоя тоже удалась.

Только она давно закончилась.

Закончилась. Точно. Давно. А ты не понял. Олега прошиб холодный пот, он взмок в мгновение ока. Медленно опустился в кресло. Такая простая мысль, простая и страшная догадка: твоя жизнь, счастливая, яркая, успешная жизнь уже отшумела. Закончилась.

Она закончилась, а ты еще живешь по инерции. Ты еще бегаешь по двору, нарезаешь судорожные, сужающиеся круги, как тот петух с отрубленной башкой, ты же вспоминал о нем недавно, о петухе, которому хозяин отсек башку, а он еще мечется по двору, заливая траву горячей кровью...

Да, но тебе-то Хозяин покамест голову с плеч не снес! Если жизнь твоя кончилась, если все уже в прошлом, все — слава, успех, лучшие роли, любимые женщины, если дар твой иссяк, а ведь он наверняка иссяк, истаял, скукожился. Позови тебя завтра хороший режиссер на серьезную роль — ты ее, Олег, завалишь. Ты уже

ничего не сыграешь, Олег, мозг твой высох, душа измучена, ты обессилен, ты озлоблен, так вот... С чего ты начал? Мысли путаются, плохи твои дела... А! Вот оно. Если жизнь твоя кончилась, почему же Он ее тогда не забирает?

Он ведь всегда забирает вовремя. Может быть, Он хочет...

Олег поднялся с усилием. Пересек комнату, распахнул резные дверцы старинного буфета, дверцы открылись со скрипом — антикварная штуковина: разбогатевший челночник отхватил ее на каком-то мебельном аукционе за немислимые деньги. Олег налил себе водки. Опрокинул ее залпом.

Он всегда забирает вовремя.

Может быть, Он хочет, чтобы ты это сделал сам?

Не кощунствуй! Нет, в самом деле. Может быть, он предоставляет тебе выбор: хочешь — живи еще хоть сто лет, влачи жалкое, тусклое, скудное существование, подпитывай себя памятью о былом успехе, перебирай воспоминания, смакуй их, упивайся ими, пересматривай свои старые фильмы, пясь на себя, молодого, красивого, яркого, сильного, смотри на себя прежнего, большей пытки не выдумать! Смотри, вспоминай, копи в себе желчь и горечь. Так живут многие из тех, кого ты знаешь.

Хочешь так жить?

Нет. Не хочу. Нет.

Олег снова налил себе водки, наполнил стопку до краев. Так — не хочу.

Тогда решайся. Выбор невелик. Или — или.

В окно осторожно постучали.

Вздрагнув от неожиданности, Олег резко оглянулся и расплескал водку.

Жена стояла за окном, только голову и было видно. Она улыбалась ему, прижав лицо к стеклу, сплющив нос и щеку. Кой дьявол ее принес? Как она его разыскала-то? Впрочем, пора бы перестать этому удивляться, где она его только не разыскивала...

Олег молча открыл ей дверь. Он действовал механически. То, о чем он всерьез раздумывал еще пару минут назад, не отпускало его, не собиралось отпустить.

— Ты как меня нашла? — спросил он, миновав веранду и войдя в комнату.

— Мне Славка утром позвонил. — Лена шла следом за Олегом, с интересом озираясь по сторонам. — Ну, домишко-то так себе, больше звону было. Домишко — на троечку.

Славкой звали хозяина дома, челнока-удачника.

Олег подошел к буфету, спрятал водку в его драгоценном чреве, прикрыл дверцы.

— Пьешь? — Лена поцеловала Олега в затылок, прижалась щекой к его плечу.

Как она была некстати! Она всегда была некстати, не к месту, не ко времени, с самого начала, едва ли не с первого дня их общей жизни. Но сегодня она, похоже, превзошла самое себя. Сегодня, сейчас, когда Олегу необходимо было обдумать все и принять решение, сегодня ее приход был и вовсе невыносимой мукой.

— Мне Славка обо всем рассказал. — Она все еще стояла, прижавшись к Олегу, обняв его, не отпуская. — Ему вчера позвонил твой кредитор... Этот... Андрей, да?.. Советовался, как ему поступить. Я все знаю, Олелечка. Он хочет, чтобы ты вернул ему деньги.

Господи, сделай так, чтобы она исчезла! Ну что тебе стоит, Господи?.. Олег сбросил со сво-

их плеч ее руки, отошел от буфета и опустился в кресло.

— Ужас полный, — сказала жена. — Но мы что-нибудь придумаем. Я тебе штуку баксов привезла. Ты знаешь, я теперь хорошо зарабатываю.

Олег взглянул на нее наконец, рассмотрел толком. Новая дорогая шуба до пят. Откуда шуба-то? Любовника нового завела? Этого, в шлепанцах, растрясла на меха? Широ-ок шлепанец... Деньги? Она достанет ему, Олегу, деньги?! Зачем они ему?

Он вдруг понял, что деньги ему больше не нужны. Деньги Олега больше не интересуют вовсе. Он еще ничего не решил, но он уже понял, отчетливо, внятно, осмысленно, твердо понял: Деньги. Ему. Больше. Не нужны. Свободен!

Он еще ничего не решил, но он уже свободен от бесконечного, унижительного, выматывающего душу поиска этих злосчастных блекло-зеленых купюр. Больше они над Олегом не властны. Катитесь к такой-то матери, прочь, чур меня, все вы, Франклины, Джонсоны, Джексоны, Гамильтоны, Гранты!

Баста. Мне больше не будут являться в ночных кошмарах ваши бумажные бледно-салатовые, надменные, постные, брызгливые рыла. Вон! Плевать я на вас хотел. Мне вас не надобно. Отпустите меня. Я сам уйду. Я свободен.

— Олечек, ты где? Олелечка? — Жена опасно подошла к его креслу. Опустилась на ковер, уж эти мне актерские жесты, сейчас слезу пустит, начнет руки заламывать, стенать, Ермолова из Торжка, сгинь, сгинь, отвали, сделай одолжение!

— Олелечка, ты не расстраивайся. — Лена обняла руками его колени, тревожно всма-

триваясь в лицо. — Найдем. Я теперь буду хорошо зарабатывать. Пруха, ты будешь смеяться! Меня еще в два «мыла» зовут, сейчас столько «мыла» запускается... Два сериала детективных, в одном все пока на уровне проб, а в другом уже утвердили. Я буду хозяйка притона с лесбийским уклоном. Ты представляешь, ужас какой?

И она через силу рассмеялась, пытаясь хоть как-то его растормошить. Сняла с головы шапку — почти голый череп, почти «под ноль» ее побрили, бедную.

— Так нужно по роли, — смеялась жена, уткнувшись головой в его колени. — Она будет с голым черепом, одноглазая, с черной повязкой, такая флибустьерша розовая. Мне придется, Олечка, трубку курить, это мне-то! Я от одного запаха курева в обморок падаю. Но — надо, надо, деньги, деньги, работа, Олег. — Жена резко подняла голову. В глазах ее стояли слезы. Да, она всегда легко принималась реветь, легко, на счет «раз». — И тебя везде пытаюсь пристроить, но тебя не берут, понимаешь? — Слезы уже текли по ее лицу, настоящие, выстраданные, злые слезы. — Ты не нужен! Потому что ты — настоящий. Им сейчас настоящие не нужны, нужны бездарь вроде меня, понимаешь?

— Успокойся. — Олег провел ладонью по ее бедной изувеченной голове, наклонился к ней, коснулся губами темени. — Успокойся, не плачь, Ленка.

— Как они тебя, настоящего, гениального, втиснут в свою блевотину про лесбийский притон? — продолжала жена сквозь слезы. — Такое время, Олег. Все ненастоящее. Все — лажа, все продается... Ты им сейчас не нужен. Не просто не нужен — ты для них даже опасен! Ты пой-

ми, если тебя рядом с дешевкой поставить — сразу видно будет, где — настоящее, где — блеф.

Олег вытер жене слезы, поднял с ковра шапку и осторожно натянул ей на голову.

— Поезжай домой, Лена, — попросил он мягко. — Ты на чем приехала? Я тебя провожу.

— Мы найдем эти деньги. — Жена поднялась с ковра. Олег тоже встал. — Найдем. Мы что-нибудь придумаем. Мне звонила приятельница, у нее связи в издательском мире... Она говорит: пусть Олег книжку напишет про всех своих баб, у него же тьма была баб, и все — известные. Теперь это модно, теперь все пишут про жен, любовниц, любовников. Можно хорошие деньги срубить. Тебе пришлют человечка, ты ему расскажешь — когда, с кем, как, сколько раз... — Она снова беззвучно заплакала, закрыла лицо руками, бормоча: — Ничего, я стерплю, можешь меня не стесняться. Напишешь про свой первый секс-опыт... Про все свои оргазмы с народными и заслуженными... Я стерплю! Пиши! С руками оторвут, вот увидишь. Все пишут, чем ты хуже...

— Я — лучше, — усмехнулся Олег. Он обнял жену, прижал к себе. Все его раздражение против нее давным-давно растворилось, ушло бесследно. Запоздалая нежность и жалость к ней переполняли его. Жалость, раскаяние, смятение. — Я лучше, Ленка. Не нужно мне денег, поезжай домой. Я тебе позвоню.

— Олег, возвращайся! — Жена отстранилась, вытерла слезы. Повторила с истовой мольбой: — Возвращайся домой, хватит уже по чужим углам болтаться.

— Лена, мы потом поговорим. — Он повел ее к веранде, к выходу. — Я страшно устал, я хочу лечь сейчас. Прости, Лена.

Олег открыл дверь — дохнуло настоящей зимой, морозцем, снегом, влажной хвоей. День был солнечный, безветренный, дивный.

Лена спустилась с крыльца, повернулась к Олегу. Глаза ее блестели отчаянно, только глаза и были видны из-под огромной, роскошной, «басмаческой» шапки — последний писк, хит сезона.

За шапку и шубу она заплатила обритой наголо башкой, нелепой ролью в каком-то телепозорище, унижением, еще не высохшими слезами. За все нужно платить. Старая истина. За все. Да, мы на распродаже. Здесь — дешевле. Сейл.

Это только кажется, что дешевле. Нам все это боком выйдет потом.

— Возвращайся. — Лена смотрела на Олега, не двигаясь с места. — Я же все понимаю. Ты меня всегда за дуру держал, а я дура, дура, да умная, я понимаю. Ты меня никогда не любил, тебе со мной скучно, тошно...

— Перестань, — перебил ее Олег. Он стоял на крыльце, зябко поеживаясь.

За изгородью виднелась машина. Так это Ленка на ней приехала? Кто ее привез? Олег близоручко прищурился: какой-то мужик за рулем, еще кто-то — на заднем сиденье.

— Я все понимаю, — упрямо повторила жена. — Что делать... Какая есть, такая есть, другой не будет, мы уже старые с тобой, хватит метаться. Я тебя очень люблю, слышишь?

— Я тебя тоже, — устало откликнулся Олег, снова мечтая о том, чтобы жена поскорее уехала, не мешала ему сосредоточиться на самом важном, на самом главном. — Поезжай. Я позвоню.

Лена помолчала, потом направилась к воротам, метя лапами шубы по еловому насту, присыпанному снегу.

Олег завернул за угол. Адрес он помнил: улица Сквозная, дом восемь.

...Делаешь вид, что живой. Суетишься, судорожно, бессмысленно, бестолково цепляешься то за то, то за это, занимаешь деньги под сущий бред, под маниловские замки, потом пытаешься эти деньги отдать, тебя унижают — ты терпишь, топчут — ты молчишь... Зачем?!

Олег подошел к калитке.

Женщина лет сорока стояла посреди двора, раскладывая на снегу яркие пестрые домо-тканые коврики. Странно, Олегу все сегодня казалось преувеличенно, чрезмерно, до рези в глазах ярким.

Просто он три дня не выходил на улицу.

Просто сегодня такое солнце. Солнечный зимний полдень.

Женщина заметила Олега и подошла к калитке.

— Здравствуйте, — сказал он. — Николай дома?

— Спит, — односложно ответила женщина.

— Я Олег. Я теперь сторожу тот дом, который ваш муж охранял, — пояснил он, щурясь от солнца. — Видите ли, какое дело... Там ночами-то страшновато. Дверь на соплях. А позариться чужому человеку есть на что, сами знаете... У хозяина был обрез. Николай, когда уходил, взял его с собой. Вроде как на хранение.

— Я его сейчас разбужу. — Женщина открыла калитку. — Проходите.

— Сейчас пришло тебе машинку, — деловито говорил Игорь. — Давай подъезжай, Валерик тебя подкинет, там сегодня интеллектуальный сходняк. Мать их за ногу. Прокисшие сливки нашей арт-элиты.

— А где это? — спросила Нина.

— Хрен его ведает, в каком-то фонде... Развелось этих фондов! Наворуют где ни попадя, тут же на ворота вывеску — «Фонд». Пахан у них — почетный председатель. Сидят под вывеской, делят награбленное. В общем, поезжай. Адрес — у Валерика.

— Я не поняла, там кто гуляет — Фонд? — Нина уже одевалась, зажав трубку между плечом и щекой.

— Элита! Давай пощелкай мне этих монстров. У них там посиделки в новом стиле, знаешь, как теперь принято. Стебаются. Читают последний том «Мертвых душ» под балалайку.

— Он же его сжег! — удивилась Нина.

— Я ж тебе объясняю, у них там — стеб, хэппининг, — хохотнул Игорь в трубку. — Они как бы нашли горстку пепла, все, что оставалось от Николай Васильевича с его «Душами», будут развевать пепел, вызывать духов. Наш главный дедушка-джазмен вжарит им там на балалайке, первая флейта Европы сбавает на домре, потом все наклюкаются на халыву, им немного надо-то, по рюмке шампузея — и с копыт. Потом им бабушка советской поэзии прочтет свои новые вирши, они зарыдают, попадают мордами в винегрет, а ты, моя птичка, работай.

— Я поняла, — откинулась Нина. — Как можно больше винегрета на мордах.

— Вот именно. Бабушку советской поэзии можешь пощадить, я к ней питаю преступную слабость. Был пионером — выстригал ее портреты из журнала «Работница», клеил над полатами, грезил наяву... Давай, детка, скачи на этот светский шабаш, не все ж нам с тобой за несчастной попсой охотиться, пора дать залп по истеблишменту. Предупредительный. Ферштейн?

Минут через сорок Нина уже сидела на заднем сиденье редакционной машины, дремала, прикрыв глаза. Делала вид, что внимает нескончаемому монологу шофера Валеры, который взволнованно и гневно повествовал о своей нелегкой мужской доле, о том, что бабы его совершенно распоясались, все сидят у Валеры на шее, ножки свесили и душат его, Валеру, в десять рук.

— Прямо фильм ужасов какой-то, — сочувственно откликнулась Нина, думая о своем.

Дима вчера отбыл в Феодосию со скандалом, с грохотом, с битьем посуды, как будто не было вовсе его больничных прозрений, признаний, клятвенных, прочувствованных заверений, что теперь, дескать, Нина, мы будем жить по-новому, по-человечески, душа в душу, до гробовой доски. Будем с тобой жить долго и счастливо, двести пятьдесят лет, как две влюбленные черепахи, помрем в один день, нас опустят в одну могилу, летят самолеты — салют! Идут пионеры — аналогично. Говорил? Говорил. Клялся? Клялся.

И что же? Он снова пребывал теперь в состоянии взнервленного ожесточения, он обзвонил всех своих бывших партнеров, друзей-приятелей, везде получил от ворот поворот, везде его ахнули мордой об стол. Денег — пшик, перспективы туманны, нога ноет, болит...

«Вот тебя там и подлечат, в Феодосии, в опорно-двигательном санато...» — «Ну, если ты, Нинон, считаешь, что это необходимо, — недобро, с мерзкой ухмылкой, — если тебе кажется, что у меня проблемы с опорным двигателем — что ж, я готов...» — «Дима! Ненавижу твои сальности!» — «Да ты вообще меня ненавидишь! Складывается такое впечатление, знаешь ли...»

Уехал. Ирка вызвалась его сопровождать. Рада-радехонька, еще бы! Юг, море, наплевать, что межсезонье, отчима она обожает.

Нина порывалась проводить их на вокзал — Дима не пустил. Даже не поцеловал ее на прощание. «За дверь меня выставляешь, Нинок? Надоел тебе колченогий?»

Выставляю. Да, выставляю, Дима. Если бы ты знал зачем! Затем, чтобы не спрашивал, куда я уйду по ночам, почему возвращаюсь под утро.

Я зарабатываю деньги, Дима. Еще две тысячи — и мы с тобой свободны. А пока я на барщине. На оброке. Я — раб портфеля. Михалыч сегодня два раза звонил. Я на барщине. Тебе об этом знать не след. Я на барщине, ты — в Федосии. Такой вот расклад. Так я решила.

— Приехали, — объявил Валера.

Нина перебросила ремень сумки через плечо, открыла заднюю дверцу, выбралась на волю.

Зимние сумерки, кривоватая, узкая старомосковская улочка. Чугунные завитки на створках полуоткрытых ворот. За ними — снежная целина такой белизны, что кажется — от нее исходит свечение. Еще дальше, в глубине двора, — старинный особняк, свет в сводчатых окнах... Красиво.

— Я на полчасика отвалю, ладно? Не возражаешь? — Валера высунул голову из своей колымаги. — Смотаюсь на «Птичку», здесь рядом. Корма куплю для своих попугаев, там лавочка работает допоздна.

— Давай, — милостиво разрешила Нина.

Машины подъезжали и подъезжали. Хлопали дверцы, снег сочно хрустел под тяжелыми каблуками столпов русской словесности, степенно шествующих к узорчатым воротам. Столпы входили в ворота, их пожилые музы плыли рядом, пря-

тали тройные подбородки в меховые воротники, зорко поглядывали по сторонам, стерегли благоверных от возможных посягательств юных дев свободных профессий, неопределенных занятий.

Дев здесь было в избытке. Нина на минуту затесалась в их стайку, прибавила шагу, взглянула на ярко освещенные окна особняка. Что-то неуловимо, тревожно знакомое почудилось ей в силуэте здания, в контурах сводчатых окон.

— Нина! — окликнул ее Валера. — Вернись на секунду!

Нина оглянулась назад и быстро вернулась к воротам, возле которых топтался шофер.

Петр! Вон он стоит у своей машины, втиснул ее между двумя иномарками.

— Нинок, а если я не на полчаса, а на часок... — начал шофер, заискивающе поглаживая Нину по плечу.

Нина молча отвела его руку, не спуская с Петра Петровича Солдатова вопросительного, изумленного взгляда.

Петр смотрел на нее. Потом пристыженно отвел глаза в сторону. Если он и пытался сейчас придумать отговорку, выкрутиться — его усилия были обречены на заведомую неудачу. По всему видно: Петра застали врасплох, поймали с поличным.

— Петр, в чем дело? — Нина подошла к нему вплотную. — Вы как здесь оказались?

У нее за спиной тут же вырос Валера, настроенный по-боевому, готовый врезать чужаку по первому Нининому слову.

Петр пробурчал что-то нечленораздельное, вконец смешавшись.

— Вы что... Нет, ну надо же! — Нина не спускала с него изумленных глаз. — Петр, вы что, шпионите за мной?

— Нина, выбирайте выражения! — Теперь Петр побледнел и нахмурился.

— Нет, но как вы здесь оказались? Вы что, от самого моего дома за нами ехали?

— Допустим, — буркнул Петр.

— Зачем?

— Нинок, это кто такой-то? — угрюмо поинтересовался Валера.

— Нет, вы ответьте — зачем? — допытывалась Нина. — Вы что, следите за мной, что ли? Но я же...

Она оглянулась на особняк и замолчала, не договорив.

Теперь она его узнала. Просто они поставили другую решетку. Новые хозяева. Некий Фонд. Как же она сразу-то...

Как же она сразу-то его не узнала! Двухэтажный старинный особняк в глубине двора, за ви-той чугунной оградой. Дом ее прапрадеда. Особняк графа Шереметева.

— Нинок, я не понял — это кто такой-то? — бубнил Валера у нее над ухом. — Я не врубился... Разобраться с ним?

— Не надо, — сказала Нина.

Она медленно двинулась к дому, миновала ворота... Публика все прибывала и прибывала. Справа и слева от Нины звенел дамский щебет, кто-то кого-то окликал по-немецки, кто-то ба-совито похохатывал...

Нина шла к своему дому. Видел бы ее сейчас Игорь! Нине полагалось, окинув цепким запоминающим взором звездный народец, наметить будущих жертв, определить приоритетные фигуры, а не глазеть на особняк. Это, по меньшей мере, непрофессионально.

— Это мой дом, — произнесла Нина, не оглядываясь. Она знала, что Петр идет за ней следом.

— То есть?

Не ответив, Нина взбежала по ступеням крыльца.

— Ваш пригласительный? — Один из трех дюжих молодцев, стерегущих вход, вопросительно смотрел на Нину.

— У меня аккредитация.

Народ валил валом. «Випы» и «випши», небрежно помахивая пригласительными, врывались в распахнутые двери.

— Вот, пожалуйста. — Нина сунула охраннику свою ксиву, успев окинуть быстрым, растерянным, жадным, счастливым взглядом ярко освещенный холл, вестибюль, широкие ступени парадной лестницы, ведущей наверх.

Здесь они стояли с Димой. Год назад. Вон — зеркало... Теперь оно не пыльное, теперь оно блестит. Ее дом! Почему они с Димой не были здесь ни разу? Год вместе — и не были ни разу... Жизнь закрутила. Год ухнул в тугую воронку, год был — не приведи Господь. Скорее бы он кончился.

— Вас не велено пускать. — Охранник, тщательнейшим образом изучив аккредитационную карточку, отдал ее Нине, учтиво, но жестко повторил: — Вас — не велено. Извините.

— Кем не велено? — удивилась Нина. — Петя, вы видите? Слышите? — Она оглянулась на Петра, стоявшего у нее за спиной. — Меня в мой дом не пускают. Дожили!

И Нина отрывисто рассмеялась. Нервная дрожь, какое-то странное, не сулящее ничего доброго возбуждение уже охватило ее, подступало ближе и ближе.

— Выйдите, пожалуйста, — процедил охранник. — У нас есть распоряжение: представителей вашего... — он запнулся, договорил брезг-

ливо, голос был такой, словно он наступил на лягушку, — ...органа... печатного... В общем, вас сюда пускать не велено.

— Держи. — Петр ткнул ему в рожу свою книжицу. — «Он и она», абсолютно благонамеренное издание. Невинное. Дама — со мной. Где он, там и она.

Не дав охраннику сказать ни слова, Петр быстро повел Нину к гардеробу. Через минуту они смешались с шикарнейшей, пестрой, шумной толпой, которая прибила их к гардеробной стойке.

Здесь все шумели, смеялись, приветливо окликались друг друга, здесь никому не было дела до странной пары, переговаривающейся отрывисто и нервно:

— Это мой дом! Понимаете, Петя?

— Не совсем... Дайте-ка я помогу вам раздеться.

— Вы что, шпионили за мной?

— Нина!

— Ну, подберите другой глагол, это ничего не меняет в принципе. Следили? Зачем?

— Положим, я выбрал не самый достойный способ. Виноват, каюсь. Вы сами ничего не желали объяснить. Поводов для тревоги за вас у меня — в избытке, согласитесь... И сумку давайте сюда... Тяжелая!

— Там фотокамера. Я знаете кто? — взвинченно, с вызовом спросила Нина.

— Догадываюсь. — Петр взял из рук гардеробщицы два номерка.

— Папарацци. Гадость какая! Да?

— Работа как работа. — Он пожал плечами. — Сядьте. — Петр едва ли не силком усадил Нину на банкетку у стены. — Успокойтесь. — Он сел рядом, накрыл своей ладонью ее руку. — Зря я отдал наши шкуры. Я сейчас заберу их обратно, и мы погуляем. Идет? Машина пусть себе сто-

ит ждет, а мы пешком — до Котельнической. Согласны?

— Нет! — Нина нервно рассмеялась, отбывая у него свою сумку. — Нет, Петя, мне работать всю ночь.

Она поднялась. Толпа быстро редела. Там, наверху, свору старых, потрепанных зубров совелиты, не утративших, впрочем, ни йоты сановного гонора и вальяжной спеси, ждал то ли хэппининг, то ли перфоманс. Новомодная хрень. Модерновое стебало.

— Мне надо работать, — затверженно бормотала Нина себе под нос, медленно поднимаясь по своей лестнице.

Вот здесь они стояли с Димой год назад. Жизнь назад.

— Это мой дом, Петя. — Она оглянулась на Петра, Петр шел за ней следом, ведя ладонью по перилам. — А меня сюда не пускают. Не велено пущать. Вот так вот.

— Я не совсем понимаю. Ваш дом — в каком смысле? — осторожно спросил Петр.

Вот оно, зеркало. Нина подошла к нему вплотную, всмотрелась.

Ее зеркало. Год назад она дотронулась до него ладонью. Что же она тогда сказала? А! Она сказала: «Чего ж они не протирают его совсем? Пыль...» А Дима стоял у нее за спиной, вот как сейчас Петр. Что же он ей тогда ответил? Кажется, он сказал... Да, он усмехнулся и сказал: «Хозяйка!»

— Ваш — в каком смысле? — опять спросил Петр.

Нина повернулась к нему:

— В прямом, Петя. Я — Шереметева. Мой отец был Шереметев. Этот дом когда-то принадлежал его деду, моему прапрадеду.

— С ума сойти! — Петр недоверчиво рассмеялся. — Нет, в самом деле? Вы — из Шереметевых? Из тех? Графиня?

— Из тех. Графиня. Старая. Букли — на башку и — в «Пиковую даму». Уж полночь близится...

— А Германна все нет, — подхватил звучный старушечий голос. — Нет, тебе в графини рановато. Не отбирай у меня последние роли-то!

Нина подняла голову.

Пролетом выше, не верхней ступени парадной лестницы, стояла старая актриса, та самая, «бабушка Ноября».

— Подслушиваю! — И бабушка Ноября стала осторожно спускаться вниз, продолжая весело, громогласно глаголить, даром что Тортилла, голосок, поди, еще Станиславский ставил, ну, не Станиславский, так Таиров, — сочное, глубокое контральто. — Чуешь, слух какой? Двадцатилетняя позавидует, все слышу. Ну, здравствуй. Узнала?

Нина кинулась было помочь, поддержать. Актриса протестующе подняла руку:

— Стой на месте. Оземь не брякнушь. Ухожу. Скучно. Все злые, как собаки, у них там кто-то заморскую премию получил, роман-эссе нацарапал. Эти все сбились в кучку, считают, прикидывают, сколько он отхватил. Переводят франки в доллары, доллары — в рубли, шипят, желчью наливаются... О, смотри! Безенчук бежит. Опоздал.

Знаменитый поэт опрометью влетел в двери, сбросил дубленку на руки охранника, ринулся к лестнице.

— Безенчук? — непонимающе переспросила Нина.

— Ну да, Безенчук, помнишь, похоронщик был из Ильфа-Петрова? — Актриса зашелесте-

ла заговорщически: — Я его Безенчуком зову или — Ангелом смерти. Он стихов давно не пишет, только некрологи зарифмованные. Как помрет кто из великих, лучше, чтоб насильственной смертью, тут у него сразу прилив вдохновения. Он строчит слезный стих, потом читает над гробом, завывает, в грудь себя бьет, наутро публикует в «Известиях». Все — деньги. Все — слава...

— Солнце мое! Счастлив лицезреть! — воскликнул поэт-гробовщик, торопливо взбираясь по лестнице, сладко улыбаясь актрисе. — Уходите? Пошто?.. Все цветете!

— Цвету, помирать не собираюсь, не дожدهшься, — заметила актриса.

Безенчук радостно заржал, припав к руке старой актрисы по-детски пухлыми губами.

— Поди, и рифму уже заготовил? — Она фамильярно похлопала его по встрепанному седому загривку. — «Актриса — кулиса»... «Упала черная вуаль — прощай, старушка-этуаль»... Я тебя знаю, мерзавца! Тебе пора открывать лавку ритуальных услуг.

Безенчук выпрямился, послал актрисе воздушный поцелуй, ринулся вверх по лестнице.

Охранник, стоявший внизу, у подножия лестницы, внимательно присмотрелся к Петру и Нине, окликнул их. Голос его не предвещал добра:

— Так, господа! Я попрошу на выход. Живенько!

— Это вас? Вам? — удивилась актриса.

— Нам. — Нина взяла Петра под руку. — Нам здесь не место. Простите. — Она улыбнулась актрисе. — Рада была вас увидеть.

— Мне что, наряд вызывать? — гаркнул охранник. Двое его собратьев позевывали у входа,

а этот был рьяный хлопец, из породы мелких царьков, наполеонишко из лакейской. — А ну, на выход!

— Не ори, — процедил Петр, проходя мимо него. — Не ори и не нукай.

Охранник побагровел, но смолчал.

— Знал бы он, кто я, — прошептала Нина, не попадая руками в рукава пальто, которое держал Петр. — Вот так-то, Петя. Это мой дом, а меня из него — в шею.

Нину снова била нервная дрожь. Петр молча одевал ее, почти по-отечески застегивал пуговицы на ее пальто. Наверное, со стороны это выглядело диковато. Старая актриса, медленно спускающаяся вниз по лестнице, не сводила с них глаз.

Нина помахала ей напоследок, попыталась улыбнуться — губы не слушались, дрожали.

Петр повел Нину к выходу, приобняв за плечи, перебросив через плечо ремень ее сумки. Они подошли к дверям.

— Дава-ай, вали отсюда! Журналюги вонючие! — И охранник (дождался-таки своей минуты, гаденыш) грубо подтолкнул Нину к выходу.

Петр развернулся и, не раздумывая, ударил охранника кулаком в челюсть. Тот охнул и растянулся на паркетном полу.

— Браво! — И старая актриса захлопала в ладоши.

— Петя, пойдем! — крикнула Нина, но двое других охранников, подскочив, заломили Петру руки за спину и выволокли его на улицу, на снег.

— Петя! — закричала Нина. — Пустите его, гады!

Она накинулась на обидчиков — ее отшвырнули в сторону. Нина упала, больно ударившись

коленом и бедром о ступени крыльца. Тут же поднялась и налетела на охранников снова. Ее опять оттолкнули, повалили Петра на снег, били его ногами. Умело били, толково, так чтобы следов не осталось, — натасканные, гады!

Третий, зачинщик, уже сбегал с крыльца, матерясь.

— Эт-то что такое, а ну прекратить!

Спасение явилось в облике грузного старца, степенно вошедшего в ворота. Классик со-
влитературы, автор знаменитых деревенских саг, замахнулся на дерущихся тростью, зычно, властно, с видимым удовольствием выкрикнул:

— Сбрндели, мать вашу? Николай, — классик оглянулся на спутника, — доставай моментальный.

Николай, то ли шофер, то ли секретарь, вытащил мобильный.

Охранники тут же остыли, подняли Петра на ноги и даже заботливо отряхнули его от снега.

— Сволочи! — Нина набросилась на них, молотя кулаками куда ни попадя. — Гады!

— Не надо. — Петр, кривясь от боли, оттащил Нину. — Пойдем, не нужно.

— Идти можешь? — поинтересовался у Петра классик-деревенщик. — Че не поделили-то, бабу? — Он окинул Нину с головы до ног подслеповатым многоопытным оком. — Ничего, справная.

Он протянул Петру руку, он был доволен собой — пресек кровопролитие, сгодился для честного мужского дела, есть еще порох.

Петр молча пожал ему руку и оглянулся — охранников и след простыл, скоронились за тяжелыми дверями Нинино дома, фамильного Нинино гнезда, отнятого у Нининых пращуров еще на той далекой, первой распродаже.

— Пошли, — сказал Петр Нине, растирая плечо и бок. — Шофера твоего нет. Я тебя сам довезу.

— Ты живой? Может, в больницу? — Нина смотрела на него с тревогой и благодарностью, осторожно дотронулась до его плеча. — Здесь больно? А здесь?.. Ты живой, Петя?

— Живой, — усмехнулся он. — Я стойкий. Обойдется. Заживет, как на собаке. Поехали.

В машине он пел. Пел — это громко сказано, Петру же цыганский медведь отдалил цыганское ухо, но Петр все же безостановочно гундел себе под нос, тянул что-то неразборчивое, сплетая мотивчик с мотивчиком, нещадно фальшивил. Нина терпела.

— Это я боль глушу, — наконец пояснил Петр. — Помогает. Значит, вы у нас — графиня? Потрясающе! — И он насмешливо взглянул на Нину. Не верил, что ли?

— Графиня, — подтвердила Нина, чуть-чуть обидевшись даже. — Правда, раскулаченная. Лишенка. Меня муж знаете как зовет? Принцесса на...

И Нина замолчала, не договорив. Что-то помешало ей выговорить — «на бобах».

— Принцесса, — пробормотал Петр, продолжая нудеть себе под нос. Все равно он был веселый, битый, но веселый, терпел боль, пел, фальшивя, он не унывал, он был стойкий. — «И тогда оловянный солдатик подумал: „Вот бы мне такую...“» — Теперь уже Петр замолчал, запнувшись. Все же продолжил после паузы: — «...Да она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

— Это вы мне — из «Оловянного солдатика»? — догадалась Нина. — Наизусть всю сказку знаете?

— А как же! С любой строчки — и до конца. — Он остановил машину у дверей травмпункта. — Подождете полчасика? У меня приятель дежурит сегодня, повезло... Пересчитает мне ребра... Поломанные.

— Я с вами пойду.

— У нас с вами сегодня все по Гансу Христиану: и оловянный, и принцесса, и дворец, и даже тролль из табакерки. Трое троллей. Хорошо, мозги мне не вышибли. Малой кровью обошлось.

— Главный тролль у нас еще впереди, — вырвалось у Нины.

— Да? — Петр повернулся к ней. — Этот тот, который в больнице? — Он смотрел на нее внимательно, чуть прищурясь.

Все, что они еще не могли или не хотели произнести вслух, открыто, внятно, прямо, они говорили друг другу молча. Мучительный и счастливый язык взглядов, недомолвок, тайных подтекстов, главных слов, сказанных впроброс, между делом, — этот язык был освоен ими вполне. Впрочем, он несложен.

— Пошли в ваш травмпункт, — сказала Нина. — Он не в больнице. Он в Феодосии. Его уже выписали. Теперь — ваша очередь.

...Потом они ехали Чистопрудным. Все обошлось, оловянные ребра целы, на то они и оловянные, и кости целы, а к синякам и ссадинам нам не привыкать.

Петр вез Нину к ее дому, был вечер, морозный, зимний. Вдруг Петр присвистнул:

— Каток, Нина! Ура! Ну правильно, середина декабря...

Нина покосилась на него — он был совершенно счастлив, цыганские глаза его ликующе блестели.

— Вы, как мальчишка, этому радуетесь.

— А как же? А как иначе? Жизнь начиналась в середине декабря! В детстве. Главная жизнь — когда каток. Только!

Петр прижал машину к краю тротуара, выбрался сам, вытащил Нину — сумасшедший, ей-богу! Заводной, азартный, вот ведь и Дима такой же, но из Димы прет энергия дурная, недобрая, истерическая, вперехлест, со знаком минус, а у этого — в плюс, здоровая, добрая, веселая.

Дима — разрушитель, этот — созидатель.

Если бы все так просто было! Нет, все значительно сложнее.

— Куда? — кричала Нина, смеясь. — Петя, осторожней, вам же больно еще, вам вообще лежать сейчас нужно.

— Мне? Больно? — Петр вел ее вниз, на замерзший пруд, крепко держал за руку. — Мне замечательно.

Они спустились вниз по невысокому пологому склону. Впереди, за неровной кромкой снежных отвалов, блестела темная матовая гладь, каток, прочная ледяная Чистопрудная твердыня. Дальше, за узкой полоской пешеходной дорожки, за пустыми скамейками, за чередой машин, несущихся мимо («Аннушки» нет, ее стреножили на время), за темными стволами тополей горели фонари у бывшего «Колизея», слева высилась громада дорогой новорусской ресторации, исполненной с провинциальным разухабистым шиком, непотребной, нелепой, безвкусной.

— А помните, какая здесь была когда-то славная стекляшка? — Петр вел Нину к катку по

снежной отмели, мимо праздных зевак, мимо бодрых собак, выгуливающих своих сонных хозяев.

— Смутно. Я здесь недавно. Хотя я рядом родилась, на Сухаревке. Это вы у нас абориген.

Петр держал Нину за руку, вел за собой, шел вперед, смеясь, говоря быстро, взхлеб, и это ощущение, полузабытое детское ощущение почти абсолютного счастья, просто-душного, жадного восторга постепенно передалось и Нине. Она послушно шла за Петром, тоже смеясь, хмелея от беспричинной радости.

Тут что-то оглушительно щелкнуло, заскрипело над ними, над их головами, над катком. Как будто ночное небо над Чистыми прудами треснуло, словно замерзшее стекло. Но это тоже было весело — не страшно.

— Иди сюда. Не бойся! — Петр протянул Нине руку. Он уже стоял на гладкой ледяной тверди.

Нина молча покачала головой.

— Налейте мне вина! — грянуло вдруг над катком. Вот это что скрипело и трещало, это звуковых дел мастера обкатывали престарелую, порядком изношенную технику. — Пришлите в номер счет! Пускай вокруг — весна, зато на сердце — лед...

— Вон они что поставили, молодцы, — заметил кто-то из собачников. — Наш похоронный марш, наш отходняк веселенький... Правильно. Помирать — так с музыкой.

— Нина! — крикнул Петр. Он разогнался и проехал по краю катка, скользя по ледяной его глади. — Идите сюда, покатаемся.

Теперь снова — «вы», Петр перескакивал с «ты» на «вы», Нина — тоже, все было непрочное, неопределенно, шатко, то ли «ты», то ли «вы». Вот

так мы и скользим с тобой по льду на ощупь, может, упадем, может, устоим...

— Нина, идите!

Нина отрицательно покачала головой, благоразумно оставшись стоять у снежной насыпи. Нет, хватит с нее безумств, достаточно, на целую жизнь хватит этой осени, не пойду я к тебе, мне нельзя, Петя, не зови. Нет.

— Мои финансы поют романсы! — хрипел Буйнов. — Закатный берег, закат в крови... — Попсовый гимн, главная песня нашей осени и нашей зимы, какая жизнь, такие и песни, у нас теперь жизнь — попса, распродажа, дешевка, так давайте споем дурашливо, отчаянно, хрипло, надсадно! — Мои финансы, с волками танцы, не на чужие я играю — на свои!

Петр поскользнулся и упал, но тотчас вскочил. Ему же должно быть больно, его только что отметили — нет, он уже выделяет какие-то немыслимые па под попсовую похоронку. Больно ему или нет, никто не знает, никто не должен знать, он — ванька-встанька, оловянный солдат. Он танцует — все сгрудились у снежной насыпи, смеются и аплодируют.

Буйнов орет, Петр пляшет... Цыгане шумною толпою... С ума сойти! Вот Петр сорвал с головы свою обливную кожаную ушаночку, кинул ее даме, выгуливающей шпица, жестами показал: а ты мне — свою шляпу.

— Выпил, что ли? — доброжелательно поинтересовалась дама у Нины.

— Ничего не выпил, просто веселый, — обиделась Нина.

— Что сделал я с душой? — надрывался Буйнов. — За медь и серебро...

Дама с собачкой швырнула Петру свою шляпу, Петр поймал ее, нахлобучил на голову. Теперь,

манипулируя этой шляпой, то снимая ее, как бы прося у зрителей милостыню, то закрывая ею лицо в приступе лицедейского отчаяния, он выдал такой кабареточный класс и шик, что только держись, публика! Только держись, Нина.

— А в небе ангел мой! Танцует болеро... Мои финансы поют романсы...

Рядом хлопали от души. Только держись, Нина. Петь мы не поем, зато плясать — пляшем. Цыганская кровь.

— ...Не на чужие я играю — на свои.

— Вот именно, — вздохнула дама с собачкой, прижимая шпича к груди. Петрову ушанку дама нацепила на голову, она сама теперь была похожа на собаку, на добродушного пожилого сенбернара. — Вот именно, что на свои. В том-то все и дело.

— Я поднимусь? — спросил Петр.

Нина уже открыла свою дверцу, собираясь выходить.

Нет. Не-ет, оловянный, никуда ты не поднимешься, Господь с тобой, понятно, чем это кончится. Теперь все по-другому, все изменилось за какую-то пару недель. Никуда ты не поднимешься, поезжай домой, нельзя.

А вслух она сказала:

— Может быть, мы все-таки заедем к мальчишкам?

— Я же вам говорю: они спят давно.

Опять он ей — «вы». А ты позволь ему подняться, Нина, и будет «ты», и все разрешится наконец. Что разрешится-то, опомнись! Как в пошлейшем анекдоте: муж — в санаторно-курортной отлучке, а жена...

— Они сами засыпают?

— Сами, — ответил Петр. — Я их приучил.

— А Вовка темноты боится.

— Дрыхнет наш (надо же! «Наш»!) Вовка без задних ног. Смотрит десятый сон.

Можно, конечно, пригласить его на чай. Он голоден, он устал, его, между прочим, побили. Две недели назад он тебя врачевал, теперь, Нина, твоя очередь. Что ж вас бьют-то все время, оловянный, принцесса, а? Такая жизнь. Оловянная. Окаянная. Давай пригласи его к себе, окажи ему первую помощь.

Первую помощь я ему оказать могу.

Вторую — вряд ли.

— Вот и вам нужно выспаться, Петя. Поезжайте домой. Я тоже... Мне тоже... Мне завтра работать с утра.

— Завтра — воскресенье. — Петр смотрел прямо перед собой. — Насколько я знаю, у принцесс в воскресенье — выходной. Если они, конечно, не вкалывают сверхурочно.

— Я вкалываю. Я, Петя, принцесса-папарацци. А что? — И Нина невесело усмехнулась. — Ничего... Фонетически — близко. До свидания, Петя. Спасибо за все. Я завтра вечером Вовку заберу на денечек.

И Нина выскочила из машины, помахала Петру, успев отметить, что он сумрачен и даже не смотрит в ее сторону.

Она прошла по комнатам, не раздеваясь, не зажигая света... Все к лучшему.

А что он ей читал из «Оловянного» там, в машине, на память? Что-то про дворец, про коробку... Он же не просто так это процитировал! И он еще запнулся на полуслове, замешкался. Слово забыл? Нет, Петр не может забыть, он же сам ей сказал: я эту сказку знаю наизусть, все запятые, все междометия...

Нина кинулась в детскую, включила свет. Совсем она спятила, видел бы ее кто-нибудь

сейчас! Она лихорадочно перерыла Вовкины книги, полку за полкой, нашла наконец томик Андерсена, опустила почему-то на пол, в чем была — в пальто, в сапогах... С каким-то нервным нетерпением перелистала страницы.

Вот он, «Стойкий оловянный солдатик». Нина пробежала глазами страницу, другую... «Коробка...», «Ей там не место...» Откуда он начал? Ага, отсюда. «Вот бы мне такую жену! — подумал оловянный солдатик — Да она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

«Вот бы мне такую жену». Здесь Петр запнулся, не решился или не захотел произнести вслух: «жену». Зато он произнес все остальное.

Нина осторожно отложила книжку в сторону, старую-старую, порядком потрепанную. Здесь есть другой Андерсен, новый, с роскошными иллюстрациями, в красивом нарядном супере, подаренный Вовке Димой на прошлогоднее Рождество, а эта книжка-старушка — она Нинина, из Нининого детства, ей сто лет...

Ей сто лет. Нине — примерно столько же.

«Вот бы мне такую жену!» — подумал оловянный солдатик.

Жену.

Спать. Я устала смертельно. Спать.

Телефон звонил. Нина открыла глаза, дотянулась до трубки.

— Второй прокол, мэм, — хмуро бросил Игорь вместо приветствия.

— Игорь, здравствуй, — сонно ответила Нина. — Игорь, это не моя вина. Во втором слу-

чае — точно не моя. Нас не пустили. Нас оттуда вышвырнули.

Она села на постели, подтянув колени к подбородку, сжимая трубку в руке. Игорь молчал. Чем дольше он молчал, тем тягостнее становилось Нине, тем поспешнее, униженной, суетливей она оправдывалась. Вот, оказывается, каков он — ужас работника, на которого прогневался хозяин. Ощущение абсолютной зависимости, подлый рабский страх, земля уходит из-под ног. Нина никогда этого прежде не испытывала. Даже там, в другой своей жизни, полузабытой, далекой, почти нереальной, как палезой, в жизни «до Димы», Нина никогда так панически не боялась потерять работу. Ну, выгонят ее из посудомоек — она пойдет в харчевню напротив.

А вышвырнет ее теперь Игорь — что тогда? Две тысячи долгу, неделя на все про все.

— Что я могла сделать, Игорь, выкинули за порог! Кстати, это тебе сигнал. Мы становимся персона нон-грата. Нашлепай нам каких-нибудь липовых ксив, что ли, нас ведь скоро никуда пускать не будут.

— Должна была с черного хода пролезть! — заорал хозяин улья. — По водосточной трубе вскарабкаться, стену лбом прошибить! Это входит в профессию, детка. Ты не светский репортер, ля-ля-тополя, дыша духами и туманами, дозвольте вас анфас и профиль, мерси, премного благодарны-с! Ты — папарацци, ты — танк! Не в дверь, так в окно, не в окно, так через дымоход, в дымоход не вышло, значит, через угольное ушко пролезешь, не переломисься.

— Игорь, — попыталась отшутиться Нина, — где ты видел танк, который пролезает через угольное ушко?

— Я видел! Только что! — рявкнул Игорь. — Я ему сейчас пятьсот баксов выписал премиальных.

— Это Витьке, что ли, бритому? — догадалась Нина, давя глухую ревнивую зависть. — Ну, так ему — двадцать лет, он...

— А я тебя предупреждал, — запальчиво перебил ее Игорь. — Я тебя сразу предупредил: старовата, матушка, для нашего сафари.

— Игорь... — начала Нина, сжавшись от унижения, сгорбившись на своей постели, хорошо, что он ее сейчас не видел, — она сидела, подтянув колени к подбородку, сжав их рукой. И рука, и колени мелко, предательски дрожали. — Игорь, послушай...

— Старичка-пиита я тебе простил, нехай себе клептоманит, но это становится нормой, Нина. Твои проколы становятся нормой.

— Игорь...

— Давай так. Я тебя спускаю на Проскурина. Актер. Помнишь, мы говорили?

— Помню.

— Сейчас приедешь в контору, общнешься с Леней. Леня Проскурина второй месяц пасет. Я тебе дам машину, поедешь с Валериком в это селение, сиди там хоть сутки, хоть трое. Ходи за Проскуриным по пятам.

— Я поняла.

— Он там не просыхает. Давай поработай. Мне нужна пара-тройка жанровых сценок. В духе передвижников. Что-нибудь вроде: народный артист, лауреат Госпремий, сдает пустые пивные бутылки в местное сельпо. В общем, «Завтрак аристократа». Все слезами обольются. Ферштейн?

— Натюрлих.

— Нина, провалишь Проскурина — выле-
тишь из лавки сей же час. Без выходного посо-
бия. Вопросы есть?

— Нихт. — Колени у Нины дрожали, как
у школьницы перед коллоквиумом.

— Умница. Давай подсуетись. Леня введет те-
бя в курс.

Игорь бросил трубку.

Нина вскочила с постели.

Выгонит.. Так, соберись. Проскурин. Давай, Ни-
на, в узел себя завяжи, вывернись наизнанку, но сде-
лай Игорю Проскурина! Иначе — выгонит.

Она стремительно оделась. Фотокамера, сум-
ка, термос... Обожгла гортань чашкой наспех сва-
ренного, наспех проглоченного кофе... Набра-
ла Солдатовых:

— Петр Андреич? Это Нина, здравствуйте.
Петя дома?

— Он, Ниночка, мальчиков в школу отвез
и поехал работать, — ответил старик. — Что-ни-
будь передать ему?

— Я должна была Вовку сегодня забрать, я не
смогу, наверное... Я, может быть, на день-два от-
лучусь, вы меня не теряйте.

Еще через пару минут Нина уже открывала
входную дверь, на ходу дожевывая бутербродик.
Распахнула дверь — и замерла.

Петр Солдатов стоял, привалившись плечом
к стене, скрестив руки на груди. Он был абсо-
лютно невозмутим.

— Доброе утро, — ошеломленно выдавила
Нина. — Вы... Вы давно здесь?

— Минут сорок, — ответил Петр, не двига-
ясь с места.

— А что же вы... А почему вы не позвони-
ли? — Нина с трудом подбирала слова, все еще
не придя в себя толком. — Я, Петя, очень рада,

что вы пришли, но... Но, может быть, в другой раз? Дня через два я вас всех приглашу... И мальчишек, и Петра Андреича... — Нина окончательно смешалась. Выпала скороговоркой: — Петя, простите. Работа!

— Какая? Вот эта опять? — Петр кивнул на ее сумку. — Папарацци? Ну, так я вас не пущу. Я тут под дверью и караулю поэтому.

Потеряв дар речи, Нина застыла на пороге своей квартиры и лишь остолбенело смотрела на Петра.

Он подошел к ней, обнял за плечи. Нина снова очутилась в прихожей, он втолкнул ее туда — каким-то непостижимым образом Петру удавалось быть и бесцеремонно-жестким, и деликатным одновременно.

— Ничего не понимаю. — Нина сбросила его ладони со своих плеч. — Петя, я опаздываю. Вы в своем уме?

Она протянула руку к двери — Петр загородил дверь собой, четко повторив:

— Я вас туда не пущу. Вы там больше работать не будете.

— Да вы что?! — На смену оторопи пришли возмущение и досада. Пытаясь оттолкнуть Петра от двери, Нина повысила голос: — Пустите меня! По какому праву...

Ну разумеется, он был сильнее. Пока она возмущалась и кричала, Петр помалкивал. Втолкнул ее в комнату, силком усадил в кресло.

— Пустите меня! — кричала Нина, порываясь встать. — Вы что себе позволяете? Как вы смаете за меня решать, вы мне...

— Смею. — Петр сжал ее руки, вдавил Нину в кресло, не давая ей вырваться, подняться. — Нина, там женщине делать нечего. Вам — во всяком случае.

— Пустите меня!

— Вам нечего там делать. — Он держал ее крепко, стараясь оставаться невозмутимым. — Я вам запрещаю. Это опасно и... — он запнулся, подыскивая эпитет пообтекаемей, — „малопочтенно. Для принцессы — уж точно.

— Запрещаете?! — Нина задохнулась от бесильного гнева. — Да кто вы такой, чтобы мне запрещать? — Она снова попыталась вырваться. — Вы кто мне? Отец? Муж? Любовник?

Выкрикнула это — и осеклась Петр отпустил ее.

— Синяки будут. — Нина показала ему руки. — Ну, знаете... Не ожидала от вас.

Она вскочила, кинулась к двери, но Петр ее опередил. Все Нинины попытки оттолкнуть его были заранее обречены на провал. Она оттаскивала Петра от двери молча, с отчаянным неммым упрямством. Нелепая сцена. Нина понимала это, и Петр понимал.

— Пусти! — хрипела Нина. — Я опоздаю! Меня выгонят!

— Вот и замечательно, — бормотал Петр, уворачиваясь от ее рук. — Очень хорошо... Такую работу потерять не жалко.

— Не жалко? — выкрикнула Нина. — Ты знаешь, как там платят? Ты знаешь, что у меня долгу две тысячи баксов?

Все, шут с ней, с конспирацией, с этим партизанским молчанием, пускай знает, слишком далеко дело зашло.

— Две! И неделя на то, чтобы их найти! Заработать! Отдать!

У Петра вытянулось лицо. Он отошел от двери и теперь смотрел на Нину сочувственно, почти покаянно.

— Не отдам — нам всем будет... В общем, нам не поздоровится, — договорила Нина на выдохе, чуть слышно.

Она открыла дверь. Они стояли рядом, глядя друг на друга. Оба были измучены, растрепаны, вымотаны этой дурацкой потасовкой. Нина поправила взлохмаченные волосы. Петр застегнул «молнию» на куртке.

— А куда твой тролль смотрит? — наконец спросил он. — Ты тут ломаешься, вкалываешь, а он...

— Дима ничего не знает. Да и знал бы, все равно толку от него не будет никакого. Один вред. Напьется с горя, наломает дров... Денег ему не у кого занять, он и так всем должен. Он мне только мешать будет. Вот как ты сегодня.

Они снова говорили друг другу «ты». «Ты» или «вы» — чушь собачья, пустая формальность, условность. В сущности, они давно уже были родные люди. Давно? Ну, дней десять, не меньше.

— Что ты молчишь? — Нина глядела на Петра с вызовом. — Что, может, у тебя есть две тысячи долларов? Лишних? В тумбочке завалялись? Может быть, ты мне их одолжишь, Петя?

— Тумбочка у меня найдется, — утрюмо ответил Петр. — Доллары — вряд ли.

— Тогда я поехала.

— Тогда я с тобой.

• • •

Нина огляделась. Маленькая пристанционная площадь. Кособокий уродец продмаг, типовая стекляшка шашлычной, кривоватая цепочка кооперативных лабазов. Везде — заперто. Ночь.

— Сколько сейчас?

Петр взглянул на часы:

— Половина одиннадцатого.

— Черт! — вырвалось у Нины. — Приехали... Он, наверное, спит давно. Надрался — и на

боковую. А мне велено запечатлеть его бурную дневную жизнь. Что будем делать, Петя? Уж полночь близится...

— ..А Германна все нет. Ладно, успокойся. Мы не могли раньше. Пока тебя твой оберштурмбанфюрер инструктировал...

— Это Игорь, что ли, обер? — Нина забралась в машину, подтянула к себе сумку за ремень.

— Типичный. Все у него — ферштейн, ахтунг, геноссе... Гестаповец. Садюга. — Петр сел за руль.

— Брось, пожалуйста. Он хороший. Это он на себя напускает.

— Пока я мальчишек из школы забирал... В общем, раньше бы мы не успели. — Петр с интересом следил за тем, как она производит какие-то манипуляции со своей камерой, что-то там скручивает, навинчивает, сосредоточенно, умело и быстро. — Это что ты такое делаешь?

— Объектив... инфракрасный... — пробормотала Нина. — Для ночной съемки... Не со вспышкой же...

— Для ночной? — настороженно переспросил Петр. — Зачем? Ты же сама сказала — он спит давно.

— Ну а вдруг? Раз уж приехали...

— Переночуем в машине. Дождемся утра, тогда начнешь свою охоту. Под моим надежным прикрытием.

— Значит, так. — Нина зачехлила камеру. — Я сейчас пойду к его дому, а ты жди меня здесь. Это был приказ.

— Ты не командуй, — нахмурился Петр. — Команды — это по моей части. Кто здесь Солдатов, в конце-то концов?

— Ты. Ты — солдат, я — капрал. В данном конкретном случае.

— Ты — женщина, я — мужчина. В любом случае. Здесь я тебя ждать не буду. Одна ты туда не пойдешь. Пойдем вместе.

Нина молчала, закусив губу. И Петр молчал, глядя на нее исподлобья. Одну он ее не отпустит, это ясно. Камень на камень. Уговорить, упросить не получится, приказать — невозможно. Он не уступит. Он неуступчивый. Он оловянный. Ну, так мы его за это и любим, правда, Нина?

— Ладно, — вздохнула она. — Вместе. Только знаешь что... Ужасно пить хочется, в горле пересохло. Купи какого-нибудь «Швепсика», пожалуйста. Вон, крайняя палатка правая, кажется, открыта.

Петр недоверчиво покосился на Нину, но вылез из машины и направился к палаткам.

Нина тут же выдернула листок из ежедневника, нашла в сумке ручку. Это называется — детская хитрость. Самый простой ход срabатывает безотказно. Минуты три Петр будет идти до палатки... Нет, пять, она далеко... Еще минуты три ему на «Швепс» и сдачу... Детская хитрость. Нина успеет. Она смотается на разведку и вернется. Петр ей там сейчас совершенно не нужен, он только мешать будет. Нина — сама, бегом, быстро, шустро...

«Петя, я на разведку, — написала она на листке бумаги. — Жди меня в машине».

Листок — на руль, ремень сумки — через плечо.

Петр стоит у ларька, спиной к машине, к Нине. Он почти неразличим в темноте. Ладно, он ее поймет. Он не обидится.

Нина выбралась из машины и опрометью ринулась через площадь. Несколько улочек отходили от привокзальной площади узкими лучами, но Нина знала, какая из них ей нужна, она изучила план досконально, а Петр не знал.

Минуты через три-четыре она уже бежала по темной поселковой улице. Фонари не горели, снег скрипел под ногами. Ни души, тишина. Только где-то заливисто лают собаки, но совсем не страшно, совсем. Смешно, что она вспомнила это детское, дворовое, веселое мальчишеское слово «разведка».

Так, теперь нужно свернуть на Сквозную... Вот она, Сквозная. Дом восемь, дом шесть... Ей не страшно, потому что она знает: она под защитой. Ее оловянный защитник ждет ее на привокзальной площади. Правда, сейчас он зол, он разгневан, он прочитал Нинину записку... Дом номер четыре, дом номер два, сейчас нужно будет свернуть направо, так в плане. Потом повернуть на Дачную, и Нина — у цели... Ни души, все словно вымерло. А что ты хочешь? Двадцать три ноль-ноль. Петя, конечно, может завести свой чахлый мотор и объезжать улицу за улицей. Нет, он этого не сделает, иначе они непременно разминутся в лабиринте этих узких ночных безлюдных улочек.

Дачная. Какое славное название, уютное, домашнее, летнее. Нина свернула на Дачную.

Стоп. Еще минуту назад она неслась к развилке, то и дело проваливаясь в глубокий снег, а теперь застыла как вкопанная.

Впереди, шагах в сорока от Нины, посреди этой недлинной, стиснутой с обеих сторон глухим высоким забором Дачной улицы, стоял человек. Он стоял неподвижно, руки висели вдоль тела плетями, голова запрокинута к ночному небу.

Нина тоже зачем-то подняла голову. Ну, снег. Падает снег, легкие редкие хлопья. Она перевела взгляд на незнакомца. Он стоял к ней спиной. Голова непокрыта, он в джинсах и свитере,

рукава закатаны до локтей. А на улице минус одиннадцать. Неужели это Проскурин? Нет, это было бы слишком в масть.

А что ты стоишь-то, дура, посреди дороги? Он сейчас обернется назад, увидит тебя, и пиши пропало. Нина метнулась к забору, прижалась к нему, спряталась за выступом чьих-то ворот.

Нет, незнакомец так и не оглянулся. Он медленно двинулся вперед, удаляясь от Нины, побрел, пошатываясь, по протоптанной в снегу тропинке. Теперь было ясно, что он пьян.

Нина шла за ним, прижимаясь к глухой темно-зеленой стене забора, сохраняя максимальную дистанцию, не спуская с незнакомца глаз. Она его узнала. Походка, фирменная походка. Да, он — во хмелю, его шатает из стороны в сторону, но этот легкий, кошачий, слегка разболтанный шаг ни с чьим другим не перепутать. Проскурин. Повезло тебе, Нина.

Он подошел к открытой калитке и остановился. И Нина остановилась. Она стояла возле забора, шагах в тридцати от Проскурина. Абсолютный риск. Он оглянется — и привет. Ну что же... Как карта ляжет.

Проскурин не оглянулся. Вошел в ворота, не закрыв калитки. Теперь нужно выждать. Фантастическое везение — он пьян, похоже, совсем невменяем, ему не до калитки, не до щеколды... Еще бы дверь в дом оставил открытой. А что ты тогда сделаешь — зайдешь?

Нина выждала минут пять. Достала камеру — «Никон», Игорь расщедрился. Надо быть во всеоружии, если идет такая пруха, такая удача, стоит расчехлить «Никон» заранее.

Еще минуты три... Теперь можно бесшумно подойти к открытой калитке. Проскурин, скорее всего, уже вошел в дом. Нагородили забо-

ров, домовладельцы, частные собственники, ничего-то за ними не видно. А что тебе Игорь говорил? Не в дверь — так в окно... входит в профессию... Здесь-то все настежь — двери, ворота; здесь, похоже, темное, мутное, пьяное отчаяние, когда все — трын-трава. Повезло тебе, Нина.

Она зашла во двор и остановилась у калитки. Веранда освещена, во всех окнах — свет. Дверь неплотно прикрыта. Он, наверное, в доме.

Нина повернула голову и едва удержалась, чтобы не вскрикнуть.

Проскурин сидел на садовой скамейке, совсем рядом. Нет, он даже не сидел, он полулежал, безвольно, мешком распластавшись по этой скамье. Голова откинута назад, Нине виден только острый кадык, худая жилистая шея. Руки — плети, ноги — плети... Что с ним? Вот теперь Нине стало страшно.

Она выскочила из калитки, назад, на улицу Дачную... Хорошее название — Дачная. А туда, во двор, больше не хочется. Сейчас бы — к Петру, в машину, в Москву...

А работа? Иди работай. Это деньги. Иди.

И Нина, пересилив себя, снова подошла к калитке. По лезвию ходишь, Нина! «Никон» под курткой, куртка расстегнута...

Нина встала за сосной — так он ее не увидит. Вот если он поднимется со скамьи...

Но пока он сидит, откинув голову назад. Нина сняла крышку с объектива... Он сидит, а рядом стоит початая бутылка водки. Это слева... А справа — что-то темное, узкое, длинное, вроде палки.

Нина навела объектив. Мгла крошечная, мешают ветки, вряд ли что-то получится. А что ты вообще намерена увековечить? Тебе веле-

но — в духе передвижников, сельпо, стеклотара, а ты снимаешь рядовую совковую посткризисную драму. Человеку худо, он спивается, заживо себя сжигает.

Проскурин резко выпрямился, и Нина, вздрогнув, интуитивно отпрянула назад. Потом вернулась на исходную позицию. Ничего, сосна ее закрывает. Только бы он сидел, не поднимался со скамьи!

Он и не поднялся. Бутылку не тронул. Он взял в руки это темное длинное нечто, не такое уж оно длинное, это...

Это ружье. Охотничье ружье со спиленным стволом, обрез.

Нина сделала снимок. Еще один... Теперь все происходило словно помимо ее воли, она напугалась, сжалась, струппировалась, она превратилась в некий неодушевленный придаток к своему «Никону», в биомассу, разом утратившую способность мыслить, контролировать происходящее, принимать решения.

Решение только одно: снимать! Снимать, как он там, на скамье, неумело возится со своим обрезом, примеривает к нему руку и так и эдак... Сел прямо, снова ссутулился, повернулся вправо, потом — влево... Он ничего не видит, не слышит, к нему можно сейчас вплотную подойти — он не заметит.

Нина — придаток к своей камере, Проскурин — придаток к своему обрезу. У каждого из них своя цель, и каждый из них поглощен своей целью.

Все спрессовалось в секунды. Вот он нашел наконец оптимальную позу. Упер приклад в сведенные колени, уткнул ствол под нижнюю челюсть, обхватил одной рукой ложе, вторую руку поднес к спуску... Приблизил к нему сначала ука-

зательный палец, потом, верно, сообразив, что спуск — тугой, что у указательного пальца не хватит силы для того, чтобы нажать на него, он поменял указательный палец на большой...

И Нина снова нажала на кнопку.

Он попытался нажать на спуск, а она нажала на кнопку. Морок. Минутное помрачение.

Все очень быстро. Пара минут. Пара минут на то, чтобы продать себя на этой распродаже.

Но это — отключка, помешательство. Это только на пару минут.

Проскурин так и не нажал на спуск. Он с силой отшвырнул обрез в сторону, в снег, к той самой сосне, ствол и ветви которой закрывали от него и калитку, и Нину. Встал со скамьи. Не глядя нашарил рукой бутылку, повернулся к веранде.

Нина уже стояла за калиткой, посреди ночной улицы. Она была совершенно мокрая, волосы прилипли ко лбу. Струйка пота медленно ползла по спине, скользила между лопатками — омерзительное ощущение.

Нина пошла прочь, на ходу зачехляя камеру, засовывая ее в сумку, потом сорвалась на бег. Гадость, какая гадость, но это было с ней, это только что было с ней, с Ниной, это она — не кто-нибудь, она уже умеет снимать на пленку чужую смерть.

Там сорвалось. Осечка. А если бы этот пьяный безумец нажал на спуск, убил себя? Она, Нина, тоже бы нажала на кнопку своего «Никона»?

Так ведь она и нажала.

Мерзость. Ты себя продала, тебя нет, Нины — нет, есть гадина какая-то, хищная, азартная гадина, на этой распродаже ты — как рыба в воде, ты — в выигрыше, ты с неплохим наваром. Тебе осталось-то всего ничего: торговать-

ся с Игорем, продать ему эту пленку за две штуки. Он даст: она того стоит. Он поторгуется — и даст.

Нина остановилась. Она давно сбилась с тропинки и теперь стояла по колено в снегу, возле глухого забора. Куда она идет? Она идет к своему Солдатову. Дело сделано — она идет к Петру.

Нет, Нина, давай-ка возвращайся обратно.

Этот сумасшедший там, в пустом доме, допьет сейчас водку, отыщет обрез в снегу, у сосны. Снова попытается нажать на спуск. Может такое быть? Может.

Давай возвращайся.

И Нина повернула обратно. Выбралась на тропинку, пошла быстрее. Если ты человек — возвращайся, войди в этот дом, попытайся помешать ему сделать это.

Если ты — человек.

Как жаль, что Петра нет рядом! Сама виновата.

Она влетела в открытую калитку, огляделась. Никого. В окнах свет, входная дверь приоткрыта.

Он отшвырнул свой обрез к сосне, вот сюда. Господи, сделай так, чтобы обрез был здесь, в снегу!

Нина метнулась к сосне: обреза не было. Он его забрал. Вот отпечатки его шагов, снег белейший, свежайший, все видно отчетливо. Вот отпечатки — и вот узкое глубокое отверстие в сугробе, куда упал обрез. Отсюда Проскурин его только что достал.

Нина затравленно оглянулась на дом. На окнах ярко освещенной веранды занавесочки такие веселенькие, кокетливые, с оборками. А что за ними? Иди в дом, Нина.

А если он в меня выстрелит? Он сидит там пьяный, безумный. Он вооружен. Он может выстрелить.

Иди, Нина. Все равно иди. Замаливай свой грех.

И Нина поднялась по ступеням крыльца. Ей не было страшно. На то, чтобы понять, что тебе страшно, тоже нужно время. Она толкнула приоткрытую дверь. А если он уже мертвый? И ты сейчас...

— Кто?! — хриплый высокий мужской голос. Нина вошла.

Проскурин сидел у стола на громоздком стуле с высокой спинкой. На столе стояла пустая бутылка. Рядом лежал обреза.

— Вы кто? — спросил Проскурин, глядя на Нину. Он с трудом ворочал языком.

Нужно прикинуться абсолютной идиоткой. Да, это единственный выход. Если выход вообще есть. Выход всегда есть, ты на этом стоишь, Нина, это твое железное правило. Оловянное.

— Здравствуйте, — сказала Нина как можно приветливей. Такая жизнерадостная кретинка. Улыбайся пошире, сделай шаг вперед. — Я... Я заблудилась. Еду в гости. И заблудилась. — Еще шаг к столу. — А у вас дверь открыта...

— Стойте там, — процедил Проскурин и положил ладонь на приклад обреза.

Нина остановилась. Нет, на дурика ничего не выйдет. Какие же у него мутные, страшные, неживые глаза!

— Я сторож. — Он перехватил ее взгляд, брошенный на ружье. — Сторожу. Уходите.

— Но, может быть, вы выйдете со мной? — умоляюще протянула Нина. Улыбайся! И ведь нужно себя не выдать, не показать ему, что ей страшно, теперь ей было очень страшно. — Может быть, вы покажете мне дорогу? Мне нужна станционная площадь. Они там рядом живут, те, к кому я...

— Уходите! — Проскурин повысил голос.

Он ее гонит. Она ему мешает. Значит, он хочет сделать то, что он не смог сделать там, во дворе. Значит, никуда она не уйдет. Ладно. Она выберет другую тактику.

— О-ой! — протянула она, округлив глаза, и сделала еще один шаг к столу. — Го-осподи, я вас узнала! — Как голос дрожит, как она фальшивит! Лицедейство — это по проскуринской части, Нина — актриса никудышная. — Господи, вы же Проскурин!

— Убирайтесь! — В мутных глазах его метнулась злоба. — Уходите отсюда!

— Ну не злитесь... Пожалуйста... — Еще один шаг. — Вы же мой любимый...

— Вон отсюда! — прорычал Проскурин, беря в руки обрез. Он ее ненавидел, она его бесила, его все сейчас бесило. — Вон!!!

— Мой любимый... актер... — Нина медленно шла к столу. Ну что он, выстрелит в нее, что ли? — Успокойтесь...

— Вон! — Бешеная муть застилала его глаза, он сжал в руке обрез. — Что, стрелять мне? Убейся!

— Да положите вы вашу... пушку... — Нина подбиралась к столу, медленно, осторожно, упорно. — Вы что? Зачем? — продолжала она, задыхаясь. — Вы же хороший...

— Вон!

— Добрый... Интелли...

Он выстрелил в стену, вбок, не целясь, навскидку. Пуля прошила драгоценное чрево буфета из красного дерева, изуродовав нижнюю дверцу, расщепив ее пополам.

Несколько секунд они оба тупо смотрели на эту дверцу, потом Проскурин перевел взгляд на Нину и сишло повторил:

— Вон.

Нина молчала. Какое — вон? Это ведь нужно двигаться, передвигать ноги, а Нина сейчас — ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. Ее ноги не слушаются. Она их не чувствует.

— Я считаю до трех, — объявил Проскурин. Обрез он положил себе на колени. Указательный палец завис над курком. И он не протрезвел ни на йоту, тут всякий бы протрезвел, а он — нет. Пустые глаза, угрюмый хриплый голос. — Давай уходи по-хорошему.

Хлопнула калитка. Скрип снега, шаги. Нина их слышала, дверь была открыта настежь.

— Я не уйду, — сказала Нина как можно громче, стараясь заглушить голосом звук этих приближающихся шагов. — Никуда я не уйду, не надейтесь.

Скрипнули ступени крыльца. Проскурин вздрогнул и поднял обрез.

Чьи-то руки сжали Нинины плечи, она понять ничего не успела, секунда — и она уже стоит за широкой сутулой спиной своего Солдатова.

— Вон отсюда! — надсадно крикнул Проскурин. — Оба!

— Бога ради... — Петр задыхался от бега, не говорил — сипел. — Наши желания совпадают.

Он спиной подталкивал Нину к открытой двери, теснил к выходу, закрывая собой. Она теперь ничего не видела, ни этого сбрендившего горе-самоубийцу, ни комнаты — только плечи Петра и его затылок, влажный от пота. Воротник его рубашки тоже потемнел от пота, куртка была полурасстегнута, съехала с плеча.

— Как ты меня нашел?

— Улицу за улицей объезжал... — Петр продолжал теснить ее к дверям. — Уже мимо проехал... Услышал выстрел — вернулся...

— Долго ждать? — рявкнул Проскурин. — Вон!

— С превеликим удовольствием, — почти учтиво ответил Петр.

— Петя, я не пойду.

Нина решительно вышла вперед. Петр схватил ее за руку, толкнул к дверям, снова заслонил собой.

— Я не пойду! — крикнула Нина, вырвавшись. — Мы не уйдем. — Она села на стул возле стены и добавила, глядя на Проскурина: — Он себя убьет. Он себя убить хочет.

Проскурин посмотрел на нее. Хмельная муть по-прежнему застилала его глаза. Но кое-чего Нина все же добилась: кривая ухмылка тронула его бескровные губы, губы дрогнули... И то хлеб.

— Он хотел себя убить, — повторила Нина, бросив на Петра быстрый взгляд.

— Тоже хорошее дело. — Петр подошел к ней и заслонил от Проскурина. Нашел Нину руку на ощупь, не оглядываясь, сжал ее. — Хорошее дело. Это он репетировал, наверное. Он же артист. Гамлета репетировал. Ты просто не поняла.

— Гамлет, Петя, зарезался. То есть его зарезали, кажется, — возразила Нина, мгновенно настраиваясь на предложенную им тональность. — Чему тебя в школе учили? — Нина чувствовала его руку — тепло, спокойную силу, защиту. Она под защитой. Уже не страшно. — Гамлета зарезали, а у этого — самострел.

— Вон убирайтесь оба... — затверженно выдавил Проскурин.

— А ты подсматривала? — спросил Петр у Нины, не оборачиваясь. — Нехорошо. Неприлично.

— Я не просто подсматривала. — И Нина наконец сбросила с плеча ремень сумки. Как за-

текло ее несчастное плечо, только сейчас она это ощутила. — Ладно бы я просто подсматривала! Нет, я даже попыталась это запечатлеть. — Она расстегнула сумку, достала фотокамеру. — Для потомства. На вечную память.

И она швырнула свой «Никон» на низкий диванчик, стоявший недалеко от стола, у которого сгорбился Проскурин.

Проскурин обалдело взглянул на Нину, перевел недоуменный взгляд на камеру. Вот теперь он протрезвеет. Очень хорошо, слава богу. Трезвеет на глазах.

— Зачем?.. — спросил Проскурин, чуть отодвинувшись от стола, чтобы рассмотреть Нину — Петр ее загораживал.

— А у меня работа такая. — Нина легонько оттолкнула Петра в сторону. Не нужно ее больше закрывать от проскуринской пули, ни в кого он стрелять не будет, он трезвеет, взгляд становится осмысленным. Нине нужно сейчас смотреть ему в глаза. Ей нужно выговориться. Ей САМОЙ это нужно. — У меня такая работа, Олег. Мне за нее хорошо платят. Я за эту пленку штуки две могу выручить «зелеными». Неплохо, правда?

Проскурин молчал, рассматривая Нину. Потом коротко усмехнулся, растер ладонью одутловатую небритую рожу. Что он сделал с собой, со всей своей красотой неземной, холеной, породистой, пугучной! Светлые рысьи глаза заплыли, утонули в тяжелых красноватых подглазьях. Знаменитые проскуринские глаза потускнели и выцвели.

Зато теперь они снова были живыми. Они больше не были мертвыми, мутными, пустыми. Он никого не убьет. И себя не убьет. Можно подойти к столу и забрать у него этот чертов обрез. Нет, еще не время.

— Я это сделала. — Нина смотрела ему в глаза. — И рука не дрогнула, представьте себе. Что мне теперь прикажете делать, Олег? Я же была абсолютной мразью полчаса назад. Ну, и что мне с этим делать? Как мне дальше с этим жить? Что, может быть, мне тоже застрелиться?

Проскурин молчал. Странное дело: теперь он смотрел на Нину почти с симпатией. С каким-то глубинным, едва ли не родственным, общечеловеческим дружелюбием. Он ее понимал. Он знал, каково Нине. Он сам прошел через это. Не прошел — его ПРОВОЛОКЛИ через это. Через унижение, через позор, через насилие над собой. Его тоже проволокли по этому острому гравию. Он тоже в кровь ободрал свою кожу.

— Что, застрелиться мне? — упрямо, с отчаянным вызовом повторила Нина. — Последовать вашему примеру?

— Тужься, милая, тужься, — пробормотал Проскурин. — В наших роддомах нет горячей воды.

— А здесь никто не стреляется, — спокойно заметил Петр. — О чем ты, Нина?

Он подошел к столу и забрал обрез. Проскурин не шелохнулся.

— Никто не собирается. — Петр отошел от стола, держа обрез в руке. Присел на край диванчика, положил обрез рядом с фотокамерой.

Несколько минут они просто молчали. Просто сидели друг против друга, все трое, медленно приходя в себя, постепенно успокаиваясь.

— Уходите, — сказал Проскурин. Теперь он не требовал, не угрожал — он просил их об этом. Он уперся локтями в столешницу и спрятал лицо в ладонях.

— Подожди, — возразил Петр. — Уйти мы успеем. Давай все же попробуем обсудить... Разо-

браться. Должна же быть какая-то причина! Или несколько причин...

— Ничего я с тобой обсуждать не буду, — буркнул Проскурин, не отнимая ладоней от лица.

— Давай попробуем разложить их на составляющие. Иногда помогает. Мне, во всяком случае.

— Ло-огик! — недобро хмыкнул Проскурин, взглянув не на Петра — на Нину. — Логик он у тебя. Разлагать желает. Иди разлагайся где-нибудь в другом месте.

— Ну что ты пристал к человеку? — мягко укорила Нина Петра, мгновенно почувствовав, что ей нужно сейчас держать сторону Проскурина, поддакивать ему во всем, соглашаться. Принцип не нов, злой следователь — добрый следователь. Проскурин почему-то выбрал Нину в «добрые». Значит, в эту дуду и следует дуть. — Что ты пристал к нему, Петя? Какая причина? Все причины — на поверхности. Человек устал жить в нашем бардаке. Он больше не может жить в бардаке.

— А ты можешь? — резко парировал Петр. — А я могу? Знаешь, моя дорогая, если каждый из нас начнет стреляться только потому, что ему тошно в нашем бардаке, — наш бардак очень быстро опустеет. В двадцать четыре часа.

— Это потому, что в наших роддомах нет горячей воды, — саркастически-наставительно вставил Проскурин.

— Слушай, ты достал нас уже со своей водой! — воскликнул Петр, и они засмеялись, все трое.

Весело, негромко, но дружно.

Все было спасено. Все не все, но многое. Петр снял с себя куртку и бросил ее на фотокамеру и обрез, накрыв ею эти злосчастные вещдоки.

Подвытертая на локтях шоферская кожанка, та самая, которая была на Петре в тот вечер, когда Нина впервые его увидела.

Как много с тех пор прошло времени!

Целая жизнь.

Они возвращались в Москву ранним утром.

Всходило солнце, к утру приморозило. Машина неслась по кольцевой, Нина сидела на заднем сиденье, смотрела в окно.

Ели и сосны. Сосны и ели, скоро, между прочим, Новый год, уже совсем скоро, пора покупать елку... И Петр, наверное, купит, хорошо бы устроить мальчишкам сразу два праздника, у него и у нас... Дима вернется через десять дней, он успеет к Новому году, господи, придется же их познакомить! Ну и познакомишь, что тебя смущает?

Новый год. С Новым годом, с новым счастьем... А что мне делать со своим старым несчастьем? С деньгами, которых нет? С долгом, который камнем на шее? С Михалычем, который звонит теперь ежедневно?

Сегодня Игорь выгонит тебя с треском, уволит, наорет напоследок, имеет законное право, безусловное. И ты ему тоже теперь должна, ты оставила фотокамеру с пленкой у Проскурина, отдала ее Проскурину, на, Олег, делай с ней что хочешь, хочешь — разбей, хочешь — прояви пленку, любуйся на себя, на свое неудавшееся суицид-шоу, впредь будет тебе наука.

Что-то будет... Что будет, то будет!

Будет Новый год. Купим елку, нет, две елки, будем с мальчишками их наряжать.

— Петя, давай купим елку! Уже должны про-
давать, наверное.

Петр молча кивнул, не сводя глаз от дороги. Он был напряжен и собран — еще бы, он не спал всю ночь, ни минуты. До утра просидел с Проскуриным, всю ночь они проговорили, выдворив Нину из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Теперь Петр держал себя в жестких тисках самоконтроля, не давая себе ни секундной поблажки. Боролся с дремой. Стойкий Солдатов.

— У тебя, наверное, даже елка оловянными солдатиками украшена, — улыбнулась Нина. — Нарезали, поди, из фольги штук сорок.

— Издеваешься? — хмыкнул Петр. — Положим, у нас — оловянный кулыт, но не до такой же степени! У нас на елке игрушки висят, еще из маминых запасов, мои старые, детские. И мандарины. Я люблю, когда мандарины на елке. Запах праздника, тоже из детства: цитрусовый и хвойный. Оранжевое, зеленое... Мама половину в золотую фольгу заворачивала...

Нина снова повернулась к окну. Значит, повесим мандарины. Завернем их в золотую фольгу. Будет праздник. В разгар праздника позвонит Михалыч, вкрадчиво спросит: «Где деньги, Нин?»... Потом, перед двенадцатью, все выпьют за старый год, и что она, Нина, вспомнит? Как этот бедный Проскурин пытался себя убить, а она, Нина, все это отщелкала в лучшем виде, с большим знанием дела, ничтоже сумняшеся?!

— Петя, останови, — попросила она. — Останови, пожалуйста, я выйду подышать. Мне плохо.

Петр притормозил, Нина вышла, спустилась за обочину, на снежную целину.

Четыре месяца это копилось в ней: боль, усталость, надсада... Она держалась, не позво-

ляла себе срывов, некогда было плакать. Некогда.

Как быстро все пролетело! Только вчера был этот проклятый август, жаркое, душное, тревожное лето, одним ударом оборванное, ударом нашей общей внезапной беды... Потом была смутная горькая осень, череда торопливых невнятных дел, дней, общая усталость, общая растерянность, как же всех жалко! По-настоящему жалко нас всех, за что нас так? Ну за что нас так?!

Нина кругами ходила по снегу. Рядом шумело, гроыхало кольцо автодороги. Петр стоял неподалеку, курил, глядя в сторону. Он ни о чем ее не спрашивал. Он не мешал ей. Он ничему не удивлялся.

Нина ходила по кругу, размахивала руками, как сумасшедшая, кружила по снегу, а Петр не удивлялся. Он ее знал. Он уже научился хорошо понимать ее и чувствовать.

Он точно почувствовал тот момент, когда пришло время загасить недокуренную сигарету, подойти к Нине и обнять ее.

— Как мне жалко всех! — вырвалось у нее. — Петя! Как мне всех нас жалко! Этого Проскурина, себя, тебя... Диму, наших стариков, мальчишек, всех! Всех жалко. И я ничего не могу сделать, — бессвязно говорила она, уткнувшись в его плечо мокрым от слез лицом. — И никто ничего не может сделать.

Петр молчал, прижав ее к себе.

— Но я больше не могу так, Петя! Я больше не буду работать у Игоря.

— Не будешь, — эхом откликнулся Петр.

— А долг? А эти люди?

— Свяжи меня с ними. Я с ними поговорю.

— Нет. — Нина отстранилась от него. Вытерла слезы и спросила, решившись: — Петя, по-

чему ты мне помогаешь? Ты мне во всем помогаешь, не нужно, я ведь привыкну, мне нельзя к этому привыкать! Петя, почему?

— Ты знаешь, — глухо ответил Петр.

— Нет, ты скажи, ты ответь мне!

— Что, это нужно обязательно произнести вслух? — почти зло спросил он. — Обязательно?

— Нет, — поспешно согласилась Нина и добавила с каким-то суеверным страхом: — Нет, совсем не обязательно.

— На первый урок они опоздали, — сказал Петр, следя за тем, как Нина открывает дверцу машины. — Ничего страшного. Сделаю им завтрак, отвезу ко второму.

Нина кивнула, скользнула сонным взглядом по своему утреннему двору. Повернула голову к дверям своего подъезда и коротко, сдавленно вскрикнула.

— Что? — быстро спросил Петр, проследив за ее взглядом.

У дверей стоял рослый плотный блондин лет тридцати пяти. Правая рука его покоилась на массивном набалдашнике трости. В левой руке блондин держал непрезентабельный пластмассовый стаканчик, из которого периодически отхлебывал.

— Дима... — ошеломленно протянула Нина, выбираясь из машины. — Петя, это мой муж.

Значит, это ее муж. Ну да, такой... представительный господин. Комильфо. Все при нем. С тростью, надо же! Денди. Как денди лондонский... Нет, рожа, пожалуй, простовата для денди-то, на Лондон Дима не тянет — рожа неглупая, смазливая даже, но простецкая, русопятая.

Петр решительно выбрался из машины вслед за Ниной.

— Надо же, с тростью, — пробормотал он, идя рядом с Ниной, спешащей к благоверному. — А как насчет манишки? Цилиндра? Шлафрока?

— Он хромает, поэтому трость... — Нина подошла к мужу. Обнять его не обнимешь, у него в руке стакан с горячим, дымящимся на морозце кофе. Нина ограничилась тем, что осторожно чмокнула мужа в щеку. — Дима! Почему ты не сообщил? Я бы встретила... И почему ты вернулся так рано? А Ирка? Она тоже вернулась?

Дима покачал головой. На Нину он и не взглянул — он пристально рассматривал ее спутника, впрочем, сохраняя при этом абсолютную невозмутимость. Как денди лондонский... Он сверлил Петра немигающим взглядом, прихлебывая кофе.

— Это Петр, — как можно естественней произнесла Нина. — Познакомься, пожалуйста. Познакомьтесь. Петр. Дмитрий.

Петр протянул Диме руку. Дима не выказал ни малейшей готовности пожать ее. Правой рукой он по-прежнему опирался на трость, а левой сжимал стаканчик.

— А почему ты на улице? Холодно ведь, — почти заискивающе пробормотала Нина, все еще пытаясь удержать ситуацию в рамках непринужденного «все хорошо, у нас ничего не случилось». — Что это за кофе у тебя?

Петр помрачнел и сунул руку в карман. Его оскорбили. Надо бы развернуться — и в машину. Но нет, он не мог сейчас оставить Нину наедине с этим типом, будь он хоть трижды ее муж.

— Кофе? — Дима наконец-то взглянул на жену. — Это консьержка мне носит. Для сугреву. Чашку за чашкой. Чтобы я не околел на морозе. Я ведь тут, Нина, полночи торчу. И все утро.

— Зачем? — изумилась Нина. — Ты что, не можешь войти в дом? У тебя ведь есть ключи.

Дима снова уставился на Петра. Да, Дима выглядел невозмутимым, но при ближайшем рассмотрении его ледяная невозмутимость оказалась ледяной яростью. Еще минута — будет взрыв.

— В дом? Я мог войти в дом. — Дима, не сводя глаз с Петра, криво ухмыльнулся. — Но тогда я проворонил бы твоего любовничка.

— Дима! — протестующе крикнула Нина.

Все. Вот он, взрыв.

— Выбирайте выражения! — процедил Петр.

— А так, видишь, я поступил прозорливо. — Дима повысил голос. — Я вас застукал. Не зря я тут мерз!

— Замолчите, вы! — рявкнул Петр.

Он сделал шаг к Диме. Нина встала между ними:

— Не надо! Петя, у него — нога, он хромает.

— Не зря я, значит, сорвался, прилетел! — Зажав трость под мышкой, Дима попытался дотянуться до Петра через Нинину голову. — Я же чувствовал... Знал! Чем ты тут...

— Замолчите! — повторил Петр.

— ... без меня... занимаешься!

— Вы меня не испытывайте! — Петру все труднее было себя сдерживать. — Я не посмотрю, что вы увечный, я могу и врезать!

— Петя, уезжай, — молила Нина, пытаясь оттеснить Петра к машине. — Уезжай, пожалуйста... Мы сами...

— Ну давай, врежь! — Дима отшвырнул Нину в сторону.

Нина отлетела к скамейке, едва удержавшись на ногах.

А вон и зрители. Благодарные зрители, нашего брата, нашу сестру хлебом не корми — дай

поглазеть на чужую свару. Человек семь собралось, вон еще двое остановились...

— Не трогай ее, ты! — Петр сдерживался из последних сил. — Был бы ты на обеих ногах, сволочь!

— Ишь, какой добрый! — И Дима выплеснул ему в лицо остатки кофе, смял стаканчик в лепешку, швырнул комком сплюсненной пластмассы в Петра. — А теперь? Ну?

— Не смей! — остервенелое выкрикнула Нина, снова бросившись к ним, оттаскивая Петра от Димы. — Что ты делаешь, Дима? Сдурел совсем?!

Нина отталкивала Петра к машине:

— Уезжай, я тебя прошу. Мы сами разберемся.

Сбрендели... У обоих — багровые рожи, оба всклокочены, оба похожи на сцепившихся петухов. «Петя, уезжай!.. Дима, домой идем, смотрите!..» Как они глупеют всегда, когда дерутся, сразу просыпается в них что-то вздорное, нелепое, жалкое, детское...

Нина втокнула Диму в подъезд. Немыслимая задача — попытаться справиться со здоровенным разъяренным детиной, да еще помнить все время о том, что у него больная нога, в ноге — штырь, нужно быть осторожной, не привести бог причинить ему боль.

— Спала с ним? — орал Дима. — Спишь с ним, дрянь? Шлюха!

Обезумел. У кого она видела такие безумные, остановившиеся глаза? Совсем недавно... Проскурин. У Проскурина такие же были. Что ж они, все с ума сходят, один за другим?

Не отвечая на оскорбления, Нина толкала мужа к лифту, краем глаза отмечая, что консьержка тащится следом. Ты ему тут, конечно, такого обо мне наплела, сволочь старая, все ему выложила, времени на это было предостаточно.

— Нина! — Петр ворвался в холл. — Нина, я здесь. Я тебя с ним, с таким, не оставлю.

— Уезжа-а-ай! — простонала Нина. — Что, на колени встать? Мы сами...

Дима повернулся к Петру и спросил отрывисто:

— Когда? Где? Нужно поговорить. Не находишь?

Нина уже доволокла благоверного до лифта, он то и дело отталкивал ее руки, все норовя повернуться к Петру, договорить, всласть помахать кулаками. Петушина дурь, помрачение мозгов, тоже мне Отелло! Кто бы мог подумать, что Дима может вот так голову потерять от ревности?

Просто ты ему раньше повода не давала.

— Уезжай немедленно, слышишь? — снова крикнула Нина Петру.

— Где? — рявкнул Дима.

— Восемь вечера, — отчеканил Петр. — Кулинария на Покровке. Черный ход.

— А-а-а... — Дима закатился ядовитым, язвительным, истерическим хохотком и уставился на Нину. — Это как, графиня? Грузчика себе нашла? Кулинара? Ну ты даешь, ваша светлость! Низко же ты пала! Мезальянс...

Нина впихнула его в кабину лифта. Последнее, что она успела увидеть перед тем, как закрылись дверцы, — бледное, растерянное, злое лицо своего Солдатова, ребром ладони стирающего кофейные потеки со впалой щеки.

Мальчишки делали уроки. У каждого был свой стол, Петр сам сконструировал и сколотил эти складные удобные столы-парты.

Стол, сделанный им для Нинино сына, еще пах свежеструганным деревом и лаком. Во-

вка ерзал на стуле, пыхтел, горбился над тетрадкой.

— Не сутулься, — мягко сказал Петр. — И повнимательней, Володя. — Петр звал его Володей. Вова — то еще имечко, кто его придумал вообще? Вова, Вава — что-то мелкое, скользкое, стесанное, как обмылок. — Вот здесь — предложенный падеж, а не винительный.

Вовка вспыхнул, нахохлился. Резко, размашисто перечеркнул все двумя жирными чертами крест-накрест.

Самолюбивый, упрямый, вспыльчивый. Нинин характер. Петр ободряюще похлопал его по плечу, отошел в сторону, чтобы не мешать. Нинин характер, и похож на мать — темно-русый, серые глаза, узкие скулы. Петр смотрел на Вовку с какой-то печальной нежностью. Петр успел к нему привыкнуть, привязаться.

Не нужно было привыкать, нельзя было. Теперь придет этот колченогий истерик, заберет Вовку так же, как только что забрал Нину. Имеет право. Муж и отец. Отчим. Не важно. Главное — муж. А ты кто? Случайный знакомый?

— Папа, я закончил, — с облегчением объявил старший сын, закрывая тетрадь. — Проверь.

— Попозже, — откликнулся Петр.

Тупая тоска и тревога точили его, не отпуская ни на минуту. Весь этот день, с того самого момента, когда Нина исчезла за дверцами лифта, весь этот день, вот уже четвертый час кряду, — тоска и тревога. Тоска и смятение.

Петр вышел из комнаты. Снял телефонную трубку. Что он ей скажет? Потом, ему наверняка ответит этот долбаный Дима. Они все равно увидятся вечером, они еще поговорят.

Телефон зазвонил, Петр вздрогнул. Может быть, это Нина? Он схватил трубку и услышал испуганный голос продавщицы Нади:

— Петя, ты можешь сейчас прийти?

— Мне же к восьми, — возразил Петр.

— Петя, это срочно, это важно, слышишь? Тебя Ефимыч ждет.

— Ладно.

Петр положил трубку. Что там еще стряслось, подменить, что ли, нужно кого? Из него сейчас работник — аховый, грузчик — нулевой, он не спал всю ночь, до утра просидел с этим Проскуриным, разговор был тяжкий, трудный, изматывающий.

Надо позвонить Проскурину. Петр нашел в кармане куртки клочок бумажки с телефонным номером этого горе-самострельщика, нужно позвонить, поговорить ни о чем, о пустяках, о погоде. Вообще нужно звонить ему теперь. Вряд ли это ему поможет, но все же...

— Петя, зайди ко мне!

Отец. Сумасшедший дом! У мальчишек уроки не проверены... Голова раскалывается... И Нина — шилом в мозг.

— Папа, я бегу. — Петр заглянул в комнату старшего Солдатова. — У меня ни минуты... Это что за маскарад?!

Старик сидел за своим любимым двухтумбовым столом, таким же древним, как и его хозяин. Очки с расшатанными дужками то и дело сползали у него с носа, он поправлял их указательным пальцем, сосредоточенно уставясь в амбарный талмуд. Рядом лежали бухгалтерские счета. Откуда он извлек эту рухлядь на свет божий? А нарукавники?! С ума сойти, старик нацепил черные сатиновые нарукавники. Где он их взял, может, сшил за ночь?

— Папа, ты что, сшил их, что ли? — хмыкнул Петр. — Их еще до военного коммунизма отменили.

— А у нас, Петя, снова военный коммунизм, — отпарировал старик, оглушительно, с плохо скрываемым удовольствием щелкая облезлыми деревянными костяшками счетов. — Я составляю бюджет на следующий месяц. В режиме жесткой экономии.

— Это что, намек? — спросил Петр. — Какая экономия, зачем? Это ты намекаешь на то, что я два дня не работал? Ну, так сложились обстоятельства. Я наверстаю. Восполню. Никакой экономии, слышишь?!

Это все скрытый стариковский вызов. Маскарадные нарукавники, дурацкие счета...

— Я практически полностью исключаю из рациона сливочное масло. — Старик снова шарахнул по гремящим костяшкам. — Объявляю войну холестерину. И сэкономим изрядно, и...

— Если ты объявляешь войну — я тут же объявляю капитуляцию. Кто у нас верховный главнокомандующий — ты или я?

— Я ведь все понимаю, — вздохнул отец. — Я понимаю. Но я хочу тебя предупредить...

Петр привалился затылком к дверному косяку. Кончится эта пытка когда-нибудь или нет?!

— Она яркая, она ни на кого не похожа, эта твоя... Нина. Но, Петя, есть такой сорт женщин...

— Сорт — это про помидоры.

— Хорошо, не лови меня на слове. Категория. Категория женщин. Женщина-проблема. Вот так бы я обозначил. Женщина, поминутно создающая проблемы себе, близким, чужим — постоянно! Понимаешь?

— Это не про нее.

— Это про нее. Она сама их решает, кстати. Она, судя по всему, замечательно справляется с собственными проблемами. Но уже через ми-

нугу после этого она создает новую. Она иначе не может.

— Ничего, — глухо возразил Петр. — Зато с ней не скучно.

— У тебя — дети! — Отец повысил голос. — «Не скучно»! На авантюры его потянуло на пятом десятке! У тебя сыновья. Ты один у них. Помни об этом!

— Я об этом никогда не забывал, — отчеканил Петр. — Ты знаешь. И я спешу. Прости.

Он вошел в свой магазин с черного хода. Продавщица Надя, по всей видимости караулившая Петра у дверей, схватила его за руку, потащила к главному бухгалтеру, Ефимычу, перепуганно треща:

— Петя, тут такое было! Директору звонили на счет тебя. А он и знать не знал, что ты у нас работаешь, ты же грузчик, тебя Ефимыч пристроил.

— Не части, — оборвал ее Петр. Он уже понял — хорошего мало. Выгонят. Да, но за что?

— Ой, Петя, что там был за разговор — неизвестно, но директор зама вызвал, орал: «Кто его взял? Кого вы берете?» Петя, кому ты так насолил-то? Крутым каким-то, да?

Петр смолчал, толкнул дверь в кабинетик главного бухгалтера. Петр был его протеже, Ефимыч, сосед Петра по лестничной площадке, пристроил его в магазин полгода назад.

Ефимыч, маленький лысый живчик, стоял посреди комнаты, вяло распекал за какие-то грехи дородную заводу делом.

— Ты меня без ножа режешь! — завопил Ефимыч, увидев вошедшего Петра, прервав свою разборку на полуслове. — Ты че натворил-то? С кем ты там подрался? Ты че, хочешь, чтобы меня из-за тебя поперли отсюда?

— А в чем дело? — хмуро перебил его Петр. — Вы мне внятно объясните, в чем, собственно...

— Кто бы мне объяснил самому! Звоночек был. Круто на тебя наехали, заодно и на лавку нашу. Уж я не знаю, чего там, грозили они или как, и кто такие — не знаю, только директор потом вопил, трясся, жрал валерьяновый корень.

— Ладно, я понял, — сказал Петр и бросил угрюмый взгляд на старенький, перебинтованный изолянтной телефонный аппарат главного бухгалтера.

— Ты, может, и понял, а я вот ничего понять не могу, Петя. И меня под нож подставил. Зам дознался, кто тебя на работу к нам присоветовал, полчаса на меня орал: «Ты кого берешь? Сам отсюда вылетишь пулей!» — Ефимыч, устав причитывать, умолк, отдышался. — Короче, Петя, прости, но давай топай в кадры, забирай свою трудовую.

— Ладно, — кивнул Петр. — Я позвонить от тебя могу? Я быстро. Это срочно.

— Звони. — Ефимыч достал из кармана носовой платок, трубно высморкался. — Петр, ты зла на меня не держи, я же...

— Олег! — крикнул Петр в трубку как можно веселей. — Это Петр. Да. Да... Ты как там? Я тебе утром звонил, никто не... Спал? Вот это правильно. Я тоже сейчас на боковую... А?... Слышно плохо... Ну да, далеко... Ты как? Не слышу! Ремень ищешь? Что? Я, думаешь, забрал? А-а... — Петр помолчал, слушая Олега. Коротко рассмеялся. — Ну, тогда я должен был бы стянуть у тебя еще и галстуки, шнурки и подтяжки. В качестве профилактики... — Петр запнулся, покосился на Ефимыча и завоцделом. Черт с ними, они таких слов не знают. — ...суицида. Не носишь галстуки? Правильно. Я тоже не ношу.

Ефимыч и его напарница взирали на Петра с недоумением. Мужичу объявили о том, что он потерял работу, а он, вместо того чтобы умолять-просить-грозить, звонит какому-то Олегу, базарит с ним про галстуки-подтяжки... Странно. Ну, да он вообще с приветом, этот Солдатов.

— Ага. Ага! — кричал Петр. — Ладно. Ты тоже звони. А?.. Приеду. Чего ж не приехать?.. Звони. Пока. — Он положил трубку и направился к двери.

— Петь, ты на меня не серчай, — сказал Ефимыч ему в спину. — Ты меня пойми. Под самым землей горит! Я тебе зарплату на месяц вперед выпишу, слышишь?

Петр захлопнул за собой дверь, не оглянувшись.

Он поймал на себе осуждающий взгляд какой-то старушенции. Чего это она?.. А, понятно. Петра шатает из стороны в сторону. Старушенция решила — пьян.

Нет, я не пьян, божий одуванчик. Я не пьян, хотя впору напиться. Я не пьян. Это меня от усталости ноги не держат.

Петр снова шел бульваром, мимо катка. Слепящее солнце, веселый галдеж. Завтра достанем с антресолей коньки, приведем их в порядок. И Вовку возьмем, и старика выгачим — побродить, поглазеть, подышать морозным воздухом.

Работу всегда можно найти. Без работы Петр не останется.

Нина. Надо позвонить Нине. Если этот сукин сын Дима одурел до такой степени, что вышиб его, Петра, из лабаза, то что он сделал с женой? Позвонить. Не даст с ней поговорить — идти туда, стучать в двери...

Петр уже брел через свой двор к дому. Солнце било в глаза, воспаленные от бессонницы и напряжения.

— Погоди!

Вот он, скот. Выскочил из машины, стоящей неподалеку, и решительно направился к Петру. Прихрамывает. Повезло тебе, хромтылю, был бы не увечный — уж я бы тебе врезал! Петр остановился, утрюмо глядя на приближающегося Диму.

— Шеф, я нужен? — Еще один детина, помоложе, повыше, пошире Димы, выбрался из машины вслед за хозяином.

Дима сделал охраннику знак рукой — дескать, сиди в машине, не мешай. Подошел к Петру вплотную.

Они помолчали. Молча смотрели друг на друга — они были одного роста — глаза в глаза. Ледяная ненависть — это Дима. Спокойное жесткое упорство — Петр. Никто никому уступать не собирался.

— Где мой сын? — нарушил наконец молчание Дима. — Выведи его сюда. Быстро.

— Ты мне не приказывай. Ты как узнал мой адрес?

Нина адрес ему не давала, почему-то Петр был в этом уверен.

— Посетил твое заведение.

— Это я уже понял.

— Понятливый. Если от моей жены не отвяжешься — и вторую свою работенку потеряешь. Я там подраспросил кой-кого. Побеседовал с трудовым коллективом, навел о тебе справки. Давай выводите мне парня по-быстрому.

— Мне его твоя жена доверила. Вот с ней я и буду разговаривать. Только с ней. — Вмазать бы ему сейчас, руки чешутся! Нельзя. Хромой.

Нельзя, держи себя в узде, Солдатов. — Только с Ниной. А тебя я не знаю. И знать не хочу.

Петр открыл дверь подъезда.

— Нину ты больше не увидишь. Она тебя видеть не хочет, — процедил этот гад ему в спину. — Ты ей осточертел.

— Да? — Петр оглянулся. Переспросил с усмешкой: — Осточертел? Что ж ты тогда требуешь, чтобы я от нее отстал? Если она сама меня видеть не желает?

Дима отшвырнул свою роскошную трость в сторону, в грязный истоптанный снег. Схватил Петра за грудки и прорычал:

— Отстань от нее, ты! Я тебя убью, ты-ы... Я ее никому не отдам, ты понял? Понял?!

Дикая решимость безумца. Может и убить. Может. Способен.

Вон какие страсти бродят в этом сытом, холемом господине!

— Спал с ней? У вас было что-то, да? Было? Говори! — Теперь он жалок, уязвим, и глаза у него беспомощные, больные, страдальческие. — Отдай сына! Отстань от нее, ты!.. Я тебе кадык вырву, по стенке размажу...

Петр оттолкнул Диму от себя, но не рассчитал — слишком сильно толкнул. Дима качнулся, устоял на ногах, схватился за правое колено, скривившись от боли. Охранник мгновенно выскочил из машины:

— Шеф, я здесь!

— Владик, сгинь! — рявкнул Дима, растирая колено.

Петр смотрел на него со смешанным чувством гадливой жалости и злости. Поднял палку, протянул.

— У тебя было с ней? — прохрипел Дима. — Было?

Петр молча воткнул в снег Димину трость с шикарным набалдашником — лев, положивший голову на мощные широкие лапы. Так же молча вошел в подъезд и захлопнул за собой дверь.

Дверь в квартиру была заперта изнутри на цепочку. Петр позвонил.

— Папа, это я!

Старик долго и бестолково снимал цепочку с крючка. Руки его тряслись больше обычного.

— Нина звонила? — спросил Петр, войдя.

— Нет, — ответил старик. — Зато приходил ее муж. Требовал, чтобы я отдал ему Владими-
ра. Я не отдал.

— Молодец.

Петр набрал Нинин номер. Длинные гудки. Он сосредоточенно, напряженно вслушивался в их звучание, словно пытаясь угадать, что там за ними, за этими монотонными, бесстрастными, протяжными гудками.

— Я разговаривал с ним через цепочку. Был сух. Односложен. Сказал, что Владимир — это твоя компетенция.

— Молодец, — тупо повторил Петр, бросая трубку на рычаг.

Мальчишки высыпали из комнаты.

— Па, так мы идем? — не выдержал старший. — За елкой-то?

— Петя... — Старик понизил голос. — Петя, я тебя прошу, я требую, наконец! — Старик заметно нервничал. — Реши эту проблему. Это становится проблемой. У меня неспокойно на душе. Ты слышишь меня?

— Так мы идем, папа? — спросил младший.

— Я знаю, где базар, — скороговоркой выпалил Вовка. С младшими Солдатовыми он давно был на равных, а Петра еще побаивался, стеснялся, робел. Если и поднимал на него глаза — тут

же отводил их в сторону. — Я знаю. У «Ново-российска».

— Папа! Идем?

— Конечно, идем, — кивнул Петр. — Обязательно идем. Обязательно.

Нина прислушалась. Звук ключа, проворачиваемого в замочной скважине. Кто-то открывает входную дверь. Это Дима.

Уже совсем стемнело. Нина сидела на Вовкиной кушетке, забившись в самый угол, подтянув колени к подбородку.

Зачем включать свет? Ее здесь заперли. Свет ей не нужен. Ей вообще ничего не нужно. Она под домашним арестом. Она наказана невесть за какие провинности, наказана, словно она не взрослая тетка сорока лет, мать двоих детей, вышедшее и те де и те пе... Она наказана, как двоечница-второгодница.

Спасибо, в угол не поставил. Молча втолкнул в детскую, запер на ключ, ушел из дому, хлопнул входной дверью что есть мочи.

Теперь, похоже, вернулся. Шаги в прихожей. Нина вытерла слезы. Она будет молчать. Если Дима надеется на то, что она будет молить его о пощаде, колотить в дверь, требовать, чтобы он ее отсюда выпустил, — он ошибается. Она будет молчать.

Вот теперь он подошел к двери в детскую... Прислушался. Слышно даже, как он шумно, прерывисто дышит.

Господи, какая дикость! Кто бы мог подумать, взрослые цивилизованные люди, а он ведет себя, как неандерталец, как мелкий деспот, как дремучий бесноватый вождь какого-нибудь карликового племени. Карликовый вождь, вот он кто.

А ты прожила с ним год, казалось бы, знала о нем все, до донышка! Ничего ты, Нина, о нем не знала.

Самое необъяснимое, самое дикое — тебе даже сейчас его жалко.

Отошел от двери. Шаги удаляются...

Даже сейчас ты готова его понять и простить. Ему худо. Его гложут ревность, досада, злость. Он потерял голову от ревности. Бедный Дима.

Ну давай, давай, пожалей его, дура набитая! Вот он опять подходит к двери в твою одиночку. Сейчас он войдет и набросится на тебя с кулаками. Он тебя будет бить, а ты его будешь жалеть. Замечательный расклад.

— Нина Николаевна! Как вы там?

Это не Дима. А кто? Такой знакомый голос...

— Вы не проголодались? Вам... Может быть, вам нужно выйти?

Владик! Это же бывший Димин охранник Владик!

Нина кубарем слетела с Вовкиной кушетки, забарабанила в дверь:

— Владик, открой! Выпусти меня отсюда немедленно!

— Вообще-то Дмитрий Андреич не велел. — Ему стыдно, голос заискивающий, оправдывающийся. — Он велел вас покормить — и обратно.

— Покормить? Обратно? — Нина задохнулась от возмущения. Ударила в дверь кулаком. — Я ему что — собака? Ну, он спятил, а ты-то чего? Не стыдно?

— У меня ключа нет.

— Ты хоть врал бы умнее! А как ты меня кормить собирался? В замочную скважину сухие макароны будешь проталкивать, так, что ли?

Владик отрывисто рассмеялся: наверное, представил себе, как он осторожно просовывает макаронину в узкое отверстие. Он рассмеялся и открыл дверь.

Нина выскочила из своего узилища, зареванная, растрепанная, словно фурия. На Владика она и не взглянула. Не мешкая ни минуты, метнулась в прихожую.

— Куда вы? — Владик поплелся следом, сокрушенно бормоча: — Он не велел вас выпускать...

— Выпускать! Я ему не собака! Где моя шуба? Где мои сапоги? Где все, черт подери?!

— Он меня убьет, убьет, — причитал Владик. Он бестолково топтался в прихожей, пытаясь помочь Нине отыскать ее вещи.

— Не скули. Ты у него больше не служишь. Он тебе никто.

— Не служу, — согласился Владик. — Но я ему... — Он запнулся, залился краской, но все же выговорил: — Я ему предан.

— «Предан»! — зло передразнила его Нина. Она пошла в гостиную — заперто. Все комнаты, все двери заперты! — Тоже слово какое-то собачье... Почему он запер все?

— Он ваши вещи спрятал, наверное, — догадался Владик. — На тот случай, если я вас выпущу. Он же знает, что я сломаюсь и выпущу. А вы уйти захотите.

Нина сдавленно застонала и, подавив бесильную ярость, ударила в запертую дверь кулаком и ногой. Скотина! Понавешал замков! Она была против этих дурацких замков на дверях. Что за мадридский двор, у нас — дом, мы родные люди, чего друг от друга запирается-то? Тогда уж лучше жить порознь.

Ладно, она пойдет в чем есть. Джинсы, джемпер, домашние туфли без задников. Сколько там, градусов пятнадцать? Если не околеет — дойдет.

— Куда? — ахнул Владик.

Нина уже открыла входную дверь.

— Я сына не видела неделю! Пусти, это рядом.

— Не пущу, вы замерзнете. Он меня убьет!

— Ну, так уходи отсюда! Что ты здесь вообще делаешь? Что ты ему служишь? У тебя давно другой хозяин! — Нина наконец пригляделась к бывшему Диминому бодигарду повнимательней. Какой-то он другой теперь. Похудел, осунулся. И взгляд... Взгляд стал другим: прячет глаза, что-то в них теперь суетливое, неприятное. — Ты работу-то нашел, Владик?

— Нашел. — Охранник снял с себя куртку, набросил Нине на плечи — Нина утонула в ней, громоздкой, просторной, размеров на пять больше, чем нужно.

— Охраняешь кого-нибудь?

— Это от меня... охраняют, — признался Владик с внезапно прорвавшейся искренностью. И, тут же пожалев об этом, поспешно добавил: — Я вас довезу. Хотя он меня и убьет. Пойдемте, такси возьмем. Он мою машину забрал, я не на...

— Сиди здесь, — оборвала его Нина.

Нина неслась по Покровке, придерживая окоченевшими руками широкий воротник куртки, сводя отвороты у горла. Холодно. Было бы еще холоднее — спасибо Владiku. Бедный Владик, достанется ему от Димы! А тебе? А что Дима делает с тобой, когда ты вернешься? Лучше об этом не думать.

Она поскользнулась, упала. Вскочила, подбрав слетевшую с ноги туфлю.

— Рано башмачок теряете, мадам! — Какой-то подвыпивший прохожий весело подмигнул Нине. — Еще полтора часа до полуночи.

— Я из другой сказки, — отмахнулась Нина.

Бегом, бегом, торопись! Вот и Покровские ворота. Хмельная компания стоит невдалеке, оглядели Нину с ног до головы, хорошо. Удержались от резюме. До чего мерзнут ноги, пятки особенно! Если душа уйдет в пятки — душа тоже заледенеет. Как у бедного мальчика из «Снежной королевы»... Нина, ты из другой сказки.

Вот и Подсосенский. Дверь. Подъезд. Лифт.

На лестничной площадке валяются еловые иглы. Он елку купил!

Нина осторожно позвонила в дверь. Ей открыл старик. Молча впустил ее в квартиру. Он был в длинном халате, подпоясанном шнурком с кисточками. Смешно — как старосветский помещик.

— Я Вовку повидать, — сказала Нина, с трудом переводя дыхание.

Старик взглянул на ее дурацкую куртку, на шлепанцы.

— Могу предложить таз с горячей водой. — Даже прозаическое слово «таз» в его устах звучало величественно и значительно.

— Не нужно, спасибо. Я бегом бежала, не успела замерзнуть. Можно я...

Петр Андреевич приложил палец к губам, и Нина испуганно умолкла. Затем он кивнул ей на дверь своей комнаты, приглашая зайти. Нина пошла за ним, наступая на еловые иголки и шепча:

— Мальчики спят? Петя дома?

В комнате старик опустился в кресло, царственным жестом указав Нине на соседнее.

Нина послушно села. Она немного побаивалась старшего Солдатова, но чувство опаски соединялось в ней с теплой, слегка насмешливой снисходительностью. Как это у Чехова? «Вишый барин». Всю жизнь оттрубил на советских хлебах, на ниве доблестного Совета профсоюзов... А хлеба, между прочим, тучные, нива — благодатная. Был советский служака, зато теперь — русский барин, белая кость, вон у него портретики Николая и Александра в золоченых рамочках, иконки, образа, лампадка...

И смотрит он на Нину надменно, свысока. Постукивает костяшками пальцев по облезлым подлокотникам кресла. Ладно, это игра, невинная старческая дурь. Вольно тебе на склоне лет в эрцгерцога Бранденбургского рядиться — рядись. Знал бы ты, старче, что и я — не «...понаехали тут». Я, между прочим, Шереметева.

Все, хватит, сама хороша, в самой сейчас высокородная спесь играет.

— Петя дома? — решилась наконец Нина нарушить молчание. Ей хотелось поскорее увидеть Вовку, пусть и спящего. Ей хотелось поскорее увидеть Петра.

— Дома, — ответил старик. — Он в гостиной елку устанавливает. Я вас не задержу, пару минут послушайте старика. Я...

Он умолк, и вся его спесь улетучилась разом. Он хотел сказать Нине что-то очень важное, это было очевидно. Хотел и не знал, как начать. Суетливо и нервно мял пальцами растрепанные кисточки на поясе своего халата.

— Нина, — произнес он наконец, — я уверен, что Петя вам ничего не рассказывал о... О своей покойной жене. Я уверен, потому что он об

этом молчит — всегда и со всеми. Не рассказывал, я прав?

Нина растерянно кивнула. А зачем ей это знать? К чему этот тяжелый разговор? Она не хочет об этом знать, она хочет поцеловать спящего сына, она хочет увидеть Петра.

— Он ее очень любил. Очень сильно. Она погибла на его глазах. Автомобильная авария. Она была за рулем, Петр сидел рядом...

— Мой муж тоже... попал в аварию, — пробормотала Нина. — Совпадение...

— Меня меньше всего интересует ваш муж! — раздраженно перебил ее старик. — Мне важно знать другое. Насколько серьезно вы относитесь...

Сейчас он оборвет эти несчастные кисточки, безжалостно терзая их от волнения.

— ...к моему сыну. Я должен это знать. Потому что мой сын относится к вам очень серьезно.

— Он это сам вам сказал? Сам?

— Он ничего мне не говорил. Плохо же вы его знаете!

— Наверное, плохо.

— Зато я знаю его лучше, чем самого себя. Он мой сын. Я его знаю. Я знаю, что он относится к вам очень серьезно. Вы первая женщина, которой было позволено войти в наш дом после смерти его жены. Он вдовец, но не анахорет, разумеется... Но ни одна из его женщин не переступала порога нашего дома.

Старик произнес эту тираду торжественно, как заклинание. Нина подавленно молчала.

— Он относится к вам очень серьезно, — повторил старик. — Скажите мне, Нина... Вы можете ответить ему тем же?

Нина по-прежнему молчала, глядя на портреты самодержцев в золоченых рамочках.

— Ладно, — разочарованно произнес старик. — Что я вас мучаю, в самом деле! Идите.

Он прикрыл глаза. Аудиенция окончена.

Нина вышла в сумрачный коридор, усыпанный иголками... Какой молодец, купил елку!

Она открыла дверь в детскую и, стараясь не хлопать шлепанцами, вошла. Старший младший Солдатов спал на боку, младший младший зарылся с головой под одеяло.

Вовка. Нина опустилась на колени у его кровати. Огромная неуклюжая куртка экс-охранника Владика мешала ей, сковывала движения. Сын спал. Ровное дыхание, спокойно сомкнутые веки. Нина дотронулась губами до его руки и щеки. Как она перед ним виновата! Бедный мой Вовка, сирота при живой матери. Нет, не плакать, нельзя плакать, Нина, не смей!

Нина осторожно поцеловала спящего сына. Вовка вздохнул во сне, повернулся к стене, сбив одеяло к ногам. Нина торопливо поднялась, поправила ему одеяло, подтолкнула со всех сторон. Нужно уходить, а то вдруг проснется?

Она снова вышла в коридор, открыла дверь в гостиную.

Елка! Огромная, пушистая, такая... основательная. О человеке сказали бы — ширококостная. Ну, не широколапая же? Хотя почему нет?

Петр привалил елку к стене, выдвинув стол на середину комнаты и освободив для нее угол. На ковре — деревянная крестовина, коробка с ватой — это чтобы утыкать ею изножие... Вата. Блестки, старенький Дед Мороз из папье-маше...

А где он сам-то, Петр?

Нина обошла стол справа, снимая с плеч эту жуткую Владикову хламиду.

Петр полулежал на полу, на ковре, усеянном зелеными еловыми иглами и яркими пятнышками прошлогоднего конфетти. Он полусидел-полулежал в неловкой позе, привалившись плечами и затылком к дивану. Глаза его были закрыты. Наверное, он только что задремал, сморило его, бедного. Немудрено, тут и стоя заснешь. Он так вымотался, столько пережил за эти сутки...

Он устал. Он выбился из сил, устал, уснул, бедный оловянный Солдатов.

Тихо, бесшумно, крадучись... К нему, вот сюда, рядом с ним... Я тоже устала.

Я тоже стойкая, но я тоже устала.

Нина опустилась на ковер рядом с Петром, повторив в точности его позу, привалившись затылком к мягкому диванному сиденью. Он совсем рядом, вот он. Нина помедлила — и решилась. Положила голову ему на плечо, коснулась щекой тихо, так, чтобы он не проснулся. Теперь он совсем близко, рядом его подбородок, сомкнутые губы, резкие крылья крупного носа.

Спи, оловянный. Я тоже оловянная. Я — стойкая оловянная принцесса на бобах.

Спи. Как тихо! Пестрый бумажный сор прилип к ногам — конфетти, серебристые нити серпантина, блестки... Мы купим новые. Кто это «мы»?

На соседней улице мечется по пустой квартире твой разъяренный муж.

Кто «мы»? Тепло его плеча, впалая смуглая щека, а твоя щека, Нина, — у растянутого ворота его рубашки. Верхняя пуговица вот-вот оборвется... Надо пришить.

А Дима?

«Петр относится к вам очень серьезно. А вы, Нина? Вы можете ответить ему тем же?»

Могу. Да, могу. Хочу. Я могу ответить ему тем же.

А Дима?

Петр проснулся, открыл глаза. Увидев Нину, не удивился. Не сказав ни слова, притянул ее к себе, обнял. Ничего не говоря, ничему не удивляясь, целуя ее, как будто так было всегда, из года в год, изо дня в день, — Петр открывает глаза, он просыпается, а Нина — рядом, она не спит, смотрит на него, знает, что он сейчас обнимет ее левой рукой, пытаясь правой дотянуться до подушки, лежащей в углу дивана.

— Знаешь, что это за стул?

— Стул?

— Вон тот, на который приземлились твои... как бы это...

— Я поняла. Я вспомнила. — Нина вгляделась, привстав. — Даже странно, что я вспомнила. Это было так давно!

Ее первый, нескладный, скомканный поспешным уходом визит сюда, в этот дом. Вечер. Запах гари, подгорающий пирог. «Вы из поликлиники?» — «Нет». — «Тогда будем чай пить». И Петр повел ее в прихожую раздеваться, а младшие Солдатовы пронесли мимо них, на кухню, волоча туда тяжелый старинный стул с высокой резной спинкой.

— Я вспомнила: ты сказал, что это какой-то старинный стул с секретом. Для тех, кто впервые приходит в ваш дом.

— И ты еще предположила, помнится, что там горошина в сиденье, под обивкой.

Надо же, не забыл! Так давно это было, такая мелочь, несколько слов. А вот не забыл, помнит.

Значит, она тогда уже была для него не просто случайной гостьей. Она сразу, с самого на-

чала, была для него не случайной. Иначе бы он не запомнил.

Ладно тебе, Нина! Может быть, у него просто память хорошая. Стойкая.

— А теперь не поздно? Не поздно узнать, что там за секрет? Я понимаю, нарушена чистота эксперимента, но все же...

И Нина, обмотав себя простыней до плеч, встала... Добрела до этого стула, натываясь то на стол, выдвинутый на середину комнаты, то на деревянную елочную крестовину. Присела на краешек стула, по-ученически сложив руки на коленях.

— Ну, что надо делать?

Петр не отвечал, смотрел на нее молча.

Ну, смотри, смотри. Уж какая есть. Сажу в простыне, с голыми плечами, плечи — еще ничего, вполне красивые плечи. Справа — елка, слева — короб с елочными игрушками. Ну, и я, уж такая, какая есть. Снегурочка-перестарок.

— Что ты молчишь?

— Любуюсь.

— Хватит издеваться! Что я должна делать?

— Там справа, за спинкой — ты руку протяни, — книжечка за шнурок привешена. Все очень просто.

За резной спинкой на длинном витом шнуре висел крохотный карманный подарочный томик андерсеновских сказок. Нина взяла его в руки, открыла.

— Все очень просто, — повторил Петр. — Тот, кто приходит к нам впервые, гадает на «Оловянном». Страница с десятой по пятнадцатую. Называй страницу и строчку.

— Понятно. — Нина зачем-то зажмурилась. — Страница тринадцать, седьмая строка сверху.

— Ищи. Читай.

— Вслух?

— Это уж как тебе захочется. — Петр усмехнулся, добавил негромко: — Ну, да я все равно потом найду.

— «Оловянный солдатик пошел было... — бодро начала Нина. Запнувшись, упавшим голосом закончила: — ...Ко дну».

— Та-ак, — протянул Петр. — Радужные у меня перспективы, ничего не скажешь.

Они замолчали. Результат этой бесхитростной детской забавы почему-то по-настоящему, всерьез расстроил обоих. Они молчали и смотрели друг на друга, сидя в полутьме, она — на этом злосчастном стуле, он — на диване.

— Тебе никогда не приходило в голову, что ты выбрал для себя и мальчишек не самую веселую сказку? — спросила Нина наконец.

— Это не я выбирал — они.

— Я сейчас подумала... Наверное, это самая грустная его сказка. Ты помнишь, чем там дело кончается, Петя?

— Помню. У нас все будет иначе.

— Дай-то Бог. — Нина снова поднесла книжку к глазам. — Посмотрим, что здесь дальше... «Оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба». — Нина решительно захлопнула книжечку, перекинула ее через спинку стула. С глаз долой. Усмехнулась, вспомнив. — Между прочим, Дима — Рыба по гороскопу. У него день рождения в марте. Смешно.

— Какой Дима? — Петр нахмурился и встал.

Нина растерянно взглянула на него. Чем-то она его очень задела. Нет, ну понятно чем.

Петр быстро оделся, включил свет и сразу же занялся елкой. На Нину он старался не смотреть.

Это было очень обидно. Это было совсем на него непохоже.

Наконец Петр сказал как о чем-то бесспорном, решенном, не подлежащем обсуждению:

— Про Диму я знаю только одно: утром мы пойдем туда и заберем твои вещи. Твои, твоего сына. Остальное — формальности. Всё.

Нина по-прежнему сидела на стуле, на этом электрическом стуле, обмотанная простыней, растрепанная. Она не знала, что делать, что ответить. Вот уж воистину — никогда мы друг друга не поймем, нечего и пытаться. «Заберем вещи»? «Формальности»?

Это называется — с места в карьер. Ее мужчины не переставали ее удивлять. Она тут же поймала себя на этом «мои мужчины». Вот так. Их двое. И что с ними делать? Для кого-то это норма, но для нее-то...

— Петя... — Нина подошла к нему: он возился с елкой, был сумрачен. — Петя, но мы же взрослые люди...

— Вот как раз поэтому. — Наконец-то он на нее взглянул. Не выдержал, притянул к себе, продолжая другой рукой держать елку за крепкий смолистый ствол. — Как раз потому, что мы — взрослые, более чем, шут его знает, сколько нам еще осталось...

— Скажешь тоже, — перебила его Нина, отодвигая колючие ветки от своих плеч.

— Нам не по двадцать, нам — по сорок, что ж мы будем наше драгоценное время тратить на... Ну, как ты себе это представляешь? Будешь бегать по ночам с Чистопрудного в Подсосенский? Тайком? Как воровка? В шлепанцах на босу ногу? А потом — обратно? Так, что ли?

Петр прижимал ее к себе, говорил быстро, сбивчиво, задыхаясь. Елка нависла над ними, за-

девала ветками их лица и плечи. Нине она казалась живым существом, одушевленным, третьей в разговоре.

— Петя, поставь ее к стене, пожалуйста. Петя, милый, нельзя же так сразу! Дай мне время на...

— Время на что? — Он приставил елку к стене и повернулся к Нине. — Зачем тебе время? Что тебе не ясно? С кем ты хочешь быть — со мной или с ним?

— С тобой. Но ему сейчас плохо. Он сейчас слаб. Ему нужна помощь — моя помощь. Я не могу его бросить. Его и так уже все бросили. Петя, если бы мы с тобой встретились, когда он был в силе, когда он был на коне, — я бы ушла к тебе не задумываясь! Но если я его брошу сейчас — это будет подло. Понимаешь?

Петр молчал. Взгляд его стал жестким и отчужденным. Он никогда прежде не смотрел так на Нину.

— Тогда уходи.

— Что? — почти беззвучно спросила Нина. — «Уходи»?! Как — совсем или...

— Будешь приходить к сыну, но не ко мне. Володя может жить у меня столько, сколько ты сочтешь...

— Я его завтра же заберу, завтра утром, — перебила его Нина.

Вот так. Все только что началось — и тотчас оборвалось, нелепо, дико, бессмысленно. И Нина стоит в этой простыне, с голыми плечами, дура дурой, поделом тебе, идиотке, любви тебе захотелось, защиты, понимания...

— Отвернись! — велела она и принялась торопливо одеваться.

Понимание! Никто никого понимать не хочет, уступать не желает. Все устали, всех вымотала эта скотская жизнь, отняла последние силы. На любовь, на понимание и защиту тоже ведь

нужны силы, еще какие! А их нет. Нужно это признать, нужно с этим смириться.

— Подожди! — Петр схватил Нину за руку.

Она вырвалась, вышла из комнаты.

Петр открыл шкаф, порылся там и вытащил огромные старые валенки.

— Обувайся. Дед в них на подледный лов хаживал в былые времена.

— Ты что, издеваешься надо мной?

— А что я тебе еще могу предложить? Свои ботинки? Давай обувайся. Графиня в валенках — что-то в этом есть, определенно.

— Шуг, — сказала Нина и заплакала.

Петр обнял ее, и валенки Нина надевала на ощупь, не глядя, бестолково водя то одной ступней, то другой по их шершавым, теплым, ветхим бокам. Валенки-валенки, неподшиты, стареньки... По морозу босиком. К милому. Все путалось в бедной Нининой голове — обрывки фраз, слова заготовленной гневной отповеди...

Все спелось в тугой узел. Вот Петр ее обнимает, она плачет, четыре часа утра, здесь, через комнату, спит ее сын, там, через улицу, не спит ее муж. Может, мебель крушит, может, чемоданы с Ниниными вещами за порог выставляет.

Все сплелось в тугой узел.

Казнить нельзя помиловать.

Разрубить нельзя развязать.

Дверь была раскрыта настежь.

Дима сидел в коридоре на полу. Палка валялась рядом.

— Ты упал? — ахнула Нина, склонившись к нему.

Дима поднял на нее мутные глаза. Нет, он не упал. Он намеренно, обдуманно здесь устро-

ился. Если он вообще был сейчас способен делать что-либо обдуманно. Дима был мертвецки пьян.

Увидев на ногах жены валенки, он издал какой-то протяжный горловой звук, и все его большое, тяжелое тело затряслось от хохота. Плечи ходили ходуном, Дима истерически, навзрыд хохотал, глядя на эти допотопные валенки с грубыми косыми заплатами.

Нина молчала.

— Василиса... Блин... Старостиха! — наконец выдавил Дима сквозь смех. Он побагровел, лицо пошло пятнами. — Он что, еще и сторожем тебя? С колотушкой ходит? Истопник?.. А где тулуп? Онучи?

Нина перешагнула через его ноги, сбросила чертовы валенки, стала раздеваться, пальцы не слушались, руки дрожали. Ей было нестерпимо жалко Диму и стыдно перед ним. Мука мученическая, лучше б он ее побил. А он сидит на полу, в стельку пьяный, и хохочет.

— В больших сапогах... — Дима протянул руку и больно сжал Нинину щиколотку. — В полушубке овчинном... Отец, видишь, рубит, а я подвожу...

— Пусти!

— Да мне плевать, — сказал Дима неожиданно спокойно, вполне трезво. — Спи с кем хочешь, хоть с истопником. Мне все равно. Я только хочу понять...

Нина попыталась высвободить ногу, но не тут-то было.

— Вот мне интересно... — Дима все-таки отпустил ее и теперь смотрел на жену снизу вверх пристально и даже почти весело. — Ты объясни мне: как это вы так умеете? Как это у вас так получается? В самый тяжелый для мужика момент

взять и добить его? Одним ударом. Это особый кайф для вас, да?

У Нины перехватило горло. Что она могла ответить? Что в самый тяжелый для него момент она, как могла, ему помогала? И будет помогать? И не ее вина, что так повернулась судьба, судьба сделала резкий, неожиданный, стремительный вольт: осенний бульвар, Нинины слезы, странный старик в светлом пыльнике. «Прочтите вот эту статью». Звонок. Подсосенский. Петр. Всё! Ничего не отыграешь назад, все сложилось так, как сложилось.

— В полушубке овчинном, — пробормотал Дима, с ненавистью глядя на валенки, которые жена аккуратно поставила один к одному.

Нина снова наклонилась к нему, пытаясь помочь ему подняться. Дима с силой оттолкнул ее руки. Нина выпрямилась и отошла в сторону.

Она ни в чем не виновата — и она виновата во всем.

Узел. Разрубить нельзя развязать.

— В лесу раздавался топор дровосека, — тупо уставясь в стену, пробормотал Дима.

Вот именно. Топор дровосека. Несколько минут назад она доказывала Петру, что должна быть с Димой, потому что Диме плохо, ему надо помочь. Хорошо же она ему помогает! Стыд, горечь, смутение, тяжесть вины... Топор дровосека. Разрубить. Нельзя развязать.

— Я буду спать в детской, — сказала Нина. — Ты меня там закрыл, теперь я сама себя там закрою.

Она снова перешагнула через его ноги — через больную и здоровую, вошла в Вовкину комнату и закрыла дверь на ключ, на два оборота.

На следующий день она ехала к Игорю.

Было солнечно, Нина спешила, срезая квадрат старого московского двора по диагонали. Ее обогнал какой-то мужчина, он нес на плече елку, спеленутую узкой бечевой.

Елка... Нина тотчас вспомнила ту, другую, вчерашнюю. Слезы прихлынули к глазам. Нервы ни к черту!

В сумке зазвонил мобильный.

— Да, — сказала Нина и, услышав ненавидимый голос, тотчас забыла про слезы. Их высушила ярость.

— Что ж не звонишь? — вкрадчиво спросил Михалыч. — Сколько будем тянуть-то? Все сроки прошли. Даже нашему ангельскому терпению приходит конец. Мужик твой, знаю, вернулся. Придется с ним потолковать...

— Только попробуй! — крикнула Нина.

Мужчина с елкой, шедший впереди, вздрогнул и оглянулся.

— Только посмей ему звонить! — Впервые Нина говорила своему Счетчику «ты», впервые подняла на него голос. Она его больше не боялась. Она теперь вообще никого и ничего не боялась. Почему? Кто его знает. Наверное, она уже перешагнула ту черту, за которой ничего не страшно. — Только посмей! Охамели совсем! Думаешь, управы на вас не найдется? Посадил меня на оброк, думаешь, конца этому не будет?!

Она махнула рукой мужчине с елкой — иди, не останавливайся, своими силами обойдусь, я научилась рассчитывать только на свои.

— Управа, Нина Николаевна, и на тебя найдись может, — пообещал Михалыч. — На тебя, на мужика твоего, на деток...

— Не пугай! — оборвала его Нина. Кровь стучала в висках, темная волна гнева ударила в голову. — Пугали уже. Помню, не забыла. Деньги свои получишь, сказала — отдам, значит, отдам. Но только ты меня не погоняй! Хватит уже. Приехали.

Взбежав по ступеням крыльца, Нина рванула дверь на себя, кивнула охраннику и стремительно пошла по коридорам улья, все быстрее и быстрее, пока запал решимости и злости не истаял, не выдохся. Она открыла дверь хозяйского кабинета и сказала с порога:

— Здравствуй. Я ухожу.

Игорь говорил по телефону. Он поднял руку: помолчи, я еще не закончил, и кивнул на кресло.

Нина села и перевела дыхание.

Игорь положил трубку.

— Я завалила задание, — сказала Нина. — Я разбила камеру. Я не буду больше у тебя работать. Всё.

Игорь достал сигареты, невозмутимо закурил. Ни один мускул на лице не дрогнул — абсолютная выдержка.

— Сто раз зарекался работать с бальзаковскими, — произнес он наконец, вздохнув. — Покупаюсь на бешеный трудовой энтузиазм. Потом выясняется, что это просто скрытая форма возрастной истерики. Рано или поздно боком выйдет.

— За камеру я тебе заплачу, — сказала Нина. — Ты мне позволишь рассрочку?

— За две камеры. Ладно, первую спишем на издержки производства. Можешь в рассрочку.

— Спасибо.

Нина выжидательно и недоуменно смотрела на Игоря. Ни криков, ни наездов, ни попре-

ков. Ровный бесстрастный голос. Равнодушный, почти сонный взгляд.

— Я могу идти? — спросила Нина.

— Иди. — И он снова снял трубку.

Обидно, три месяца — бок о бок. Ничего себе расставаньице! Зато ты свободна, ты сбросила это ярмо. Еще бы наскрести где-нибудь две штуки, развязаться с долгом и...

— Ты еще здесь? — Игорь повернулся к ней, бросив трубку.

— Я просто хотела тебе сказать... Перед тем как уйти...

— Давай без сантиментов, — поморщился хозяин улья. — Считай, что я помахал тебе вослед платочком. Утер скупую. Всех благ.

— Я все же скажу. Я не смогла, Игорь. Я старалась, я честно пахала, ты же знаешь. Но я больше не могу. Это дело не для меня. Ты прав, я старая, сентиментальная, бальзаковская кляча. Мне всех их жалко — старика из магазина, актера этого... Мне их жалко. Я от стыда сгораю. Я больше не могу.

— Тогда и меня пожалей. — Игорь затушил сигарету. — Меня не хочешь пожалеть? Я, между прочим, доктор наук. Смешно, правда? Литературовед. Ты не знала? У меня диссертация по раннему Достоевскому. Ее на пять языков перевели. Тебе меня не жалко? Меня, сидящего здесь, на этом куске дерьма... — он постучал кулаком по столешнице, — ...со всеми моими степенями, пятью языками, с моими амбициями, с моим Достоевским ранним, кому он, на хрен, нужен теперь?!

— Не скажи, — возразила Нина. — У нас вся жизнь теперь — Достоевский...

— Да, но это Достоевский для бедных! — заорал Игорь и так резко отъехал на своем стуле

к стене, что еще полсантиметра — и ахнулся бы затылком об стену. — По дешевке! Вон, таблички повсюду висят: сейл, рождественская распродажа. Дешевка всё! Наша с тобой жизнь — дешевка. Нормально. Зато продадим быстрее.

— Что продадим? — спросила Нина. — Свою жизнь? Кому?

— Сама знаешь, — буркнул Игорь, выдохшись, и достал новую сигарету.

— Нет, кому, скажи! Дьяволу, что ли? Я не хочу. Я ухожу тогда.

— Да иди ты к такой-то матери, иди! — опять взорвался Игорь. — А я буду клепать это чтиво для бедных, копеечное. Это нормально, это правильно.

— Ты уверен?

— Вот тебе, Нина, цитатка из классика, не ручаюсь за точность воспроизведения... Из Брехта.

— Ну да, ты же все немецкое жалуешь...

— «Хороший вкус нашей интеллигенции всегда проигрывает плохому вкусу нашего народа». Кажется, он добавил: «увы». А я бы сказал: и слава богу.

— Игорь, что для немца хорошо — для русского смерть.

— Иди отсюда, — устало сказал Игорь. — У меня здесь не дискуссионный клуб. У меня грязный, вонючий, продажный, дешевый таблоид. Мне некогда, мне работать надо. Давай вали.

— Литературовед, — пробормотала Нина, ничуть не обидевшись. — Какие манеры... На зависть. А лексикон! А как он с дамой разговаривает — сама любезность!

Игорь молча запустил в нее коробкой сигарет, промазал... Буркнул, глядя, как Нина, отфут-

болив носком сапога пачку «Мальборо лайт» к его столу, открывает дверь:

— Я, может быть, всю эту свистопляску с таблоидом затеял... Много чести тебе признаваться, но я всю эту хрень затеял, чтобы на свой альманах скопить. Литературоведческие записки. Уже три выпуска сложил. Сиджу ночами, ловлю острейший кайф.

Нина, стоя возле открытой двери, оглянулась.

— Игорь, скажи мне, пожалуйста, — произнесла она задумчиво, — ответь мне... Почему у нас... выражаясь иносказательно... Почему у нас в России... прости за пафос... почему у нас для того, чтобы построить церковь, надо прежде непременно кого-нибудь ограбить?

— Почем я знаю? — Игорь наклонился, поднял с пола пачку сигарет и подбросил ее на ладони. — Откуда я знаю, Нина? Спроси чего-нибудь полегче. Я не знаю. Это наша родина, сынок.

Темнеет рано. Еще и шести нет, а кромешная тьма, ветер, поземка. Кто-то шел за Петром уже минут пять. Чьи-то шаги неотступно звучали сзади, а теперь приближались.

Петр не успел оглянуться — его сбили с ног, он упал, его рывком подняли. Двое. Вот эту рожу он видел... Удар в челюсть. Он снова упал, теперь его били ногами, снова по ребрам. Дикая боль. Давно ли его били-то? Давно ли метелили возле Нининого фамильного особняка?

— Все! Все, я сказал! Владик, хватит!

Двое нехотя отошли в сторону, хрипло дыша. Петр поднялся, пошатываясь. Губу рассекли, гады. Он нагнулся, морщась от боли, зачерпнул снег в горсть, приложил к окровавленной гу-

бе. Вкус снега и крови разбудил детскую память: губа, прилипшая на морозе к железу...

Дима подошел к Петру, опираясь на свою шикарную трость. Подцепил ею солдатовскую обливную ушанку, валявшуюся в снегу, поднял — на, держи.

Петр ударил по Диминой палке ребром ладони, и шапка снова упала на снег, покрытый свежими пятнами крови.

— Хорош! — Он посмотрел Диме в глаза. — Двое на одного, а ты любишься. Молодец. Исподтишка, в спину. Грамотные ребятки у тебя.

Дима молчал, опираясь обеими руками на трость, воткнув ее в ушанку Петра.

— Я тебя убью, — произнес он наконец очень спокойно, просто констатируя факт, объявляя вариант возможной развязки. — Ты лучше уезжай куда-нибудь. Понял?

Петр не ответил. Разбитая губа продолжала кровоточить. Петр опять наклонился, зачерпнул снег в горсть.

— Оставь ее в покое. — Дима оглянулся на своих спутников, стоявших чуть поодаль, затем вновь посмотрел на Петра и глухо повторил: — Оставь ее.

— Нет. — Петр приложил снег к разбитой губе.

— Я тебя убью, — пообещал Дима. — Этим кончится, запомни.

Старик Солдатов смотрел на Нину в щель приоткрытой двери, не спеша снимать цепочку.

— Я за Вовкой, — сказала Нина. — Я совсем его забираю.

— Очень хорошо. — Старик открыл дверь, впустил Нину в прихожую. — Замечательно. Забирайте и уходите. Петя вернулся час назад.

Я не знаю откуда. Я только видел, что он кровь на рубашке застирывал. У него разбита губа.

Нина вскрикнула, зажав рот ладонью.

— Уходите! — настойчиво повторил старик. — Оставьте нашу семью в покое! Решайте свои проблемы сами. Мой сын и мои внуки... Одну катастрофу они уже пережили, хватит с них. Хватит!

— Хорошо, мы сейчас уйдем.

Нина прошла по коридору и распахнула дверь в гостиную. Ее встретили полумрак, детский смех и гомон, темный силуэт елки, резкие, ослепительные росчерки бенгальских огней.

— Мама! — крикнул Вовка. — Мы бенгальских купили! Целую кучищу!

Нина щелкнула выключателем.

— Погасите, погасите! — вразнобой завопили мальчишки, носясь по комнате с зажженными свечами в руках.

Петр лежал на диване, губа залеплена полоской пластыря. Нина выключила свет, подошла, села рядом, сжала его руку.

Свечи весело потрескивали, фонтаны искр вспыхивали и таяли. Мальчишки, наталкиваясь друг на друга в темноте, рисовали в воздухе огненные вензеля и овалы.

— Тебя били? — Нина нагнулась, обняла Петра, не удержавшись. И он не удержался от сдавленного стога — Нина невольно причинила ему боль.

— Петя, больно? — прошептала Нина, слабея от страха за него, от безысходного, тоскливого страха. — Кто?! Дима? Скажи!

Она совсем потеряла голову — рядом были мальчишки, и старик мог войти в любую минуту. Ничего не соображая, движимая только страхом, острой жалостью, желанием помочь,

приласкать, снять, утолить его боль, повинуюсь только этому безотчетному и сильному порыву, Нина склонилась к нему, обняла.

— Ну что ты делаешь? Успокойся. — И Петр крикнул бодро: — Так! Оловянные, в детскую! Строем!

— Вовка, собирай вещи, — опомнилась Нина, отодвинувшись от Петра. — И прощайся с мальчиками. Мы уходим, совсем уходим.

— То есть как? — глухо спросил Петр.

— Я не хочу, — заявил Вовка.

Свечи догорели, шипя. Младшие Солдатовы включили свет и растерянно уставились на Нину, потом — вопросительно — на отца.

— Я не хочу! — повторил Вовка. — Не хочу! Не хочу!

— Вова... — начала Нина.

— Я не пойду никуда! Я здесь останусь! — твердил сын упрямо, глядя на Петра, ища у него защиты.

— Останешься, — кивнул Петр. — Я тебе обещаю. Всё, в детскую, живо!

Мальчишки вышли из комнаты.

— Что ты можешь ему обещать? Как ты можешь ему обещать, Петя? — Нина снова обняла его, говоря с укоризной и мольбой, с отчаянием и нежностью. Погладила его плечи, дотронулась до полоски пластыря, перечеркнувшего распухшую верхнюю губу. — Это Дима? Это он?

— Я упал, — буркнул Петр. — Поскользнулся.

— Не ври! Господи, что же делать-то?

— Знаешь, о чем я сегодня подумал? — сказал Петр, поглаживая ее волосы, пытаясь хоть как-то ее успокоить, разрядить этот стущающийся мрак, гнет безысходности. — Ведь это я должен быть хромым, а не он.

Нина посмотрела на него непонимающе.

— Ну, он же был на одной ноге. — Петр улыбнулся и тут же скривился от боли — улыбаться ему теперь тоже было непросто. — Оловянный солдатик — он был хромой, одноногий. На него не хватило олова, его отлили одноногим.

— Мне не нравится эта сказка, — произнесла Нина с ожесточенной запальчивостью. — Она мне не нравится, слышишь? Ты в нее заигрался, Петя! Хватит в сказки играть, мы не дети.

— Пожалуй, — согласился он. — Ты права, наверное.

— Хватит. Не то мы с тобой доиграем ее до конца. А я не хочу, чтобы нас с тобой из золы выгребли.

Дима только дверь успел открыть, а она набросилась на него, как овчарка, сорвавшаяся с цепи. Дима так и сказал, уворачиваясь от ее рук

— Овчарка!

— Это ты его? — Нина трясла мужа за плечи. — Да?! Владик твой?! Это вы его избили? Сволочи!

— Значит, уже навестила, — прошипел Дима, обдавая ее перегаром. — Успела.

— Сволочи! — ненавидяще выкрикнула Нина. — Только тронь его еще! Я к сыну зашла! Только пальцем до Петра дотронься! Только посмей, я тебя... — Нина осеклась.

Костя. Что за бред? Как в дурном сне. Костя здесь, в доме ее мужа?

Он стоял на пороге комнаты и с усмешкой смотрел на Нину. Дурной сон. Теперь все — дурной сон. Нина зажмурилась, открыла глаза.

— Это я, — подтвердил Костя. — Я тебе не приснился. Можешь меня потрогать.

— Я те потрогаю, — утрюмо бросил Дима.

Бред. Нина подошла к бывшему мужу, потом осторожно, с опаской заглянула в комнату.

За столом сидели мать и Ирка.

— Мамулечка! — завопила Ирка, вскочив. Кинулась к Нине, обняла ее. — Ма-амочка!

Что это с дочерью? Интонации плакальщиц на деревенских похоронах. Как будто здесь кто-то умер. И мать сидит, как на поминках: спина прямая, губы скорбно поджаты, в глазах — все-ленская тоска.

— Что случилось? Ира, ты когда приехала? Здравствуй. — Нина поцеловала дочь в щеку. — Загорела... Где ж ты там загорела-то в декабре?

— Это искусственный загар, мамочка. — Дочь еще висела на Нининой шее, смотрела на мать с состраданием, почти соболезнующе. — Мама, — Ирка понизила голос, — остановись. Опомнись, мама. — Шелестящим шепотом: — Пожалей Диму, он страдает...

Нина сняла со своей шеи цепкие Иркины руки и повернулась к мужу. Она ни о чем его не спросила, просто взглянула на него молча. Перевела взгляд на Костю, который по-прежнему стоял в дверях. Ей действительно хотелось сейчас дотронуться до бывшего мужа. И до бывшего, и до теперешнего. До обоих. Проверить, не снятся ли они ей? Не сон ли это? И если это явь — то кто здесь спятил? Она? Они? Все вместе?

— А что мне еще оставалось? — Дима смотрел на нее с пьяным вызовом. — Вот, позвал твоих родственников...

— Так это семейный совет? — уточнила Нина, не зная, смеяться ей или плакать. Или вытолкать их всех взащей. — Ясно... Ты-то зачем пришел? — спросила она у Кости.

— Я? — удивился Костя. — А что, непонятно?

И он не спеша, вразвалочку двинулся к столу, уселся поудобнее, закинув ногу на ногу. Налил себе коньяку. Бред! Костя пьет Димин коньяк, болтает ногой, носки прохудились, надо купить ему несколько пар, бедняге.

— Разве непонятно? — повторил Костя, бросая в рот ломтик лимона. — Я ликую. Я ото-мщен.

— Ты помолчи, тебя сюда как раз не зва-ли, — процедил Дима, доковылял до стола и ото-брал у Кости рюмку. — Приперся — сиди мол-чи... Поговорите с ней! — Дима взглянул на Ни-нину мать. — Скажите ей все. Вы же хотели.

Нина стояла посреди комнаты и смотрела на Диму. Он был пьян, он был жалок, он просил защиты у ее матери, которую боялся и не любил, и знал, что она отвечает ему тем же. И все же он просил ее о помощи, желая, чтобы она образу-мила заблудшую дочь... Бред! Смеяться или пла-кать?!

— Как ты изменилась, — медленно произ-несла мать, разглядывая Нину. — Ты именно те-перь изменилась. Я боялась: выйдешь замуж за нового русского — сама такая же станешь. Нет, обошлось. А теперь — другая.

— Какая, мама?

— Мамулечка, сядь, — попросила Ирка со слезой в голосе.

— Какая? Ну какая?

— Не знаю. — Мать продолжала разгляды-вать Нину с явным неодобрением. — Уж больно уверенная. Море по колено. Такая... железная.

— Оловянная, — поправила Нина.

Все четверо непонимающе переглянулись. Где им понять? Это Нинин шифр, тайный.

Дима налил себе коньяку в рюмку, которую отнял у Кости, собрался было выпить — опомнился, поставил на стол. Сумасшедший дом. Все спятили.

— Что мне делать, а? — Дима уставился на Нинину мать с пьяным отчаянием, прося у нее защиты. Перевел взгляд на притихшую Ирку. — Ну, что мне с ней делать? Родственники! Я вас спрашиваю! Я ей развода не дам. Я тебе развода не дам, не дожدهшься! — выкрикнул он, глядя на Нину. — Ну, что мне делать-то? У меня вот здесь, — он ударил себя кулаком в грудь, — все время болит, ноет. Как мне быть-то, а?

— Могу тебя научить, — предложил Костя. — Кое-какой опыт имеется. Дам пару советов. Как брошенный муж брошенному мужу. — И Костя потянулся к своей рюмке.

— Молчи, ты! — взревел оскорбленный Дима, сбив ребром ладони рюмку на пол.

Это уже было. Когда это было? Нина тупо смотрела на темное пятно, расплывающееся на скатерти. Пятно на скатерти, осколки на полу, взбешенный Дима... Когда это было?

Давно. В другой жизни.

— Успокойтесь! — приказала мать, и Дима притих.

Надо же, он ее слушался! Бред. Нина все еще стояла посреди комнаты, как партизан на допросе. Смеяться или плакать? Смеяться. Конечно, смеяться.

— Мамочку можно понять, — осторожно вставила Ирка.

— Понять?! — с угрозой переспросил Дима.

— Она недогуляла в юности. И в зрелые годы. Папочка меня простит, он человек широких взглядов. Правда, папочка?

— Ира, ты переходишь границы, — возмутилась бабушка.

— Просто у них разные темпераменты...

— Ая? — крикнул Дима. — При чем тут этот? Она от него год как ушла!

Нина засмеялась — негромко, истерически, закрыв лицо руками.

— Нина, образумься! — Мать повысила голос. — Ты не девочка, тебе сорок лет. Нина, разрушить всегда проще, чем создать. Чем спасти отношения. Сейчас, наоборот, все семьи объединяются. Ты знаешь статистику? Ты знаешь, сколько разведенных пар заново соединилось?

— Вот! — Дима торжествующе ударил кулаком по столу. — Слушай мать! Слушай!

— Хотя какая-то польза от кризиса, — продолжала Александра Федоровна с гневным воодушевлением. — Потому что беда людей сплачивает. Она подталкивает их друг к другу. И они возвращаются друг к другу.

— Слушай мать, — повторил Дима, наливая себе коньяк в чистую рюмку.

— Слушай мать, Нина, — подытожил Костя. — И возвращайся ко мне.

Она снова заперлась в Вовкиной комнате.

Так и будем теперь жить, каждый за своей дверью. Как предусмотрительно Дима понаставил эти замки-запоры!

Нина сидела на кровати, поджав под себя ноги, стиснув в ладони трубку мобильного. Если позвонит этот гад Михалыч — она ответит первой, раньше Димы. Упредит удар.

К ее старым страхам прибавился новый. Страх, что Михалыч и его хозяева доберутся до Димы. Этого нельзя допустить, Дима и так немняем.

Стрелки часов сошлись на двенадцати.

Полночь. Завтра — Новый год.

Завтра? Завтра, завтра. Никогда мы еще не встречали его так весело.

Дима, что же нам делать?

Петр, как же нам быть?

В лесу раздавался топор дровосека.

Разрубить нельзя. Развязать?..

Запищал мобильный. Нина вздрогнула. Это Михалыч. Значит, не зря она бодрствует. Сейчас она ему...

— Нина, разбудил?

— Лева? Левка! — крикнула Нина в трубку. — Господи, неужели ты? Откуда? Я до тебя два месяца не могла дозвониться. Потом уж и не пыталась больше...

Лева! Другая жизнь. Даже странно, что Нина сразу узнала его голос.

— Нина, солнышко мое, меня — нет, — звучал в трубке быстрый, деловитый, чем-то заметно встревоженный, родной, полубытый голос. — Меня, Нина, нет...

— В Москве? — перебила она.

— В природе. Скачу по глобусу, спасаю свой бизнес. Нина, я знаю: у тебя — ад. Догадываюсь. Прости, ничего не могу, ничем...

— Да не нужно! Я сама. Я просто рада тебя слышать.

— Я через час улетаю. Прилетел — и улетаю. Слушай, узнал от третьих лиц, не ручаюсь за точность информации, но... — Лева понизил голос. — Спасай Димку! Он совсем увяз. Не знаю, насколько ты в курсе. Он спутался с Владиком, охранником бывшим, а тот то ли к таганским браткам приписан, то ли к солнцевским... Нина, ты слышишь меня?

Она хотела ответить, но не смогла выбить из себя ни звука. Конец. Это — конец. Топор дрово-сека.

— Полчаса назад он звонил моему приятелю, какой-то был мутный разговор, мерзкий. Я, говорит, возле твоего дома, возле гаража, дай, говорит, мне канистру бензина, кого-то там надо проучить...

— Кто звонил — Дима? — просипела Нина. Голоса не было, голос сразу пропал. — Да он спит. Надрался и спит. Он спит... — Нина уже открывала дверь детской. — В кабинете своем... — Она кинулась в Димино логово. Пусто. — Лева, — простонала Нина. — Нет его! — Метнулась в прихожую: дверь нараспашку, Дима не удосужился закрыть. — Лева... — только и смогла она выговорить. — Спасибо. Прости.

Нина прервала разговор и тут же набрала номер Петра.

Проучить. Канистра. Таганские братки.

Это — Дима?! Это — ее муж?!

Там, у Солдатовых, никто не брал трубку. Нина лихорадочно одевалась, влезала в сапоги, плохо понимая, что она делает, куда собирается.

Спутался с Владиком. Нину словно током ударило, когда она вспомнила: несколько дней назад вот тут, в прихожей, Владик признался ей с внезапной откровенностью: «Я теперь не охраняю — от меня охраняют».

Канистра с бензином. «Я не хочу, чтобы нас с тобой из золы выгребли» — так Нина сказала Петру совсем недавно.

Она снова набрала номер, уже открывая дверь. Долгие гудки, наконец сонный, раздраженный голос старика.

— Это я, — задыхаясь, сказала Нина. — Петя дома?

— Вы нас оставите когда-нибудь в покое или нет? — рявкнул старик.

— Петя дома?

— Он работает. И если вы еще хоть раз...

— Не открывайте никому дверь! — крикнула Нина. — Спрашивайте кто. И когда Петя вернется, пусть и он никому...

Старик бросил трубку.

Нина сдавленно застонала.

Она стонала, спускаясь вниз, уткнувшись лбом в стенку кабины. Стонала, несясь через ночной двор. Бессвязно причитала себе под нос, пересекая Покровку. Бежала к Подсосенскому, спотыкаясь, тяжело, с хрипом, дыша.

Сколько это может продолжаться? Будет когда-нибудь этому конец или нет? Разрубить! Нельзя! Развязать! Нельзя!

Нина совсем выбилась из сил. Сердце сейчас выскочит из груди, загнанное измученное сердце.

Петр работает. Мотается по ночному городу, развозит по домам припозднившихся граждан.

Они его не найдут. Дима и его помощники. Если таковые имеются. Где они его выследят, как? Они не могут вычислить его маршрут, Петр и сам его не знает заранее. Значит, если Дима захочет его подкараулить, он будет ждать Петра возле его дома.

И Нина будет ждать его здесь же.

Она добрела до подъезда и огляделась, пытаясь восстановить дыхание. Пусто.

Подняла голову вверх. Вот окно его кухни, там горит свет. Это старик проснулся. Столько окон светится, час ночи, но люди не спят. Завтра — Новый год, хозяйки рубят салаты, прославляют бисквитные коржи кремом...

Завтра — праздник. Уже сегодня. С Новым годом, Нина! В лесу родилась елочка. В лесу раздавался топор дрово...

— Нина! — Это старик открыл окно кухни, целую створку распахнул, с ума он сошел, простудится. — Поднимайтесь в квартиру, живо!

Нина еще раз огляделась: пустой безлюдный двор. Она открыла дверь подъезда. Ноги ватные. Мокрая челка прилипла ко лбу.

— Что случилось? — Старик едва ли не силой втащил ее в прихожую. — Что происходит? Вы зачем звонили, вы можете толком объяснить? Что это значит «никому не открывать»?

Нина обессиленно прислонилась спиной к стене.

— Дети спят?

— Спят. Пойдемте на кухню.

На кухонном столе стояла плетеная корзинка с мандаринами. Петр купил мандарины и половину — вон еще груды в вазе для фруктов — завернул в золотую фольгу.

— Они целый вечер тут фольгой шуршали, Петя и мальчишки, — пояснил старик. — У нас так принято. Мы их на елку...

— Я знаю, — кивнула Нина.

Сердце сдавило. Эти мандарины, золотая фольга, острый свежий аромат цитрусовой корки... Близость праздника, единственного праздника, который у нас остался, приближение праздника — и предчувствие беды. Как все сплелось, туго-натуго, разрубить нельзя!

— Закройте окно, — попросил старик. — Дует.

Нина подошла к окну и взялась за створку. Глянула вниз — машина Петра у подъезда, он только что выбрался из нее, еще не успев захлопнуть дверцу.

— Петя! — отчаянно крикнула Нина, высу-
нувшись из окна по пояс.

Он поднял голову, увидел Нину — и ринул-
ся в подъезд, не закрыв машину.

Нина выскочила из кухни, невольно толкнув
старика, понеслась вниз по лестнице. Петр бе-
жал ей навстречу. Они встретились где-то меж-
ду вторым и третьим этажами, обнялись, стоя на
ступенях.

— Ты совсем? — спросил он, тяжело ды-
ша. — Ты насовсем? Да, Нина? — спрашивал он
с надеждой, боясь в это поверить и веря безо-
говорочно. — Ушла от него, Нина?

Она молча качала головой — спазм, слезы ме-
шали говорить.

Петр уже понял, что рано радуется.

— Пойдем наверх, — сказал он.

— Петя, нам нельзя, — пробормотала Ни-
на, уткнувшись мокрым лицом в его пле-
чо. — Нельзя. Ты сильный, я сильная. Слишком
большая роскошь по нынешним време-
нам — двум сильным быть вместе.

— Что ты несешь? — рассмеялся он. — Это
что за душеспасительные речи? Ты что, запи-
салась в Красный Крест? Почему ты непременно
должна опекать слабого?

— Это не твои слова. Ты-то всю жизнь опе-
каешь.

— Только тех, кого люблю, — жестко возра-
зил Петр. — Сыновей, отца. Тебя, твоего сына...

На лестничную площадку выскочил старик.

— Петя! — хрипло крикнул он. — Машина!
Там машина горит!

Петр помчался вниз по лестнице.

— Иди в дом! — бросил он Нине, но она вы-
бежала на улицу следом.

Столп огня, треск рассыпающихся искр — старенький «жигуль» горел, изношенные бока его плавились, корчились, скукоживались на глазах.

— Не подходи! — заорал Петр, перехватив Нинину руку. — Стой на месте!

Пустая канистра из-под бензина валялась на снегу, покрытом копотью.

Нина всмотрелась в темноту и выдернула руку.

— Куда? — крикнул Петр и понесся за ней по снегу через двор, к гаражам.

Нина подвернула ногу, упала, поднялась, оглянулась на пылающую машину. Петр подбежал, развернул к себе. И замер.

Возле гаражей стоял Дима. Неподалеку, метрах в двадцати, стояла машина его охранника.

— Это последнее предупреждение. — Дима смотрел на Петра, пьяно скалился, сжимая в руке свою палку. — Потом тебя самого спалю.

— Мразь, — выдохнула Нина.

— Спалю, кремации не потребуется. Мои парни чисто работают. Навык.

— Сволочь! Ты что наделал, сволочь?! — Нина налетела на благоверного, захлебываясь от слез, бестолково толкая его в грудь растопыренными пятернями. — Ты его последнего заработка лишил! Сволочь! У него дети. Я тебя сама удавлю. Я тебя не-на-ви-жу, ненавижу тебя, слышишь?

Дима молчал, словно не замечая ее, не слыша, не чувствуя ее ударов. Он молчал, глядя поверх ее головы на Петра.

Машина догорала.

В окнах дома зажегся свет, там стояли люди, смотрели вниз, на горящую машину, но никто не спешил выходить.

Петр подошел к Нине, не без труда оттащил ее от Димы, обнял за плечи, отвел от мужа по-

дальше. Он был странно, необъяснимо спокоен.

— Ты мне скажи, скот... — Петр взглянул на Диму. — Если ты вообще в состоянии говорить связно. Ты что с ней делаешь? — Он кивнул на Нину. — Ты зачем ее мучаешь?

— Это еще вопрос, кто кого мучает, — ответил Дима. — Я ее люблю. Понял? Я ее не отдам. Она мне нужна.

— Она? — ненавидяще уточнил Петр. — Она или те деньги, которые она для тебя горбом зарабатывает? Ишачит на тебя, гада?

— Петя, не нужно, молчи, — взмолилась Нина.

— Ты хоть знаешь, что она четвертый месяц подряд твой долг выплачивает? Этим, чью лавку ты с землей сровнял?

— Петя, молчи! — крикнула Нина.

— Ты это знаешь?

Дима пробормотал нечто нечленораздельное и потрясенно уставился на жену. Машина еще горела, алые отблески огня метались по снегу.

— Это правда? — Дима шагнул к Нине, качнулся, тяжело оперся на свою палку. — И ты молчала? Почему ты молчала? Почему?

Его поезд отправляется в ноль часов ноль минут. Сейчас — утро, одиннадцать. Вещи собраны. Вещи! Громко сказано. Дорожный саквояж наполовину пуст. Жизнь налегке, походно-полевая жизнь, удобная штука.

Олег закурил, подошел к окну. Осталось двенадцать часов. Что с ними делать, как их убить?

Можно отключить телефон, выпить таблетку снотворного, лечь, уснуть. Проспать до вечера. Это нетрудно. Ему теперь все время хочет-

ся спать. Сонная вязкая одурь, пустота в голове, вялое, расслабленное тело.

Это спад, нервный спад. Нормальная реакция организма на пережитый стресс.

Как убить время?

Вот деньги. Вот билет на поезд, вот пять фотографий, мутноватых, нечетких, не лучшего качества.

Олег съездил в Москву, договорился с приятелем, закрылся в фотолаборатории и сам проявил эту жуть, где ночь, обрез, где весь этот морок.

Конечно, он мазохист. Конечно, это пытка. Да, пытка, но он рассматривал их часами. Изучил досконально.

Все эти несколько дней он или спал, проваливаясь в неглубокую тревожную дрему, или рассматривал фотографии, разложив их веером на разобранной постели.

Да, пытка. Но и странная, вполне радикальная терапия. Олег освобождался. Все тот же эффект освобождения.

Он выздоравливал. Демоны этой осени медленно, нехотя, сопротивляясь, не сразу, но уходили. Они покидали его. Надолго ли? Кто ж его знает.

Зазвонил телефон, Олег снял трубку.

— Это Петр. — Сумрачный голос его недавнего нового знакомого. Что-то у него стряслось, похоже. — Олег, я понимаю, что не по адресу. На авось. Да — да, нет — нет. Нужны деньги. Много и немедленно. Сегодня.

— Сколько? — спросил Олег.

— Две тысячи баксов.

Олег присвистнул.

— Я понимаю, что не по адресу, — повторил Петр. — Ты сам восемь штук должен, я знаю.

— Он мне дал отсрочку. Святой человек. Передумал насчет Аляски, притормозил. Что стряслось-то, ты можешь толком?

— Это долго объяснять, — вздохнул Петр. — Нина... Помнишь Нину?

— Еще бы я ее не помнил, — хмыкнул Олег, машинально вытряхивая из бумажника пять фотографий.

— Ее... Ее родственник задолжал одним гадам крупную сумму. Нина возвращала долг вместо него. Вчера они повздорили, Нина и этот ее родственник. Короче, он взбеленился, наломал дров. Нашел этих гадов, которым он должен, наехал на них — они его скрутили. Держат где-то, говорят Нине: пока не отдашь две штуки, которые он нам должен, ты его не увидишь. Можешь вообще никогда не увидеть. Такие дела. Нина в истерике. Я всех обзваниваю. Денег, сам понимаешь, нет ни у кого.

— А в милицию?.. — спросил Олег.

— Да толку-то! Тридцать первое. Нет, позвоню, конечно. Не найдем денег — позвоню.

— Сколько нужно? Две? — Олег внимательно рассматривал фотографии, лежащие перед ним на подоконнике. — Слушай... Помнишь, она тогда, ночью, здесь сказала? Сколько ей предлагали за эту пленку? С моим... — Олег запнулся, выговорил через силу: — ...смертоубийством?

— Ты в своем уме? — помолчав, спросил Петр.

— В своем. В кои-то веки — в своем. Только там, наверное, сегодня нет никого, в этой ее шарашке. Предпраздничный день.

— Я тебе перезвоню через пару минут, — сказал Петр. — Отзвоню в таблоид и потом — тебе, — и добавил, поразмыслив: — Затея, конечно, аховая. Но чем черт не шутит!

Он уже все понял, с полуслова, весь расклад. Понятливый.

— Ты уверен, что не передумаешь? — спросил Петр.

— Звони, — сказал Олег вместо ответа.

Пять мутноватых, нечетких фотографий лежали перед ним на подоконнике.

Сейчас он попробует их продать.

Потом он уедет.

Интересно, нет, в самом деле интересно: сколько это стоит?

Сколько стоит он сам? Сколько стоит его смерть? Нет, надо быть точным: попытка самоубийства. Сколько это стоит?

Гроши, надо думать. Сейчас сейл, новогодняя распродажа.

Гроши.

Пока они мчались по городу на «девятке» приятеля, сидевшего за рулем («А твоя машина где?» — спросил Олег. «Схоронил вчера. Испустила дух моя старушенция»), пока они гнали по праздничному городу, мимо всех этих елочных базаров, нарядных вывесок, мимо транспарантов с лицемерными пожеланиями счастливого Нового года, пока они добирались до Замоскворечья, Олег все прикидывал, посмеивался про себя, самого себя спрашивал: «Сколько? Сейчас ты узнаешь свою цену. Пятак в базарный день, не иначе».

Судьба этой самой Нины волновала его не слишком, он ее плохо помнил, он ее совсем не знал. Взбалмошная бабенка не первой свежести, типовая особь из ненавистного ему племена журналист-репортершечек.

Зато вот этот смуглый, не старый еще, но уже сивый мужик, сидевший рядом с Олегом на зад-

нем сиденье, бесконечно переговаривающийся со своей Ниной по ее же мобильному, вот он был Олегу симпатичен.

Олег невольно прислушивался к их нервным, коротким, маловразумительным переговорам. Понятно: баба в истерике, она сидит дома и воет от страха за своего родича, угодившего в капкан.

— Они звонили? — кричал Петр в трубку. — Когда? Десять минут назад? А с Димой дали тебе поговорить? Так, хорошо... Не кричи, выслушай меня: скажи — через сорок минут будет ясно, есть у нас деньги или нет... Что он мог обещать? Не кричи... Что мне мог обещать твой Игорь? Разговор вслепую, на пальцах... Он сказал: «Приезжайте, привозите, я посмотрю». Да... Да...

И что-то он еще ей говорил, утешал, успокаивал. Олег искоса поглядывал на него. Важны были не слова — интонация. Олег смотрел на него едва ли не с завистью: было понятно, абсолютно очевидно, что эту женщину Петр любит и что любить он умеет, умеет защитить близкого человека, оборонить от бед, прикрыть, принять на себя удар и сделать это не показно, не с этим вечным расейским «на миру и смерть красна». Нет, Петр и помирать не собирался, и мир не желал втягивать, впутывать, посвящать в обстоятельства своей личной беды.

Во всем, что он делал, в том, как он держался с Олегом, говорил с Ниной и этим неведомым Олегу Игорем (Петр уже трижды ему отзвонил: едем, скоро будем, еще минут двадцать), во всех его поступках чувствовалась спокойная, уверенная сила, взвешенность, обдуманность каждого шага, не аффектированное, почти будничное упорство.

— Только ты смотри не проговорись этому Игорю, — сказал Олег, дождавшись, когда Петр закончит разговаривать. — Держись нашей легенды. Я уехал, пропал, исчез. Пленка осталась у Нины. Она не решалась долго, то-се, пятое-десятое... Теперь вот обстоятельства вынуждают.

— Обстоятельства, — уныло пробормотал Петр. — Козел этот сбрендивший... Попер туда с пьяных шаров, наехал на это отребье по полной программе. Думал, они ему с перепугу долг скостят. А его тепленьким повязали.

— Ну, не пришьют же они его, — заметил Олег. — В новогоднюю-то ночь, под звон бокалов. А кто он ей, Нине твоей? Брат?

Петр хмуро взглянул на широкую спину безмолвного приятеля, сидевшего за рулем, помолчал, наконец ответил нехотя:

— Муж.

Олег опешил:

— Муж?! А... А ты тогда кто? Нет, то есть я, конечно...

— Кто я? — Петр невесело усмехнулся. — Дурак набитый. Оловянный.

Игорь разглядывал фотографии минут десять. Неспешно, придирчиво, абсолютно бесстрастно.

Петр выложил на стол перед ним зачехленную камеру.

— Она же ее вроде как разбила, — заметил Игорь, скользнув по «Никону» взглядом.

— Склеили, — односложно объяснил Петр. Он нервничал, поглядывал на часы.

У Игоря времени предостаточно, у Петра — в обрез. Игорь может торчать тут, в пустом офисе, хоть до боя курантов. Встречаются еще такие экземпляры мужского пола, фанаты дела,

помешанные на своем ремесле. Для них особый кайф и им одним ведомое наслаждение — торчать на службе с петухов до полуночи, а уж в праздничный день, когда все в заведении повымрет, только охранник томится в своем загоне, сидеть в накуренной клетушке, перебирать мятые листочки, — да, это особое, изысканное удовольствие.

Петр сел, снова встал. Нетерпеливо глянул на часы.

Игорь рассматривал фотографии. Игорь никуда не спешил.

Несчастный, в сущности, человек, почти сочувственно подумал Петр. Новый год, а он — в присутственном месте. Значит, дома — пусто, ни души. Да, но, может быть, все как раз наоборот. Его ждут нечастные домочадцы, жена и девять душ детей. Они накрыли на стол, сели. «Где папа?» — «Папа в лавке». — «Приедет?» — «Бог весть. В этом году — навряд ли».

— Вы меня, ради бога, простите, — сказал Петр. — Но ситуация складывается так, что дорога каждая минута.

— А где она сама-то, я не понял? — спросил Игорь, не поднимая глаз от фотографий. — Где Нина?

— Она не смогла приехать. — Петр снова глянул на часы. — Я ее доверенное лицо, поэтому... Да не все ли вам равно, в конце концов? — вспыхнул он, перебив сам себя. Время шло, неопределенность росла, и с каждой минутой Петру все труднее было казаться невозмутимым. — Не все вам равно, кто вам принес это? Фотографии подлинные, вот пленка, вот камера, все настоящее, ничего не сфабриковано, у вас же наверняка есть способы проверить все это в два счета.

— Да, но на это нужно время. — Игорь почти брезгливо отодвинул фотографии в сторону. — Вы что, хотите, чтобы я за две тысячи баксов купил кота в мешке? Если бы здесь была Нина, тогда другой разговор. Нину я знаю, вас — нет.

— Она нас знакомила, — возразил Петр. — Не помните? Я с ней приезжал. Я ее отвозил туда, вот туда. — Он кивнул на снимки. — Как раз туда. Я Солдатов.

— А! — Только теперь в круглых, совиных, сонных глазах Игоря блеснул огонек неподдельного интереса. — Стойкий оловянный? Понятно.

— Она что, рассказывала вам обо мне? — нахмурился Петр.

— Совсем немного. И довольно давно. И в самых превосходных степенях, — насмешливо, но приязненно заверил Петра Игорь. — Потом замолчала. Надо полагать, ваши отношения вошли в романтическую фазу. И она замолчала.

— Вот это вас совершенно не касается, — резко сказал Петр.

— Абсолютно с вами согласен.

Игорь закурил, продолжая рассматривать Петра. Он разглядывал Нининого знакомого внимательно и пристально, потому что Петр вызывал у Игоря гораздо больший интерес, чем пять снимков незадачливого самоубийцы, пять размытых, нечетких, сделанных Нининой рукой фотографий, имеющих тем не менее свою реальную цену.

Нет, они ему были неинтересны.

Вот Петр — другое дело.

— Значит, вы тот самый Стойкий Оловянный Солдатов, — повторил Игорь, сделав глубокую затяжку. — Если по первым заглавным буквам, то получается аббревиатура — СОС. Спасите наши души. Забавно, не правда ли? Мне

только сейчас это пришло в голову. Эдакий все-ленский спаситель... Занятно.

— Так вы покупаете их или нет? — оборвал его Петр.

— Знаете, она мне как-то сказала о вас: «Наверное, сегодня это единственный способ выжить и сохранить себя — жить так, как живет Петр. Мой дом — моя крепость. Он охраняет свой дом, своих близких. Все остальное не имеет значения. Все, что остается за стенами его крепости, не имеет значения».

— Вы покупаете их? — со злостью спросил Петр. — Я больше не могу ждать, я должен...

— Но согласитесь, эта позиция во многом уязвима. — Игорь курил, говорил насмешливо, словно и не слыша Петра, не замечая, как тот нервничает. — Эдакий манифест домашнего затворника. А вы не боитесь, что...

— Послушайте, вы покупаете их или нет?!

— Нет. — Игорь подтолкнул ребром ладони к краю стола все пять фотографий, пять свидетельств чужой беды и чужого отчаяния.

Так Плохи дела. Петр сгреб злополучные фотографии со стола, спрятал их в карман куртки. Глянул на часы — половина третьего. Денег нет. Ее долбаный Дима в ловушке. Надо подключать ментов. Праздничный день, толку от служивых не будет ни малейшего... А что он скажет Нине?

— Сколько ей нужно?

Петр тупо посмотрел на хозяина таблоида.

— Сколько ей нужно, я спрашиваю? Две?

— Две, — растерянно подтвердил Петр, глядя, как Игорь подходит к сейфу, набирает код, открывает... Маленький сейф у окна, за окном — снег, снег идет сплошной стеной, и там, за снеговой завесой, темнеет «девятка» немого-гословного солдатовского приятеля.

— Держи, — сказал Игорь. — Отдашь ей.

— Я... Я верну. — Петр сунул деньги за пазуху, протянул ладонь к холеной и вялой лапе хозяина таблоида, сжал ее, долго тряс с каким-то нелепым, чрезмерным воодушевлением — горячо и взволнованно, как активист партячейки. — Я верну! Заработаю и верну.

Игорь осторожно выпростал свою руку из западни.

— А фотографии? — на всякий случай спросил Петр. — Они вам не нужны?

Игорь покачал головой.

— Я пойду, — сказал Петр, — я тороплюсь... Спасибо вам. Я, честно говоря, не ожидал... Я даже... Спасибо!

— Не за что. — Игорь захлопнул сейф.

— С Новым годом! — Петра распирало от радостного возбуждения, от благодарности, ему хотелось выказать ее как можно полнее, искренней, но он не слишком это умел и потому только повторил по-дурацки: — С Новым годом!

— С Новым годом, — невозмутимо ответил Игорь. — С новым счастьем.

Кругами, кругами, кругами — по снегу, по снегу...

Где-то на окраине Москвы, между елочным базаром, закрытым на засов (какой базар, какие елки, шесть часов вечера, шесть часов до Нового года, все елки проданы давно), между елочным базаром и типовой коробкой универмага, по грязному истоптанному снегу, что-то бормоча себе под нос, сжимая ладонями виски, ходила кругами Нина. Шапка съехала набок — Нина этого не замечала, ничего не замечала, только изредка зорко, с надеждой и страхом всматривалась куда-то вправо, в темноту. Там

была дорога, по которой ушел Петр. По ней он должен вернуться. Не один — с Димой.

Вот она и кружила по снегу, ждала. Олег наблюдал за ней, сидя на заднем сиденье «девятки».

Бедная баба! Лицо распухло от слез, волосы выбились из-под шапки... Седая совсем. Она ведь не старая, ну сколько ей? Сорок, не больше. А выглядит на пятьдесят с гаком.

Заездили бабу.

Ничего, зато ее любят. Вон как ее любит этот сутулый, немногословный, простоватый цыганистый парень. Любит, коли вызволяет ее непутевого благоверного из всей этой передраги.

Сейчас он его вызволит. Она успокоится. Оклемается. Отойдет. Все у них снова будет хорошо. Обычное дело. Русское счастье. Треугольная жизнь. Все мучаются, все терпят, потом, глядишь, — притерпелись...

Половина седьмого. Хорошо, что он предусмотрительно захватил с собой свой саквояж.

Куда он едет? В Боровск. Зачем? Он и сам не знает.

Он там долго не задержится.

Море? Можно будет к морю.

Смерть его никому не понадобилась, не дали за нее ни гроша.

Жизнь его тоже никому не нужна.

Кроме него самого. Что, этого недостаточно?

Нина там, за окном машины, вскрикнула отрывисто и ринулась куда-то... Ясно куда. Идут.

Олег выбрался из машины. Да, идут. Петр, его приятель и неведомый Олегу детинушка в растегнутой долгополой дубленке. Детина заметно прихрамывал, опираясь на трость.

Олег подошел поближе.

— Дима, не тронули? Не трогали они тебя? — сквозь слезы спрашивала Нина.

— Живой, — буркнул детина.

— Нина, успокойся, — сказал Петр. — Ты вдумайся только. Ты. Больше. Никому. Ничего. Не должна.

— Никому? — слабо, недоверчиво переспросила Нина.

— Никому. Ничего. Ты свободна.

Нина опустилась прямо на грязный снег, примятый шинами машин, чужими шагами, усыпанный еловой хвоей, — сколько елок мимо проволокли, с базара идучи! Она села на снег и закрыла лицо руками. Так она и сидела, методично раскачиваясь из стороны в сторону.

Дима наклонился к ней, чтобы поднять.

— Не трогай! — сказал Петр. — Ей нужно. Отойди.

Снег все шел, а до Нового года оставалось чуть больше двадцати минут.

Олег стоял возле табло — сейчас укажут номер пути. Олег загадал семерку — семерка и появилась.

Он поднял свою дорожную сумку, сбил с нее снег.

Двадцать три сорок пять. Народу совсем немного. Кому охота встречать Новый год на вокзале или в вагоне, между пунктом А и пунктом Б?

Олег не торопясь шел по перрону, внимательно всматриваясь в лица людей, идущих навстречу. Усталые, сумрачные, совсем не праздничные лица. Люди спешат к метро. Да не очень чтобы и спешат, спеши не спеши, все равно встретишь Новый год где-нибудь между Таганской и Курской.

Усталые будничные лица. Нет, почему: вот мимо промчалась стайка молодняка с рюкза-

ками — смеются, весело переговариваясь на бегу.

Двадцать три пятьдесят.

Через десять минут кончится этот злосчастный год. Поскорее бы!

Как будто что-то изменится после двенадцатого удара. Но все же, все же... Мы всегда надеемся на чудо, живем с этой беспомощной, нелепой, неистребимой, счастливой детской надеждой на чудо, на магическую силу двенадцатого удара, отсекающего от нас прошлогодние беды и потрясения. Мы надеемся, мы всякий раз в это верим.

Да ни во что мы не верим уже, все это новогодние сказки для людей младшего пожилого возраста.

Олег подошел к своему вагону и обалдело остановился. У края перрона, за спиной рослого, уже проводившего старый год не одной стопкой проводника стояли Петр и Нина.

— Неторопиться, — мягко укорил Петр Олега.

— Ваш билет, — потребовал проводник, качнулся, сжал рукой поручень, устоял. — Кто едет-то? Вы?

— Леня! — окликнули проводника из тамбура. — Давай иди!

— Щас, — пробормотал проводник, делая Олегу какие-то суетливые, просительные знаки рукой и глазами: мол, мужик, погоди, сам понимаешь, такое дело, ты тут сам как-нибудь, без тебя не уедем, не бойся, вообще, на кой хрен нам всем ехать, куда? Погоди!

Проводник исчез в недрах вагона, где его ждала початая бутылочка, закусь, славная компания...

— А мы чем хуже? Что мы, не люди, что ли? — Петр вытащил из-за пазухи бутылку шампанского.

— Ну вы даете! — Олег посмотрел на часы — без пяти двенадцать. — Зачем это нужно-то было? Сидели бы дома... в кругу семьи.

— У нас не круг, — усмехнувшись, поправила его Нина, вынимая из сумочки три маленьких бокала. — У нас...

— Сам виноват. — Петр открыл шампанское. — Кой черт тебя дернул брать билет на ноль часов ноль минут первого января?

— У нас не круг, у нас треугольник, — закончила Нина. Она вгляделась в темноту, куда-то за спину Олега. — Вон и третий угол ковыляет.

— А то тебе непонятно! — ответил Олег Петру. — Первое января, ноль часов, ноль минут... Какая-то символика. Дешевая, конечно.

— Тебя кто привез? — спросила Нина у кого-то, кто стоял у Олега за спиной.

Олег оглянулся. Ага, третий угол пожаловал. Дитина в расстегнутой дубленке, опирающийся на свою трость.

— Кто, Владик? — Нина подставила бокал под шипящую струю шампанского. Петр стоял рядом, они касались друг друга плечами.

Олег окинул взглядом всю троицу. Дитине тут делать нечего. Счастья втроем здесь не будет. Несчастья втроем — тем паче.

— Для тебя бокал не предусмотрен, — сказала Нина мужу. — Будешь пить из горла.

— Из своего, — буркнул Дима мрачно и вытащил из-за пазухи бутылку шампанского.

— Господа, двадцать три пятьдесят девять! — объявил Олег, скосив глаза на светящийся циферблат.

— Ты куда едешь? — спросил его Дима, открывая свою бутылку. — Возьми меня собой, а? А то я его убью. Я их обоих убью. — И он жад-

но присосался к бутылочному горлу, давясь шипящей пеной.

— Подожди, еще рано! — крикнула Нина. — И вообще, тебе хватит. Ладно, так и быть, допивай последнее, в следующем году ты будешь трезв, как агнец! Запомни: вменяем и трезв.

Олег взглянул на нее с усмешкой. Нет, тут все не просто. Петр Петром, но и Диму на произвол судьбы эта женщина оставлять не собиралась. Веселенькая им предстоит жизнь, нескучная. Ну, да это не его, Олега, дело.

— Шесть, пять, четыре... — Олег смотрел на часы, не глядя принимая бокал из рук Петра. — Три, два, один... Урр-ра!

— С Новым годом, — сказал Петр, взглянув на Нину.

— С Новым годом!

Они сдвинули бокалы, выпили и посмотрели на Диму.

— Я с ними пить не буду, — процедил Дима и повернулся к Олегу. — Я с тобой пью.

— Господи! — выдохнула Нина. — Что с нами будет? Петя, что с нами со всеми будет завтра?

— Что будет завтра, я не знаю, — ответил Петр. — Что будет сегодня — знаю точно. Мы с тобой устроим праздник для мальчишек...

— «Мы!» — Дима со злостью хмыкнул и посмотрел на Олега, ища поддержки. — Нет, ты слышал? «Мы»!

— Устроим им праздник, — повторил Петр. — Мы их на сегодняшний вечер обделили, но я им клятвенно обещал, что завтра...

— По вагонам! — ликуяще завопил пьяненький проводник, выглядывая из тамбура. — Кто тут едет? Тут едет кто-нибудь? По коням! Через три минуты отплываем! Пристегните ремни!

— Я им устрою праздник, они у меня попляшут... — Дима протянул Олегу свою бутылку.

— Ладно тебе! — Олег примирительно хлопнул его по плечу. — Проиграл — уйди достойно.

— Осторожно, двери закрываются, — объявил проводник, пьяно всматриваясь в билет, протянутый Олегом. — Ноу смокинг.

— Господи, что с нами со всеми будет? — чуть слышно повторила Нина.

— Прорвемся, — заверил ее Олег, ступив на площадку тамбура.

— Железно, — согласился с ним Дима, снова прикладываясь к бутылке.

— Оловянно, — поправила его Нина.

Литературно-художественное издание

Мареева Марина Евгеньевна
Возвращение принцессы

Ведущий редактор Лузгина Л.К.

Художественный редактор Костерина Т.Н.

Технолог Басипова С.С.

Оператор компьютерной верстки Абрамова Е.В.

Оператор компьютерной верстки переплета

Драновский В.М.

Корректор Якушина Д.З.

Подписано в печать 22.11.2006.

Формат 84×90¹/₃₂. Печать офсетная.

Бумага писчая. Усл. печ. л. 21,0.

Тираж 3000 экз. Заказ № 947.

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д 4, корп. 1

E-mail: vagrius@vagrius.com

Отпечатано в полном соответствии

с качеством предоставленных диапозитивов

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620219 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

